

Новый
Журнал

111

THE NEW
REVIEW

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать второй год издания

Кн. 111

НЬЮ ИОРК

1973

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ИОРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1973
Quarterly No. 111
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О ГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Шаламов</i> — Смытая фотография	5
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	9
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	11
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	26
<i>З. Шаховская</i> — Пустыня	27
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	34
<i>Ю. Иваск</i> — Исповедь горячего сердца	36
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	47
<i>Д. Кочевицкий</i> — И. С. Бах и фортепиано	48
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	56
<i>А. Раннит</i> — К определению поэзии	58
<i>Б. Нарциссов</i> — Стихи	62
<i>В. Вейдле</i> — Пикассиана	64
<i>В. Вейдле</i> — Стихи	80
<i>Н. Андреев</i> — О самом важном	84
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	94

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>И. Гапанович</i> — Амур — Шанхай — Филиппины — Пекин	95
<i>Ю. Кротков</i> — КГБ в действии	109
<i>Из дневников И. А. Бунина</i> (паблик. М. Грин)	130
<i>К биографии М. А. Булгакова</i> (паблик. Л. Милн)	151
<i>Письма М. В. Добужинского</i> (паблик. Е. Климова)	175

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Иванов</i> — Демографические процессы в США и в СССР....	197
<i>Д. Анин</i> — Возможно ли сближение?	207
<i>А. Авторханов</i> — Вечный Микоян	215

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>В. Филипп</i> — Б. Г. Унбегаун	235
<i>Р. Гуль</i> — В. В. Мияковский	238
<i>Р. Гуль</i> — Д. Н. Шуб	241

БИБЛИОГРАФИЯ: *В. Сечкарев — D. Čiževskij. Comparative History of Slavic Literatures. Н. Андреев — Семейная хроника Зерновых. Ю. Иваск — S. Kryžysi. The Works of Ivan Bunin. С. Крыжицкий — J. Mackiewicz. W Cieni Krzyża. Б. Прянишников — Б. Пылин. Первые четырнадцать лет. Ю. Иваск — З. Гиппиус. Живые лица. Н. Первушин — California Slavic Studies. Игумен Геннадий — Г. Солдатов. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский. Ю. Иваск — Северные цветы. З. Юрьева — М. Кардиналовская. Стихи. В. Сечкарев — A. and S. Lyngstad. J. Goncharov. Б. Нарциссов — В. Брюсов. Огненный ангел. Б. Нарциссов — М. Карапетев. По следам конквистадоров. Ю. Сречинский — В. Загоровский. Белгородская черта. Н. Мандельштам — Т. С. Эллиот. К определению понятия культуры А. Киселев — А. Платонов. Чевенгур. Т. Фесенко — Радиш. Д. Чижевский — Д. Мережковский. Избранные статьи. Уте Шпенглер. Д. Мережковский, как литературный критик. Д. Чижевский — Работы о чешско-русских культурных отношениях. Анд. Фесенко — К истории русской библиографии за рубежом. Р. П. — Заметка. Валерий Перелешин — Дальний Восток в «Якоре». Н. Андреев — Письмо в редакцию. Книги для отзыва. . . 244*

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Одно из самых главных чувств в лагере — безбрежность унижения, но и чувство утешения, что всегда, в любых обстоятельствах — есть кто-то хуже тебя. Эта ступенчатость многообразна. Это утешение спасительно и может быть в нем скрыт главный секрет человека. Это чувство спасительно и в то же время это примирение с непримиримым.

Крист только что спасся от смерти, спасся до завтрашнего дня не более, ибо завтрашний день арестанта — это тайна, которую нельзя разгадывать. Крист — раб, червь — червь то уж наверняка, ибо, кажется, только у червя из всего живого мира нет сердца.

Крист положен в больницу, сухая пелларгозная кожа шелушится — морщины написали на лице Криста его последний приговор. Пытаясь на дне души, в последних уцелевших клеточках своего костлявого тела найти какую-то силу — физическую и духовную, чтобы прожить до завтрашнего дня, Крист надевает грязный халат санитара, метет палаты, заправляет койки, моет, меряет температуру больным.

Крист уже бог — и новые голодные, новые больные смотрят на Криста как на свою судьбу, как на божество, которое может помочь, может избавить их — от чего, больной и сам не знает. Больной знает только, что перед ним — санитар из больных, который может замолвить слово врачу, и больному дадут пролежать лишний день в больнице. Или даже, выписавшись, передаст свой пост, свою мисочку супа, свой санитарный халат — больному.

Крист надел халат и стал божеством.

— Я тебе рубашку постираю. Рубашку. В ванной — ночью. И высушу на печке.

— Здесь нет воды. Возят.

— Ну, сбереги полведра.

Кристу давно хотелось выстирать свою гимнастерку. Он бы и сам выстирал, но валился без ног от усталости. Гимнастерка была приисковая — вся просолилась от пота, обрывки только, а не гимнастерка. И может быть первая же стирка превратит ее, гимнастерку в прах, в пыль, в тлен. Один карман был оторван, но второй цел и в нем лежало все, что Кристу было почему то важно и нужно.

И все таки нужно было выстирать. Просто больница, Крист — санитар, а рубаха грязная. Он вспомнил как несколько лет тому назад, его взяли переписывать карточки в хозчасть — карточки декадного довольствия, по проценту выработки. И как все жившие с ним в бараке — ненавидели его за эти бесконные ночи, дающие лишний «талон» на обед. И как Криста тотчас же «продали», «сплавили», обратясь к кому-то из штатных бухгалтеров-бытовиков, и показав на ворот Криста, по которому ползла, голодная, бледная, как Крист, вошь. И как Крист был в эту же минуту вытащен из конторы чьей-то железной рукой и выброшен на улицу.

Да, лучше было бы выстирать гимнастерку.

— Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так.

У Криста не было хлеба. Но на дне души кто-то кричал, что надо оставаться голодным, а рубашку все-таки выстирать. И Крист перестал сопротивляться чужой, страшной воле голодного человека.

Спал Крист как всегда — забытьем, а не сном.

Месяц назад, когда Крист не лежал еще в больнице, а шатался в огромной толпе доходяг — от столовой до амбулатории, от амбулатории до барака в белой мгле лагерной зоны — случилась беда. У Криста украли кисет. Пустой кисет, разумеется. Никакой махорки в кисете не было не первый год. Но в кисете Крист хранил — зачем? — фотографию и письма жены — много писем, много фотографий. И хотя эти письма Крист никогда не перечитывал, и фотографию не разглядывал

— это было слишком тяжело — он берег эту пачку до лучшего, наверное, времени. Объяснить было трудно зачем эти письма, написанные крупным детским почерком, возил Крист по всем своим арестантским путям. При обысках письма не отбирали. Груда писем копилась в кисете. И вот кисет украли. Подумали, наверно, что там деньги, что среди фото вложен какой нибудь тончайший рубль. Рубля не оказалось... Крист не нашел этих писем никогда. По известным правилам краж, которые блюдутся на воле — документы надо подбрасывать в мусорные ящики, фотографии отсылать по почте или выбрасывать на свалку. Но Крист знал, что эти остатки человечности вытравлены дочиста в колымском мире. Письма сожгли, конечно, в каком нибудь костре, в лагерной печке, чтобы барак осветился внезапно светлым ночным огнем. Но фотографии — фотографии то зачем?

— Не найдешь, — сказал Кристу сосед. — Блатные забрали.

— Им-то зачем?

— Ах ты! Женская фотография?

— Ну да.

— А для сеансу.

И Крист перестал спрашивать.

В кисете Крист держал старые письма. Новое же письмо и новая фотография — маленькая паспортная — хранились в левом, единственном кармане гимнастерки.

Крист спал как всегда — забытьем. И проснулся с ощущением: что-то должно быть сегодня хорошее. Вспоминал Крист недолго. Чистая рубашка! Крист сбросил свои тяжелые ноги с топчана и вышел на кухню. Вчерашний больной встретил Криста.

— Сушу, сушу. На печке сушу.

Вдруг Крист почувствовал холодный пот.

А письмо?

Какое письмо?

В кармане!

— Я не расстегивал карманов. Разве мне можно расстегивать ваши карманы?

Крист протянул руки к рубашке. Письмо было цело, влажное, сырое письмо. Гимнастерка была почти суха, письмо же было влажное, в подтеках воды или слез. Фотография была смыта, стёрта, искажена и только общим обликом напоминала знакомое Кристу лицо.

Буквы письма были стерты, смыты, но Крист знал все письмо наизусть и прочел каждую фразу. Это было последнее письмо от жены, полученное Кристом. Недолго носил он это письмо. Слова его письма скоро окончательно выгорели, растворились, да и текст Крист стал помнить нетвердо. Фотография же окончательно истлела, исчезла после какой-то особенно тщательной дезинфекции в Магадане на фельдшерских курсах, превративших Криста в истинное уже, а не выдуманное колымское божество.

В. Шаламов

ВОЛНЕНИЕ

Вижу, откуда у моря взялась
С женщиной пенорожденная связь,
Как закипевшие воды плодят
Светлых русалок и смуглых наяд
И от скрещения волн и лучей
Краски рождаются женских очей,
Где за персидской княжны бирюзой
Кобальт и золото кельтских Изольд,
Ярь с купоросом тирренских сирен,
Зелень парижская легких Мадлен,
Ляпис-лазурь финикийских богинь,
Прусская синяя бурных Брунгильд,
Польских Marin, русских Marin
Аквамарин, ультрамарин...

РЕКА ПЕРЕД ВОДОПАДОМ

За триста метров до броска,
С отчаянностью постепенною
Здесь ускоряется река,
Как ускоряется вселенная,
В которой, выпав из игры
На роковые траектории,
Вдруг ускоряются миры,
Как ускоряется история,
В которой кругооборот
Попрал законы сохранения
И ускоряется разброд,
Как ускоряется вращение,
В котором кружатся века,
Дробятся брызгами события,
И в пропасть рушится река —
И не остановить ее.

ЗАКАТ

Дивишься краскам жутковатым,
Воспламененным облакам —
И попадаешь в плен к закатам,
Как попадают в плен к стихам:

Пленяясь багровой светотенью,
Ее победу славя, ты
От изумленья к вдохновенью
Летишь, не чуя темноты.

Но терпишь ряд усекновений,
Когда застигнет ночь врасплох:
От светотени — только... тени,
От вдохновенья — только вдох...

И от победы — только... беды,
От изумленья — только... лень...
Тьма с топором идет по следу
Добить кровоточащий день.

И на нижайшем небосклоне,
Где свет укрылся до поры,
Как для молитвы — две ладони,
Вот-вот сомкнутся две горы.

Николай Моршен

СИРИУС

Девятнадцатое июля. Безрадостная годовщина войны со-старилась за этот год, как за столетие. Горечью тягчайших жертв, сознанием грубых ошибок запечатлелся он в душах. Собралась опять Государственная Дума. Снова поднялся на трибуну седой Горемыкин и опять призывал соединиться в общем усилии — изгнать врага из отечественных пределов. Родзянко снова, как год тому назад, заклинал биться до последнего солдата. — Никогда не быть ничьей рабой великой матушке России!

Двадцать первого, утром, в Белом зале Зимнего дворца открылось заседание особых совещаний по обороне государства под личным председательством императора. В «Золотой гостиной», куда перешел царь после речей и деклараций, ему представлены были члены особых совещаний. Вошла императрица с цесаревичем. Председатель Государственного Совета Куломзин провозгласил «ура!» в честь их величеств. Ответив милостивым поклоном, царская чета с наследником удалилась во внутренние покои.

Но позор поражений, позор войны без пушек, без патронов, — отнял у собраний и церемоний былой высокий тон.

Отдав Галицию, Ставка пядь за пядью отдавала и Польшу. Великий князь мрачнел. Раздражение сделалось всегдашим его состоянием. Пришла однажды ночью важная телеграмма из Новогеоргиевска и не доложена была верховному главнокомандующему. У великого князя — семь адъютантов, «семь маменькиных сынов, титулованных балбесов», как говорил про них Николай Михайлович. Ни у союзных, ни у вражеских главнокомандующих не было столько. Вся их работа состояла в том, чтобы не поспать ночь раз в неделю. Но поручик Дерфельден ухитрился заснуть и в эту единственную ночь

См. кн. «Н. Ж.» 43, 67, 68, 90, 91, 92; 95; 104; 106; 109.

и не доложить о пришедшей телеграмме. На утро великий князь вышел к завтраку в грозе и буре. Адъютантский стол — в самом конце вагона и Дерфельдену пришлось на грозный зов пройти всю его длину. Увидев раскаленное от гнева лицо и трясущуюся челюсть, адъютант понял что его ожидает.

— Проспал?! — загремело на весь вагон. — Ты где находишься, на войне или у маменьки, у нянюшки?! Я научу тебя, как служить!

Такого землетрясения не было за все время существования Ставки. Его императорское высочество был в ударе и начал забывать, что он не на плацу перед строем, где любил распекать нерадивых командиров, доходя до крепких выражений. Здесь он сдержался, метнув случайно взгляд в сторону союзных атташэ. Но когда вошел официант с коробкой сигар, чтобы подносить их сидевшим за столами, великий князь, вместо одной сигары взял всю коробку, поднялся и прошел с нею через весь вагон к адъютантскому столу, где сидел совсем убитый Дерфельден. Главнокомандующий поднес ему собственноручно сигару, повергнув молодого человека чуть не в слезы.

— В античной трагедии это называлось катарзисом, — сказал маркиз де ля Гиш.



А города продолжали сдаваться, крепости падали, армия отступала. В темные июльские ночи офицеры ставки выходили из вагонов и прислушивались к грохоту телеги катящейся по бревенчатому настилу. То била германская артиллерия по Новогеоргиевску. Она вещала позор отступления, новое оскорбление русской национальной гордости, перевод Ставки вглубь страны. До последних дней месяца никто об этом не заговаривал. Лишь после оставления без боя Варшавы и Ивангорода, после потери Цеханова, Седлеца, Лукова и отхода за Вислу стала ясной неизбежность эвакуации.

Однажды к отцу Георгию Шавельскому явился великий князь Петр Николаевич.

— Брат вас зовет.

Протопресвитер растерялся. Никогда не было, чтобы не скороход, не адъютант, а великий князь посыпался для вызова. Войдя в вагон главнокомандующего, он увидел на кровати вздрагивающее тело; голова скрывалась в подушках.

— Ваше высочество, что с вами?

Он увидел мокрое от слез лицо. — Батюшка, Ужас!... Ковно сдано без боя. Комендант бросил крепость...

Шавельский вспомнил, что этого коменданта две недели тому назад великий князь благодарил телеграммой и выражал уверенность, что личным примером он будет поддерживать в войсках гарнизона геройский дух. Уже тогда Данилов ворчал: — «Видно, его высочеству ни разу не попадалась на глаза эта ленивая скотина. Пятнадцать лет состоит комендантом, а крепость довел до полной обветшалости. Ему бы не благодарность посыпать, а коленкой вытолкать вон».

Теперь, когда отец Георгий шепотом сообщил об истерике главнокомандующего, генерал квартирмейстер вздохнул: — «Пожинаем плоды собственной беспечности. Подумать только! За год войны ни разу не взглянули, что представляют собой наши крепости. Ковенскую я хорошо знаю: батареи слабой профили и заплывают в дожди грязью и водой. Кирпичные брустверы форта во многих местах обвалились и сползли вниз. В капонирах форта кирпич вываливается из потолков. Из-за оползней с валов, многие орудия капониров не стреляют. Как то на докладе я попробовал подать мысль о посыпке офицеров Ставки для осмотра наших крепостей, но на это не обратили внимания. Да и то сказать: кого послать? Ставка полна бесполезных людей».

Несмотря на обстрел немецкой артиллерии Ковно могло бы продержаться несравненно дольше. Осовец и Ивангород показали каким великолепным задерживающим средством являются крепости для напирающего врага. Русский народ издревле проявлял талант в защите крепостей. Но в дни яростных немецких атак комендант Ковно находился не на линии обороны, а в городе, в своей квартире. Сносился с начальниками

отделов крепости и артиллерии по телефону. В день самого отчаянного штурма покинул крепость под предлогом поездки в штаб 34 корпуса и оттуда не вернулся, остался ночевать в mestечке Жижморы.



Падением Ковно решалась судьба Барановичей. Но куда переносить Ставку? В Тулу? В Калугу? В Тамбов?... После молебна, за которым все от главнокомандующего до унтер-офицера плакали, поезда один за другим стали отходить от перронов, возле которыхостояли целый год. Опять как вначале войны, никто не знал, куда переезжает Ставка. На великого князя боялись смотреть.

Остановились наутро в Могилеве.

— Могли бы подыскать, что-нибудь менее похоронное!

Одному все обрадовались: кончилась эра управлениявойной на колесах. В Могилеве ждали дома и удобные помещения. Средний и низший персонал разместился в гостиницах. Верховный главнокомандующий, начальник штаба, генерал-квартирмейстер и союзнические генералы поселились в губернаторском доме. В 1812 году в нем останавливался маршал Даву. Из окон виден Днепр, синеют русские дали.

Великий князь подолгу простоявал перед окном. Потом, как очнувшись от забытья, встряхивал головой и отходил прочь. Настало десятое августа. Поздно вечером прибыл военный министр генерал Поливанов и уехал через час. После него свет в комнате верховного главнокомандующего горел всю ночь. Великий князь с братом Петром Николаевичем и князем Голицыным просидели до рассвета.

— Вот и говорите после этого, что приметы — вздор, — говорил наутро Голицын — Петрово-Соловово. — Я еще перед отъездом из Барановичей почувствовал недобroe. Помните, когда его высочество в день своих именин приглашен был на закладку придела в честь св. Николая Христа-ради Юродивого, и как камень со вделанной в него серебряной дощечкой рассыпался в куски, только лишь великий князь взял его в

руки? Я уже тогда подумал «быть беде»! Да и его высочество тогда побледнел и перекрестился. В нем, как в истинно большом человеке, заложена способность читать записанное в книге судеб. Напрасно ему объясняли, что с закладкой торопились, что цемент не успел затвердеть, он на всё отвечал: — «Да, да... так видно Богу угодно... на все Его святая воля...» Когда после этого Ковно взяли, мы с отцом Георгием решили, что вот оно и сбылось. Но Господь судил горшее. Незадолго до приезда Поливанова прибегает ко мне Дерфельден. Что делать? Как сказать его императорскому высочеству? Пала его любимая лошадь. Тут меня в холодный пот бросило. Нет, думаю, не все еще сбылось. Так оно и стало. Приезжает вечером Поливанов с царским письмом: «Мужайтесь ваше императорское высочество! Я привез вам скорбную весть...» Ах эта ночь!

Царь писал, что прощает великому князю ошибки минувшего года войны, принесшего столько жертв и несчастий. Теперь он решил взять управление армией в свои руки. Начальником штаба назначает генерала Алексеева, а самому великому князю поручает кавказское наместничество. Прочитав это, великий князь перекрестился. «Благодарю государя за избавление от бремени, которым я был измучен».

Когда Поливанов ушел, великий князь, как всегда в минуты волнений, подошел к окну и долго стоял, глядя в ночную темень. Повернувшись прошептал: «Злой дух! Злой дух всего нашего семейства!.. Она все погубит!» Наутро, выйдя к завтраку, он подозрительным взглядом пробежал по лицам.

— А что, ля Гиш не знает, как вы думаете? А Вильямс?.. Наверное уже пронюхали...



Не успела отгреметь ковенская катастрофа, как пали Осовец, Брест-Литовск, Новогеоргиевск. Из Новогеоргиевска долго не было сведений; потом дошел обрывок радио-телеграммы: «Мы погибаем, все сметено...» Прилетело восемь аэропланов вырвавшихся в последнюю минуту из крепости. Великий князь

смотрел на роковые потери чужими глазами. Они уже не при нем совершались: он относил их к своему преемнику. Да и всей Ставке они казались менее важными, чем падение верховного главнокомандующего.

Приехал Алексеев, принял дела начальника штаба и появился за обеденным столом вместе с великим князем, протопресвитером Шавельским и опальным Янушкевичем. Среднего роста, худощавый, круглоголовый, скуластый, с седоватыми усами. Деды его и прадеды пахали землю. От черноземных предков простота его и скромность. Среди породистых генералов он выглядел фельдфебелем. Но когда начинал говорить, профессор Военной Академии выступал в полном блеске. Янушкевич рядом с ним казался воплощением обывателя в генеральском мундире. В такие минуты всеми ощущалась громадная вина великого князя, державшего целый год такое ничтожество во главе штаба.

Когда смятение, вызванное визитом Поливанова, улеглось, начались толки о поправимости дела. Узнали, что в Петербурге все кто мог спешили отговаривать царя от опасного шага. В Могилев пришло кем то записанное смелое выступление графа Фредерикса. Он будто бы говорил императору: «Лавры, которых вы хотите, обратятся вскоре в шипы». — «Вы меня, следовательно, считаете неспособным? — спрашивал император. — Вы забываете, что я постоянно присутствовал на маневрах и к тому же при мне будет постоянно находиться генерал Рузский, авторитет и военные познания которого вне всяких сомнений». — «Разрешите мне, старому слуге вашему умолять: назначьте на этот ответственный пост того же самого Рузского или Алексеева или кого хотите. Не покидайте Петербурга, вашей столицы. Не лишайте себя возможности критиковать других и не ставьте себя в положение критикуемого. Как главнокомандующий, вы будете ответственны за все поражения, а Бог ведает, что нас ожидает». — «Меня любит народ и армия, — говорил император. — Впрочем мое решение непоколебимо».

Слова графа произвели сильное впечатление в Ставке. Один Петрово-Соловово весело улыбался.

— Апокриф! Сущий апокриф! Граф скорей умрет, чем скажет хоть половину того, что ему приписывают. Всё это сочинено где нибудь на Каменном Острове.

Никто, однако, не считал апокрифом разговор английского посла с императрицей.

Сэр Джордж Бьюкенен испросил аудиенцию у государыни и говорил ей о страшной опасности для России и трона. У Александры Федоровны пошли красные пятна по лицу, она возненавидела Бьюкенена до того, что чуть не сделала ему выговор за неуместное вмешательство не в свои дела.

Все знали, что императрица настойчиво уговаривает царя встать во главе армии.

Когда председатель Государственной Думы отправился к Горемыкину и Кривошеину, дабы поднять их на совместное выступление, оба отказались, ссылаясь на священную волю его императорского величества. Отказался и Куломзин, председатель Государственного Совета. Родзянко решился один, испросив аудиенцию, поехать в Царское Село.

Не упоминая ничего о великом князе, он начал издалека — передал «желание всех» видеть на месте Янушкевича генерала Алексеева. Император ответил: — Я решил бесповоротно удалить великого князя Николая Николаевича и стать самому во главе войск.

— Но, государь, вы верховный судья, а если будут неудачи, кто будет судить вас? Как можете вы покинуть столицу в такое время? Ведь в случае неудач опасность может угрожать и вам, государь, и всей династии.

— Я знаю. Я спасу Россию...



В Ставке не знали, что «переворот 10 августа» подготавлялся и основывался на мистической уверенности, что одно появление государя во главе войск изменит положение на фронте.

— Ведь ты же хотел с самого начала взять на себя командование, — говорила Александра Федоровна. Ее возму-

щала кротость с которой царь терпел вмешательство великого князя во внутреннее управление.

Вечером был созван совет министров во дворце. Перед заседанием государь не находил себе места и неустанно разглаживал усы. Государыня его перекрестила. На совещании государь сидел среди многоречивых, исполненных государственного ума мужей. Стоя лицом к нему, говорил Сазонов. Когда он сел, поднялся Щербатов. Говорил об огромных, чисто технических неудобствах управления страной, если всему совету министров ездить в Ставку к государю, хотя бы раз в неделю. Это лишит страну, по крайней мере, на трое суток всякого правительства. Скорые министерские поезда будут мешать движению на дорогах. Если же министрам ездить порознь, то никогда не будет полного совета министров. Министру внутренних дел, самое малое раз в пять дней, необходимо докладывать его величеству. Половину своего времени он должен будет проводить в вагоне поезда. Утратится возможность быстро решать неотложные дела...



В Ставке ждали прибытия нового главнокомандующего. Поезд остановился не в Могилеве, а в нескольких верстах от города на специальной ветке, проведенной к усадьбе Бекаревича.

Встречал царя, как всегда, великий князь Николай Николаевич, только вместо Янушкевича с ним был теперь генерал Алексеев. В Иосифовском соборе царя встретили архиепископ Константин с викарным епископом и городским духовенством. В тот же день подписан был приказ по армии и флоту: — «Сего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий. С твердою верой в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты родины до конца и не посрамим земли русской».

В походную канцелярию поступало множество привет-

ственных телеграмм. Английский король, французский президент, японский император, выражали уверенность в окончательном сокрушении врага, вкупе с союзовыми войсками. Сербский король не сомневался в том, что непобедимое воинство святой Руси, под начальством своего верховного вождя покроет себя новой славой. Поступила сводка союзнической печати. «Это событие будет иметь величайшее моральное, политическое и военное значение», — писала «Матэн» по поводу смены верховного командования.

— Это последний удар, который нанес себе государь, — заявил Николай Михайлович в Яхт-Клубе.

Достоинство и стойкость, с которыми великий князь переносил постигший его удар, очаровали всех. За завтраком в царском вагоне, он разговаривал с государем так, будто ничего не случилось. Некоторых осенило: быть может избавившись от царскосельского дурмана, оглядевшись на месте, император опомнится и все оставит по-прежнему. Быть может несмотря на содержание письма привезенного Поливановым великий князь, хоть не в прежнем звании, но останется при государе. Сам Николай Николаевич ожидал этого. Но на другой день, в ласковом разговоре, затянувшись папиросой, государь спросил скучающим голосом: — Ну, а когда же ты уезжаешь?

Великий князь покраснел и ответил: — Завтра.



Прощание опального главнокомандующего с недавними своими сотрудниками разбило все сердца. Представ перед чинами Ставки, он благодарил их за службу и призывал впредь служить с еще большей самоотверженностью, помня, что отныне их ведет сам царь — верховный вождь российского воинства. Он поразил всех величественностью лица, фигуры, голоса и необыкновенным достоинством. Когда он, сделав общий поклон, удалился, у многих в глазах были слезы.

Отъезд был назначен на шесть вечера. Вспомнилось, как год тому назад уезжал в действующую армию. И время было

то же вечернее, и так же тяжело было на душе. Тогда царь не приехал проводить, а сегодня приедет, непременно приедет. Был уверен, что «сама» приказала проводить.

Но государь и теперь не хотел провожать. Свита забеспокоилась. Приступили к Фредериксу. Он соглашался, что государь много потеряет, если не поедет на вокзал, но наотрез отказался говорить царю что бы то ни было. Взялся гофмаршал кн. Долгоруков. Войдя в царское купе он сообщил, что моторы уже готовы и просил указаний, когда их подать.

— Подать? А зачем?

— Разве ваше величество не собираетесь на вокзал, проводить великого князя?

— Ты думаешь это надо?

Долгоруков принял вид растерявшегося. — Я боюсь, что ваше величество будете сожалеть, если не сделаете этого.

— Ну хорошо, прикажи подать их за полчаса до отхода поезда.

На вокзал генералы шли, как на панихиду. Великий князь обошел их, пожимая руки и чуть не каждого обнимал. Потом, когда прибыл император, он попрощался с его свитой. Царь тем временем милостиво разговаривал с приближенными великого князя, уезжавшими вместе с князем. Раздался свисток. Николай Николаевич, как год тому назад, уезжая в Барановичи, поднялся на площадку вагона и взял под козырек. Государь и все стоявшие на платформе сделали то же. Стояли пока поезд и высокая фигура в дверцах вагона не скрылись за поворотом.



С приездом нового главнокомандующего, как морозный пар в избу из раскрытой двери, хлынула в Ставку чуждая стихия, заносчивая, гордая своим превосходством по причине близости к государю. «Золотая орда» — прилипло к ним чьето словечко.

В штабном собрании, офицеры долго не могли разобраться в назначении отдельных чинов свиты. Особенно интересовались ролью адмирала Нилова. Компетентное объяснение гла-

сило, что роль его та же, что у Воейкова. Дворцовый комендант отвечает за жизнь и безопасность монарха на суше, а Нилов на воде.

Двор и Ставка получили и территориальное разграничение. Недоброде началось между ними с первого же доклада.

Генерал Алексеев, стоя у раскрытой двери своего кабинета в ожидании прибытия его величества, насупился, увидав, что следом за государем идут Фредерикс и Воейков. Пропустив только государя, генерал захлопнул за собой дверь.

Зато чины Ставки сразу полюбили Алексеева. В штабном собрании громко говорили: «Молодец! Так и надо! Этого еще не хватало, чтобы на доклад!..»

Алексеев сделался знаменем воинского начала Ставки. Всем нравилось, что сын его Николай Михайлович, корнет лейб-гвардии уланского полка, все время был в строю. Отец не хотел, чтобы он подал пример «устройства» при безопасных штабах и сын понимал это. Полюбили его и за простоту. В «Бристоле», где обедало все офицерство, где столы и места расписаны были еще при великом князе, он никогда не заставлял долго ждать. Поздоровавшись садился и этим кончалась вся церемония.

— Не бывать нашему Михаилу Васильевичу в великих и сановных, не рожден, — говорил капитан Кожевников. — Разве можно начальнику штаба верховного главнокомандующего так просто, да еще с деловой поспешностью выходить к обеду и простым кивком головы приглашать всех садиться? Но Алексеев не всегда и обедал в «Бристоле». Иногда его роль исполнял генерал-квартирмейстер Пустовойтенко. Михаилу Васильевичу отведено было место за царским столом в губернаторском особняке, но он упросил, чтобы мог пользоваться этой честью не больше одного-двух раз в неделю. Царские обеды отнимали много времени и выбивали из колеи.



Переход от барабановицких порядков к могилевским совершился не без волнений: ждали чистки. Заподозренные в преданности великому князю ходили робко и неуверенно. Ге-

нералы Ронжин, Кондзеровский, протопресвитер Шавельский при встречах спрашивали друг друга: «Остаетесь в Ставке?» Все старались прочесть свою судьбу в маленьких глазах графа Граббе, постоянного партнера царя по игре в домино. Но Граббе суживал глаза до предела, улыбался и молчал.

Никого не тронули. Один Дрентельн знал, что ему не простят разговоров с прежним его начальником кн. Орловым о заточении императрицы в Соловки.

Появились новые лица. Вместо Данилова генерал-квартирмейстером стал Пустовойтенко.

— Поразительно, как у нас раздаются назначения! — писал великий князь Николай Михайлович императрице Марии Федоровне. — В Германии, за несколько лет до войны отобраны и проверены офицеры предназначавшиеся на командные посты. Ни одного случайного назначения. Все соответствовали отводимой им роли. А у нас формировали штабы и подыскивали людей в день выступления в поход. Брали первого подвернувшегося.

Самым оригинальным сотрудником Ставки оказался человек с другой планеты, марсианин — давнишний законченный враг царизма и всей правящей России. Заинтересуйся кто нибудь его карманами, полными бумаг, застигни его в полночь за снятием копий с этих бумаг, ему бы не миновать виселицы. Но он не был шпионом, он был эсером и то в прошлом, и то по подозрению. Он был историком революционного движения. На проходившие через его руки документы он усвоил взгляд, как на архивный материал для летописи войны. То был «шпион от истории».

Быстро убедившись, что в Ставке верховного главнокомандующего, как во всех учреждениях российской империи, разгильдяйства и беспечности вполне достаточно, штабс-капитан Михаил Константинович Лемке отбросил страх и смело действовал во имя исторической науки. Копии документов, дневники, тетради отсылались в «надежные руки» в Петербург.



Великий князь Николай Николаевич, даже опальный, даже сосланный на Кавказ, сошедший со страниц газет и журналов, продолжал беспокоить императрицу. Простой народ жалел его, как жертву царского гнева. Прошел слух о его смерти: умер за Россию, как мученик неугодный царю, смерть его скрывают. В кулуарах Ставки часто шли разговоры об этих легендах. Общее мнение приписывало их творчеству остатков Киевского кружка, руководившегося великими княгинями — черногорками. Это оттуда, во дни Барановичей, распространялась ложная слава бывшего главнокомандующего. — Так то оно так, — говорил генерал Борисов, — но вспомните, как изображали великого князя: заступником солдат, грозой офицеров и генералов. Сколько рассказней ходило о том, как он срывал с них погоны, бил хлыстом! Народу это нравилось. У нас генеральство и офицерство неотделимо от барства. Вот почему народ по сей день боготворит великого князя. В Ставке знали также что ни самсоновская катастрофа, ни макензенский прорыв, ни отступление из Галиции, ни сплошная цепь неудач и поражений не поколебали в народе военную репутацию великого князя, а в военные таланты царя никто не верил. Это угнетало Александру Федоровну. Через Вырубову, дружившую с его женой, Войейков получил намек на необходимость поднятия престижа нового августейшего главнокомандующего.

Недели через две после возглавления Ставки императором русская армия содрогнулась от нового удара, грозившего ей полной гибелью. На участке между Вильно и Свенцянами неприятель прорвал фронт и в образовавшиеся ворота пустил тучу конницы с артиллерией. Она букетом рассыпалась по русским тылам с явным намерением соединиться с армией Макензена. В случае удачи, весь русский фронт от Молодечно до Ляховичи был бы отрезан. В полной мере опасность катастрофы понимали только в Ставке. Страна понимала наполовину. В Царском Селе вовсе не понимали. Александра Федоровна и Вырубова переживали сладость своей победы над Николаем Николаевичем и ждали старца из села Покровского.

Больше двадцати дней шли жестокие арьергардные бои.

Железных дорог вдоль фронта не было. Корпусам двинутым к месту прорыва, пришлось пешком идти более двухсот верст по сентябрьским дорогам по колено в грязи, но расчет оказался правильным; пришли во время к тому месту куда надо было. Уже к 17 сентября штаб верховного главнокомандующего мог сообщить, что «в общем положении фронта наших армий и их состоянии отмечается новый благоприятный для нас оборот».

Вся Ставка, понимавшая от какого бедствия избавлена была русская армия, с глубоким уважением смотрела на своего начальника штаба проделавшего блестящую операцию. Победы не было, была потеря территории, были потери людьми, но было спасение от неминуемой катастрофы; прорыв закрыт, фронт выровнен. Тогда и было показано, как самодержец все-российский, взяя меч в свои руки, остановил натиск врага. Появилась брошюра «Вещего», описавшая вильно-молодеченскую операцию, как подвиг нового верховного главнокомандующего. Иностранным военным корреспондентам сделаны были соответствующие внушения и указания. Дубенский рассказывал, будто в самый трудный момент немецкого наступления под Вильно, он пришел к Алексееву, дабы получить материал для своих ежедневных записей о положении на фронтах. Алексеев, по его словам, сидел за огромным столом заваленным картами и бумагами.

— В каком состоянии находятся наши армии, Михаил Васильевич? — Алексеев схватился за голову.

— Какие у нас армии! Войска наши полегли на полях Галиции и Польши. — Все лучшее перебито, в полках остались сотни, а в ротах десятки человек. Ни патронов, ни снарядов... Я не знаю что мы будем делать, как сдержим напор и где остановимся... Наше положение никогда не было так плохо. Вот сейчас доложу все это его величеству.

На высочайшем завтраке в тот же день Дубенский увидел генерала совершенно переменившимся.

— Известий новых не получено, но после доклада его величеству я получил определенные указания. Государь повелел дать телеграмму по всему фронту: ни шагу назад, но

задержаться и укрепиться, а прорыв вильно-молодеченский приказано ликвидировать войсками генерала Эверта. Я теперь уже привожу в исполнение приказ государя и даст Бог спра-вимся...

— И вы верите этому? — спросил протопресвитер Шавель-ский, когда ему передали рассказ летописца. — Что государь пребывает всегда в полном спокойствии, что бы ни случилось, это факт общеизвестный, но чтобы Алексеев в трудную ми-нуту хватался за голову, такое я слышу впервые. Видели ка-кая у него голова? Крепкая, солдатская; он солдатский сын. А солдаты за голову не хватаются, это жест барский. И вы уверены, что приказ ликвидировать прорыв войсками гене-рала Эверта исходил от государя, а не предложен был тем же Алексеевым? Не верится, чтобы командир эскадрона поучал профессора военной Академии и руководил одним из опыт-нейших генералов.

Н. Ульянов

БАБОЧКА

Бабочка летит на небоскрёб,
А под ней дежурят сотни улиц,
А под ней кафе живут, целуясь
С хрусталём, и прячутся под кров
Разноцветных шолковых полотен
И смеётся бабочка в полёте,
Город рассекая поперёк.

Бабочка плывёт на небоскрёб,
На магниты мощных корпораций,
На стекло Объединённых Наций,
Зная направление ветров.

Бабочка, цветистее Шанхая
Слушает, над доками порхая
Городской автомобильный рёв.

Может быть, Париж или Калькутта
Этой пёстрой бабочке знакомы,
Всё увидит, всё навек запомнит
Бабочка, цветущая минута,
Озарит своим восточным стилем
Полотно ньюиоркского текстиля,
Вспомнит детство, куколку из тута...

Бабочка, размером в небоскрёб,
Сверстница Синдбада-Морехода
Бабочка — цветистая свобода,
Спутница весёлых моряков.
Бабочка, просторная, как парус,
Зоркими глазами, как стеклярус
В море видящая пароход.

А Нью-Йорк живёт своей сквозной
Жизнью лифтов и стенографисток,
Оглашая полицейским свистом
Перекрёсток улицы ночной.
Пусть она крылом его задела,
Что ему, в конце концов, за дело
До визита бабочки цветной.

Олег Ильинский

ПУСТЫНЯ

Жена Вальдена умерла шесть недель тому назад. Вальден сидел в холле международной гостиницы, грузный большой человек со странно тонкими руками, нарочито неряшливо одетый, как будто хотел подчеркнуть, что гениальному да и ботатому человеку нечего и заботиться о том, какое впечатление он производит.

Сезон еще не начался, холл был почти пуст. За баром позванивали стаканами барман: прислонившись к колонне, два служащих негромко разговаривали о своих дела, изредка посматривая то на Вальдена, то на немолодую с синими волосами даму, которая пила чай, поглаживая сидящую рядом с ней на кресле болонку. За большими окнами, ошелев от мистраля шатались пальмы, по набережной шли прикрывая рты пожилые люди, и даже солнце было какое-то ненастоящее, как будто светило нехотя, через силу.

Вальден принял было за крестословицу, но счел ее слишком примитивной и опять, в сотый раз, профессионально запоминающим взглядом стал рассматривать — хрустальный шатер люстры (две лампочки горели ярче остальных), оливковое лицо бармана (с одной розовой щекой от абажурчика), даму, неторопливо кормящую бисквитами болонку, — но любопытства к ним не испытывал. Он уже много лет предпочитал лица и предметы выдумывать, а не наблюдать.

Странно было, что он один и что, вот скоро, нужно будет ему самому выбирать себе блюда на ресторанной карточке, а в конце недели платить кассиру, подписывать чеки — все это давно делала за него жена.

Он опять вспомнил совсем не торжественные похороны, — на них никого не похоронили. Как и подобает, когда в религии видят только предрассудок, — исчезновение тела было просто до отчаяния: оно было предано огню. От музы-

кального оформления этого процесса муж и дочь отказались, и в тяжелом молчании было слышно только как открылся засов печи крематория. Тут Вальден закрыл глаза и пошатнулся. Дочка взяла его руку, но утешенья от этого он не почувствовал. Все в нем еще больше окаменело.

На следующее утро дочь улетела в Рим где крутила какой-то фильм, и Вальден прекрасно понял, за один проведенный с нею вечер, что она больше всего боялась, чтобы отец не попросил ее остаться с ним навсегда. Аказалось, она интересовалась его творчеством, настояла в свое время, чтобы он играл в двух фильмах заснятых по его романам. Она была красива и не лишена таланта, но играла по-любительски — избалованная, взбалмошная дочь богатого человека.

Через час должен был приехать попросивший еще у жены свиданья с ним молодой филолог, готовящий о нем диссертацию — ему было назначено свиданье именно в этой гостинице, чтобы Вальден мог встать и уйти, когда гость ему надоест. Эта ли гостинница, другая ли — дома у Вальдена давно не было. За последние годы они всегда жили в таких склепоподобных палатах, окруженные равнодушными и хорошо вышколенными слугами, как будто осуществляя давнюю мечту очень бедных людей, желающих, чтобы роскошь ежеминутно напоминала им об успехе.

Собачка соскользнула с кресла, легко перебежала по ковру и остановилась около Вальдена, поблескивая через космы пуговками глаз. Когда-то Вальден умел обращаться с животными, и как бы проверяя себя, он нагнулся — сморщился пиджак на рыхлом животе — протянул руку, почмокал губами, но вдруг собачка с тонким визгом бросилась от него — назад к хозяйке.

Кудрявый грум подбежал к Вальдену: «К вам пришел господин Белл». — «Да, я его жду». — И Белл, щупленький и длинноволосенький, в бархатных штанах и замшевой грязной куртке, уже шел к нему застенчиво улыбаясь.

Как много Беллов повидал Вальден, и не только молодых, но и маститых, неловко старающихся скрыть свой страх перед великим и известным своей неучтивостью писателем. Этот Белл

был отличен от других только веснушками, но так же пропитан все той же академической, неживой любознательностью, тоже прочел и Фрейда и Юнга, мог сравнить самое несравненное — (Чехова и Кафку) — и уж, конечно, до иоты знал все, что было написано Вальденом и то, что было написано о Вальдене.

Веснушчатый Белл сразу обнаружил свое глубокое знание произведений мэтра, несколько произвольно вставив в свою речь излюбленные Вальденом метафоры, и заметил, что его поразило в последних пяти книгах Вальдена настойчивое повторение ледяного мотива: льдистость, льдины, айсберг, леденящее, ледовый, ледяной...

Сознавал ли Вальден, что улыбка его была помимо его воли презрительной и насмешливой даже и теперь, когда он чувствовал себя потерянным, так как за долгие годы впервые жена не присутствовала при интервью?

Он привычно, перед каждым словом или ответом, отводил глаза в сторону, ища уже исчезнувшее лицо. Оглядываться было не на кого. Ее не было.

Вальдену и в голову не пришло оставить Белла на обед, хотя он с тоской думал, что будет сидеть один в белой ротонде столовой. Приглашать людей без разрешения он отыск и в восемь часов отпустил Белла, не смеявшего записывать то, что он услышал и напряженно старавшегося всё запомнить. Белл откланялся наконец, рассыпаясь благодарными улыбками, и ушел, унося, как женщина портрет возлюбленного или партизан портрет вождя, облик лысоватого дряблого гения и ворох необыкновенно острых и спорных изречений.

Тоску Белл все-таки развеял. Вальден так любил ошеломлять читателей и собеседников, раздражать их заковыристыми заявлениями: «Моцарт — третъеразрядный тапер в провинциальном кино начала века», «Пушкин, что о нем говорить, поскольку в ясности своей он доступен любому дураку».

Впрочем, несколько волновало его что о нем напишет Белл... Умный человек Вальден не дорого давал за мнения других об его творчестве, но приходил в ярость от малейшей, пусть перифразой, высказанной критики и радовался несбуз-

данным дифирамбам тех, которых считал дураками и литературными недорослями.

Вальден прошел в столовую, где уже сидела дама с собачкой и какая-то новоприбывшая парочка. Вокруг трех столов носились, как стаи мух, лакеи.

Хуже было когда он поднялся в свои апартаменты — в спальню с двумя кроватями и гостиную, где висела репродукция знаменитого современного художника. На столе лежали гранки новой книги — и стояла фотография жены. Ее голубые глаза казались прозрачными, тонкие губы были сжаты и все тонконосое острое лицо носило отпечаток выработанной высокомерности, которую она считала признаком аристократизма именно потому, что к аристократии не принадлежала.

Уже совсем стемнело, и на набережной зажглись дуги фонарей, белые и чистые. Море, шумы которого до комнаты не доносились, серыми пятнами накатывалось на белеющий пляж.

Более пятидесяти лет назад, (но это было летом), в этом же приморском южном городе, двадцатилетним он расстался с своей шестнадцатилетней почти-невестой, такой славянской девушкой с широко расставленными, всегда удивленными глазами. Как легко вились каштановые волосы по девичьей шее и над невысоким выпуклым лбом. Звали ее Эллой. Она была совсем беззащитна, несмотря на бойкость разговора и шаловливость доходящую до резкости. И совсем бесстрашна, защищенная своим неведением зла.

Тогда вот тоже шумел мистраль серебристыми ветвями олив, но и цикады стрекотали о счастьи, а счастье, тогда казалось, было в этой девочке, — может быть с ней и ушло.

Но писательской удачи с Эллой он бы не добился. В простоте своей она и не догадывалась, что в молодом Вальдене таятся вот такие возможности славы и денег. Писанье казалось ей совсем никчемным занятием. И уж наверное не догадалась бы Элла первые годы кормить мужа своим трудом, кропотливым изготовлением аляповатых фальшивых драгоценностей, бывших тогда в моде. Зато готовила бы для него какие-нибудь

неудобоваримые блюда своей национальности, ни на что бы не жаловалась, легко переносила бы бедность и не замечала бы оскорблений, связанных с нуждой.

Жива ли Элла и какова судьба ее, так покорно — по совету отца — отказавшейся от своей первой любви. Как неловко она поцеловала его при расставании, как и в первых поцелуях, плотно сомкнутыми губами. В памяти остались: белое платье, загоревшие руки и ноги, кое-где поцарапанные горными кустарниками. Серые глаза с янтарными искрами засияли слезами, когда она сказала: «Уйду и не обернусь, а тебя никогда не забуду», и быстро сбежала вниз. Под сандалиями катились камешки, и он остался один — обожженный горем.

Но все это Вальден забыл и только теперь вспомнил об Элле, потому что вдруг и на нее хватило времени, вспомнил тепло исходившее от нее, веселую игривость простого сердца.

Он вздохнул, пососал леденец, сел в кресло, зажег лампу, стоящую, как журавль, на тонкой ноге. Тоска не расходилась, но нарастал и страх. Откуда он? Потеря жены? Да, конечно, но еще больше угнетала его безысходность своего существования, собственная беззащитность, которую он раньше не чувствовал. Как император, теряющий одну за другой все части своей империи, Вальден за последние годы как-то беднел с незаметной постепенностью. Твердо, под предлогом заботы о нем, об его освобождении от хлопот, она отняла от него участие в жизни, обессирила его. Только ей читал он свои рукописи, только ее советам следовал, она подписывала контракты, правила гранки, возила его на автомобиле, заказывала ему одежду, билеты на самолеты, решала кого он может видеть и кого видеть не должен. У него и денег-то никогда не бывало в кармане, она была его кассиром и манаджером, и вне ее у него не было ничего, кроме того, что он выдумывал и о чем писал. А ведь когда-то он был деятельным и самостоятельный и, хотя был плохо приспособлен к борьбе, все же боролся, разговаривал с издателями, устраивал лекции, писал письма...

Сперва метелицей, затем метелью, потом бураном было

сметено, отброшено все то, что дает человеку ощущение собственной жизни. Даже прошлое, и оно особенно старательно, было оторвано той же твердой, холодной рукой. Отброшены друзья, уничтожены старые письма, счастливое детство, тревожная трудная молодость, а ведь и память, и общение с другими — пища писателя.

Все бездушнее, запутаннее рождались в нем образы его персонажей. И уже ими не интересуясь, их не любя, Вальден любил в писательстве только тонкое словесное кружево, замысловатое словосплетение. Орудие стало самодовлеющей целью.

Вальден криво улыбнулся, неожиданно уловив, что среди абстракций, уже не символов, не аллегорий, а чудовищ, ставших героями его книг, ужаснее всего были женские образы, — «ледяные змеи».

Да и сам он стал чудовищем, но недавно ему нравилось, когда об этом писали, а теперь стало непереносимо. Стало трудно выносить себя, захотелось снять, силой на него наложенную, и уже вросшую в настоящее лицо, маску.

Вот, как подснежник после зимы, вернулась к нему забытая Элла и теперь он вспомнил, что ведь и он был жив, молод, счастлив, несчастлив, любим, окружен друзьями... Никто больше не оберегал его, как зверь свою добычу...

Потрогал гранки, с отвращением совсем удивительным, хотя и знал, что это очередной шедевр. В чемодане была еще рукопись нового романа. Кто-то будет ее перепечатывать? Сколько за это придется платить? Второй вопрос был рефлекторный, и тоже ему навязанный. Вальден не был скончан, он и в бедности делился с другими тем, что имел, но вот к старости вдруг стал скончан. «Для дочки» объяснял он себе, а теперь понял, скончанность была ему внушена. Когда старые друзья просили его о помощи, ведь не он открывал письмо, он только слышал холодный голос, «Ясно! Таких попрошаек будет все больше и больше»; и письмо, без ответа, бросалось в корзину.

Как сказал Белл? В книгах его участился элемент холода, льда. Ледяное стало его особым даром, и вот он сам оледенел.

Но оттаивать было больно и трудно. Смерть? Он перейдет из бытия в небытие, не заметив.

Тоскуя, Вальден побродил по комнате шаркая ногами, ему было страшновато. Он позвонил, чтобы ему принесли минеральной воды. И сразу же ее принесли. «Поговорить бы с ним», — подумал Вальден, глядя, как вошедший итальянец или испанец, ловким движением сорвал капсюлю и налил воду в стакан — но как начать? Ничего не сказав, Вальден просто подписал предложенный счет. И дверь тихо закрылась. А прозрачные глаза продолжали смотреть на него. Разве заплакать? — подумал Вальден, но слезы не шли.

Он грузно повернулся, начал смотреть на стену. Она была золотистой, но страха не разгоняла. Все что у него осталось, это страх перед жизнью и нараставшее жестокое раздражение, еще ни к кому не относящееся. Через четверть часа, он встал, тяжело ступая босыми ногами подошел к столу и, не вглядываясь в фотографию, с жутью святотатства осторожно взял ее своими длинными пальцами, как берут что-то очень опасное, положил в ящик и плотно его закрыл, — как бы навеки. И вот тут-то пришло облегчение: жуть святотатства перешла в странное, забытое но родное чувство свободы.

Зинаида Шаховская

ПУТЬ В НИКУДА

Вотще злорадство наше,
Бессмысленна работа.
Смех невесёлый страшен,
Как смертника икота.

В кошмарах сновидений
Реальная основа:
Мир искажен в сплетеньи
Сетей сарказма злого.

Гротеск ощерен щебнем,
В нём судорог арена,
Как в зеркале волшебном
Из сказки Андерсена.

АНТИТЕЗА

Невозможно обобщить
Смысла разобщенного.
И не надо, не ищи
Ночью солнца черного.

Нет реальности иной
Кроме обывательской,
Потому поэт порой
Терпит издевательства.

Хоть корову через ять
Напиши в усердии,
Необъятного объять
Не дано поэзии.

СТЯЖАНИЕ

Кащей бессмертен средь вещей,
В вещах его защита.
Возьми пожиже тех же шей
И влей в своё корыто.

Возрадуется волчья сыть,
Смелей расправит плечи.
В клещах вещей вольготней жить,
Но умирать не легче.

СКЕПСИС

В убогость каменных палат,
Сурово, без привета
Приходит старость невпопад,
На смену пустоцвету.

Дрожат тенями, по углам,
Надежды и потери.
Что значит здесь? Что будет там,
За тьмой последней двери?..

Вокруг, как частокол, торчат
Вопросы без ответов:
Не сад цветущий, сущий ад
Для мыслящих поэтов.

И всё же, с болью пополам,
Живу не лицемерю.
Совсем не верю зеркалам,
Календарю не верю.

Глеб Глинка

ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА

О ВОСПОМИНАНИЯХ НАДЕЖДЫ ЯКОВЛЕВНЫ
МАНДЕЛЬШТАМ*

Никто так не знал и не понимал Осипа Мандельштама, как его жена-друг Надежда Яковлевна. Иногда даже создается впечатление: к тому, что она сказала о нем уже ничего добавить нельзя. Но это не так: Мандельштама, как и каждого большого поэта, любят и будут любить по разному, и эта любовь еще не раз иначе, по новому осветит его образ и его поэзию.

«Сила Мандельштама», пишет Н. Я., «в том, что он свободно принимает свой жребий, и полон благодарности за всё, дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь — вот сокровища, которыми он располагает» (II, 147). Я сказал бы: в этом смысле он антипод неблагодарному Лермонтову: и его поэзией он кажется никогда не восхищался. Благодарность Мандельштама дружественная. Был он «всех живущих прижизненный друг». И благодарность эта радостная. Даже в воронежской ссылке, вспоминает Н. Я., «чувство беды не могло пересилить (его) вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимого веселья запертого в клетку стихотворца» (I, 207).

Радостно и христианство Мандельштама. В незаконченной ранней статье о Пушкине и Скрябине он утверждает: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть *отпущение мира на свободу* для игры, для духовного веселия, для свободного ‘подражания Христу’». Знал он «радостное Богообщение» и, может быть, именно поэтому, легко радовался, хотя иногда унывал и даже пытался покончить с собой в чердынской ссылке. Н. Я. несколько раз вспоминает эти его стихи:

* Надежда Мандельштам. *Воспоминания*. Т. I (1970), т. II (1972).

И Евхаристия как вечный полдень длится,
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

По-моему, такого радостного псалма, уже не Давидова, а новозаветного, вольного, не было во всей русской поэзии, да и в других поэзиях: разве что в гимнах старых английских «метафизиков», у Джорджа Хёрберта или Ричарда Крашо.

Н. Я. говорит о смирении Мандельштама, о его сознании своей греховности. Он говорил о себе: «По-моему, я хуже всех» (II, 270). Но и не был он «овечкой». Или же был он «ягненок гневный», увиденный им на холсте Рафаэля.

Н. Я. утверждает: «чувство греховности — основное богатство человека. Грех всегда конкретен, а покаяние обретает неповторимые и мощные слова, свой точный язык». Всё же очевидно, что покаянных стихов у Мандельштама нет или же их очень мало. Но было смирение: и именно поэтому он не выдавал себя за жреца или пророка, и этим он отличался от символистов — тургов, вещавших о Софии, или бардов, воспевавших Прекрасную Даму.

Смирение не исключало негодования «агнца гневного»: и Мандельштам не мог не написать ту роковую для него эпиграмму о жирных пальцах Сталина. По-моему, стихи эти — не на мандельштамовском уровне, но есть величие в его поэтически неверной ноте. Ведь нота эта была голосом совести, заглушенной в перепуганной советской литературе 30-х г.г.

Есть ли идеализация Мандельштама в воспоминаниях Н. Я...? Может быть и есть... Из ее поля зрения как-то выпал довоенный Мандельштам, нечуждый дэндизма. Правда Н. Я. познакомилась с ним только в конце 10-х г.г., но по его стихам мы знаем, что он восхищался уланами в Царском Селе или правоведом, который... садится в сани / широким жестом запахнув шинель. Восхищало его и величие Империи: А над Невой посольства полумира, / Адмиралтейство, солнце, тишина! Но и гораздо позднее (в 1931 г.) Мандельштам провозгласил здравицу за старый мир, в котором ему так беззаботно жилось: Я пью за военные астры, за всё чем корили меня... За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин... Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно, / Веселое

асти-спуманте иль папского замка вино: Эти вина «перекликаются» с «шабли во льду» Кузмина. Мандельштам «смолоду был молод» — в блаженном тринадцатом году, ожившем в *Поэме без героя* Ахматовой. Здесь он близок и Гумилеву и молодому Георгию Иванову. В великолоджевом Петербурге и в Царском Селе акмеисты встречались с Пушкиным — «певцом Империи и свободы», с Пушкиным лицеистом-шалуном и юным дэнди. Может быть и «неистребимая радость» затравленного Мандельштама 30-х г.г. иногда «питалась» его воспоминаниями о счастливой юности в Санкт-Петербурге. Дэндизм — молодцу не укор! Вспомним, что и Св. Франциск Ассизский до своего обращения был чем-то вроде дэнди тринадцатого века. Но Н. Я. этот старый мир последних, уже обреченных, но когда-то счастливых дэнди и дам не любит и высмеивает прелестную Путаницу-Психею, сестру-музу Ахматовой — Олечку Судейкину, ее героиню Тринадцатого года.

Всё же Осип Эмильевич Н. Я. не иконный, а живой, и иногда легкомысленный, в особенности в 20-х г.г., когда он увлекался другими женщинами или (что для Н. Я. непростительнее) иногда поддавался «пропаганде на высшем уровне»: «это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий» (II, 255). Но к 1930 г. все эти иллюзии уже рассеялись: и не только потому, что партия зажала рот литературе, а, прежде всего «благодаря» насилиственной коллективизации. Мандельштамы видели голодных раскулаченных крестьян, ютящихся в землянках: и это уже никак нельзя было оправдать «размахом строительства». О. Э. и Н. Я. тоже нищенствовали, но хлеба им хватало, и они оба знали, что жили еще сравнительно «сносно». Именно тогда, в годы казней, доносов и общенародной беды, Мандельштам написал свое «Не могу молчать!» — Сталину. Это был его героический «диссонанс» при свете совести (как сказала бы Марина Цветаева).

Вся жестокая бессмысленность террора очевидна хотя бы в этом эпизоде: в начале 30-х г.г., вспоминает Н. Я., старый крестьянин Митрофан не мог найти работу из-за того, что его имя ассоциировалось с воронежским собором Св. Митрофания. После долгих мытарств он повесился. Все колхозники страдали: на их глазах умирали дети, но именно этот «случай» особенно врезается в память. Даже Кафке такие «гротески»

не снились... Или рассказ Н. Я. о самоубийстве женщины, которая больше 30 лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась с ним проститься. Ей было всего 11 лет в тот момент. А позднее она сама хлебнула горя за колючей проволокой (II, 5). Всё это не менее страшно, чем расстреля.

Воспоминания Н. Я. — книга великой любви к мужу, к немногим друзьям, но и книга великого гнева. Это потрясающая исповедь горячего сердца. За суровые отзывы ее уже не раз укоряли, забывая может-быть о том, что всепрощения нельзя требовать даже от святых.

Н. Я. не прощает не за себя, а за умученного Мандельштама, брошенного в яму с биркой на ноге, за все неслыханные страдания и унижения, и за тех, кто пострадал больше всех, за раскулаченных крестьян. Жаль ей и интеллигенцию, но пишет Н. Я., что кое в чем она была и виновата в 20-х г.г.: многие интеллигенты соблазнились «величием» советского строительства.

Н. Я. укоряет себя за то, что не бросилась зверем на чекистов, которые навсегда уводили Мандельштама 1-го мая 1938 г. из санатория, оказавшегося для него западней. Их могли бы тут же пристрелить, но они ведь знали, что гибель неизбежна. Не лучше ли сразу погибнуть? Если бы все лезли на рожон, Сталину уже некого было бы уничтожать. Это неистовство Н. Я. — праведное. Для нее ведь Мандельштам всегда вчера умер. Другого такого «хватающего за живое» свидетельства о сталинщине я не нахожу даже в произведениях Солженицына и Шаламова. Но пишет она не только о своей беде, о непрощаемых страданиях, но и о своем счастье с Мандельштамом, о своей любви, которая поистине сильнее смерти.

Всё же, отмечу: некоторые филиппки Н. Я. несправедливы: так, она не увидела в Георгии Иванове большого поэта. Или до нее не дошли лучшие его стихи, написанные уже в эмиграции? И, несомненно, Мандельштам с ним в ранней молодости дружил. Отмечу также: по многим другим воспоминаниям (напр., Андрея Белого) Вячеслав Иванов благоволил к акмеизму, «зародившемуся» в его башне. Но верно и то, что ни Вячеслав Иванов, ни Блок, ни Белый, ни даже друзья-акмеисты понятия не имели о гении Мандельштама (еще в эпоху *Камня*). Слепота эта, по-моему, не оправдана, но все же

объяснила: поэзия Мандельштама была не в «ключе» символистов... Напомним: так и Пушкину не раскрылся Тютчев, а Гёте — Хёльдерлин. Символисты жили обманчивыми «чаяниями» о новом обновлении мира в хоровой культуре или в царстве восторжествовавшей Софии. От поэтов они ждали теургии, мистики. Для них и Инокентий Анненский был каким-то духовным недорослем! Символисты всматривались в горизонтали будущего и не понимали, что истинное христианское Богообщение совершается по вертикали ввысь, из настоящего, из любой точки бытия, из быта, в котором они видели одно мещанство. А Мандельштам мещан не осуждал, хотя, конечно, и не был мещанином. Символисты изменяли земному во имя небесного или — ради Третьего Завета, не понимая, что не кончился Второй Завет, и что еще долго придется нам страдать, но и радоваться, славить, строить...

Как это ни может показаться странным, насаждаемая террором большевицкая утопия подорвала веру и в религиозные утопии. «Наша жизнь», пишет Н. Я., «не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин». Между тем, иное, высшее, небесное открывалось Мандельштаму, но в земном, и здесь Н. Я. напоминает об этих его стихах (1937 г.):

Я скажу это начерно — шёпотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.
И под каменным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и пожизненный дом.

Лучшие стихи Мандельштама только об этом и говорят: о небесном в земном, о земле-небохранилище, и о той повседневности, которая для Вячеслава Иванова или Бердяева не совпадала с красотой. Мандельштам был *небесен* и тогда, когда о небесах не говорил. Небесно поют у него в Крыму «золотых десятин благородные, ржавые грядки», а в Петербурге «шоколадные, кирпичные, невысокие дома» или же любимая им домашняя утварь, будь то кувшины или утюг. Здесь Мандельштам сродни Пушкину, который не осознавал себя христианским поэтом, но у которого (в *Евгении Онегине*) больше

духовного веселия, больше благодарности и благодати, чем во всех Дионисах и Софиях символистов. Другими и очень убедительными словами Н. Я. говорит о том же, в особенности в томе 1-м (в главе *Земля и земное*).

Символисты, вещая о новой культуре, почти полностью отрицали уже существующую культуру (правда, не Вячеслав Иванов, в особенности в последний — римский период своей жизни). Отрицателем всей наличной культуры был и Бердяев (но не в *Философии неравенства* и в некоторых других своих книгах). В своей *Русской идее* Бердяев делал ставку на одних русских апокалиптиков и нигилистов... Наш мир возбуждал в нем почти манихейскую брезгливость и он утверждал, что всё высшее, духовное раскрывается только в творческих замыслах, а не в воплощениях, не в культуре. Между тем, Мандельштаму жизненно нужно было наше, пусть и несовершенное трехмерное пространство, и нужны были старые камни, чтобы строить. Строить можно только в трехмерности. Этот мир не враждебен художнику-строителю, исполняющему свой долг перед Хозяином. «Строительный материал», пишет Н. Я., — это «тяжесть недоблажа», из которой Мандельштам, еще в *Камне*, хотел создать прекрасное. Камень «как бы возжаждал иного бытия» и просится «в крестовый свод», чтобы участвовать в радостном взаимодействии себе подобных (1, 282). Все эти комментарии Н. Я. — очень ценные, проясняющие самые заветные мысли Мандельштама.

Я сказал бы так: культура, прежде всего, школа мысли и воспитания всего человека — медленное земное строительство. Но без Бога оно неполноценно, ущербно (как в нашей секуляризованной культуре, которую обличает Н. Я.). Это строительство должно быть под Богом и с Богом, Который, мы уповаляем, — позволит нам продолжать наше земное дело и в вечности, а земля, как мы все это хорошо знаем (и верующие, и неверующие), кончится, уничтожится. Поэтому бессмысленны все утопии. А вечность иногда приоткрывается нам и здесь, даже в быту. Эти мысли о культуре-школе, ориентированной и на земное, и на небесное, лучше всего раскрыты в очерках Г. П. Федотова, а также и у В. В. Вейдле, но их книги, к сожалению, не дошли до Н. Я.

Искусство больше, чем школа, но меньше, чем религия.
Искусство — игра, воодушевляющая и в культуре, и в религии.

В русской поэзии самыми богоодухновенными поэтами были Пушкин, не осознавший себя христианином, и Мандельштам, осознавший свое христианское призвание поэта, и Н. Я. везде свидетельствует о его обращении. Всего этого не понимали поэты-современники Мандельштама, даже акмеисты. Гумилев слишком рано умер — и до революции, до своего *Заблудившегося трамвая* преимущественно заботился о мастерстве и учил поэтов писать стихи, и хорошо учил: кое в чем ему обязан и Мандельштам. Ахматова же полностью оценила Мандельштама только в 30-х г.г. А для многих из нас Мандельштам новый христианский псалмопевец Давид. Нам он принес:

Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Эти его стихи, обращенные к Батюшкову, мы относим к нему.

Мандельштаму мерещилась новая *Божественная комедия*: его фрагментарный, трудно постигаемый *Разговор о Данте* был, несомненно, черновиком большой, всю нашу эпоху охватывающей, поэмы. О новой *Комедии* мечтал и Т. С. Элиот... но был он слишком осторожен, как верно заметила Н. Я., был преимущественно хранителем христианской традиции и духовно не рисковал. Не хватало ему неистовства Данта, его самоотдачи стихиям и высшего разума, управляющего взрывчатыми стихиями. А у Мандельштама всё это было, но большевики уничтожили его накануне новых откровений в поэзии.

Стихи Мандельштама, вспоминает Н. Я., возникали из *погудки* (звукания неоформленной фразы). Тогда он затихал — «губами шевеля» (и сам он об этом писал). Поэта Мандельштам называл «колебателем смыслов», но это, пишет, Н. Я., не был «бунт против устоев и преемственности», а отказ от омертвевших речевых шаблонов (I, 285). Колебля смыслы, он оставался «смысловиком». Мандельштам прославлял в поэзии «блаженное бессмысленное слово» или «язык бессмысленный, солёно-сладкий». Вместе с тем, слово остается для него «смыслоносителем», включающим информацию, но и надеяется еще другим, иррациональным (я сказал бы — *райским*) смыслом. О том же недавно писал В. В. Вейдле в статьях, помещенных в *Новом Журнале*.

Н. Я. очень убедительно критикует т.н. литературоведов-

формалистов (Ю. Н. Тынянова, Р. О. Якобсона и др.), и здесь она часто совпадает с В. В. Вейдле. Формалисты, изучая литературные приемы, видели в поэзии не личность поэта, а только маски лирического героя (II, 49). Это — дегуманизация, которая подтасчивает современное искусство и, в особенности, всякое «введение» о нем. Разумеется, никак не следует отказываться от того, что Гумилев называл «анатомией стиха», но литературоведы не должны забывать и о том, что искусство, стиль — это, прежде всего, человек, а не только художественные приемы, техника. Именно поэтому нельзя отказываться и от пренебрегаемых формалистами оценочных суждений. Здесь опять соглашаешься с Н. Я.: «В наш век», пишет она, «всё стало настолько серьезно, что каждое безоценочное суждение режет, как ножом по стеклу (...). Если не найти твердые критерии, нельзя ничего судить» (II, 561). Критерии эти, христианские, гуманистические у Мандельштама были, и он вправе был называть себя последним христианско-эллинским поэтом в России (I, 268). Правда, были и другие поэты этой породы и в СССР и в эмиграции.

Умеет Н. Я. отчетливо размышлять, и иногда даже лучше, ясне, чем Мандельштам в своих статьях. Умеет она и живо рассказывать напр., о встречах с Андреем Белым или Борисом Пастернаком. Хлебникова Мандельштам очень ценил, но «удивлялся интеллектуальной нишете футуризма» (II, 341). К крайнему новаторству, к бездушному экспериментализму относился холодно. О Малларме он как-то сказал: «просто шутник» (I, 258).

Живет-дышишт в воспоминаниях Н. Я. Анна Ахматова: боярыня, плакальщица, постница, молельщица, но и ревнивица. Умела она превозносить друзей, но и проклинять недругов (II, 498). Н. Я. говорит о некоторых «слабостях» Ахматовой: очень уж ей хотелось, чтобы все были в нее влюблены. Но за эти будто бы «слабости» ее больше любишь и лучше понимаешь. Был у меня неистовый муж, вспоминает Н. Я., и неистовая подруга. Были они иногда деспотические, ускользающие, но всегда любимые, живые.

Марина Цветаева не пустила Н. Я. дальше темной передней. Что и говорить: это настоящее оскорбление, но обида не помешала Н. Я. понять Марину Ивановну. Она говорит: «Я поражаюсь неистовой силе и самоотдаче Цветаевой. Такие

женщины — чудо. Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли» (II, 521). Правда, есть здесь чрезмерная резкость. По крайней мере, Цветаева не только пировала, но умела любить больше себя, умела жертвовать. Но свойственная Н. Я. резкость, если и слабость, то из тех, за которые можно любить: и она ведь неистовая, как Ахматова, Цветаева, как Мандельштам! Вместе с тем, Н. Я. признает, что «Цветаева, подарив ему свою дружбу, и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России...» (II, 522). А у Мандельштама кроме неистовства, была настоящая благодать богоизбранного поэта. Нет в его поэзии тех скрипучих нот, которые иногда слышатся у Ахматовой, у Цветаевой и, в особенности, у Пастернака.

— Ни у кого не было такого чистого голоса волшебной виолончели, говорил мне Г. В. Адамович, — и другого такого замечательного, хотя и не всегда понятного собеседника я в жизни не встречал... Можно только пожалеть о том, что вопреки всем моим мольбам, своего настоящего слова Адамович о Мандельштаме так и не сказал: вероятно, *мешал* ему Блок, который так и остался его любимейшим поэтом... а Мандельштам, как верно отметила Н. Я., был поэт анти-блоковской породы (II, 277).

В 1-м томе *Воспоминаний* Н. Я. писала: «Россия некогда спасла европейскую христианскую культуру от татар, сейчас она спасала ее от рационализма, и его следствия — воли к злу. И это стоило больших жертв. Могу ли я поверить, что они были бесплодны» (I, 349). Её радует, что студенты, ищащие добра и правды, «неизбежно» увлекаются поэзией. «Это действительно так, и это — Россия(...). Зарождение интеллигентии сопровождается сейчас небывалой тягой к стихам. Это золотой фонд наших ценностей. Стихи пробуждают жизнь и будят совесть и мысль» (I, 353). Во II-м томе больше пессимизма: «Теперь стало ясно, что гибель человечества осуществляется, как дело рук человеческих, т.е. будет самоубийством, а не предуготовленным концом» (II, 132). Этот пессимизм относится и к России, и к Западу. Едко и метко отзывается Н. Я. о западных бородатых мальчиках с длинными волосами. Им

она говорит: «Хоть на десять лет вас бы в Китай или в нашу героическую эпоху» (II, 604).

Размышляя о причинах русской революции, Н. Я. считает самым опасным из напророченных Достоевским бесов — Кириллова с его своею волей. Так ли это? Октябрь да и Февраль делали Петры Верховенские, Шигалевы, а не Кириллов, атеист-бунтарь, любивший Христа и людей, хотя так и оставшийся необращенным Савлом. Кириллов потенциально-богоугоден, и он — человечен, что хорошо понимал Альбер Камю. Это шигалевцы убивали в себе и в других Бога и человека. Это они создали новое рабовладельческое государство — единственное государство, которое «справилось с рабочим движением». Именно эти слова Н. Я. сказала Пастернаку, но он с ней не согласился — «вздрогнул, как мне показалось, с отвращением» (II, 180).

Мандельштам очень ценил «мужа совести» о. Павла Флоренского и читал его монументальный труд *Столп и утверждение истины*. Розанов укорял отца Павла за уклончивость, а Бердяев удивлялся: в христианстве Флоренского есть Богородица, есть София, но почти нет Христа. Всё же, несомненно, был он человек духа, праведник и для многих учитель. Недавно была издана в Париже книга, ему посвященная. Автор: Ф. И. Уделов, это, вероятно, псевдоним советского богослова. Игумен Геннадий недавно установил тождество одной молитвы, включенной в эту книгу, с молитвой Н. Я. в её *Воспоминаниях* (Русск. Мысль, 7 окт. 72 г.). Неясно: написана ли эта молитва самим Флоренским или же его учениками? Но существенно, что Н. Я. молится её словами (в скобках даны те слова, которые вставляют молящиеся, в данном случае Н. Я.): «Господи, Боже мой, Иисусе Христе, Ты пречистыми своими устами сказал: когда двое на земле согласятся просить о всяком деле, — дано будет им Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Непреложны Твои слова, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Молим Тя, Боже, даруй нам (Осипу и Надежде), согласившимся просить Тя (о Встрече). Но обаче не так, как мы хотим, а как Ты, Господи. Да будет во всем Твоя воля. Аминь». Это теперь моя молитва, поэтому и сейчас я не одна, а вдвоем с Мандельштамом. Он написал мне правду: «Любимого никто не отнимет» (II, 485).

Эта молитва — ключ к пониманию Н. Я.: её святая святых. Здесь её истинное, хотя внецерковное, христианство: и это также христианство Мандельштама. А ветхозаветного Бога с его тоталитарной властью они оба побаивались (I, 238). Еще Н. Я. пишет: «До самой смерти человек не теряет надежды, хотя и знает все её обманы. Есть и другая надежда. Она не обманет. Она никак не связана с эсхатологической тревогой и с ней несоизмерима: и она вне времени и пространства» (II, 555). Эта эсхатологическая тревога стала модной на Западе, и В. Х. Одэн писал о нашей «эпохе тревоги». А Н. Я. говорит о другом: об истинной вере и любви, изгоняющей страх, и уж, конечно, вне всякой связи с модными веяниями!

В конце книги эти простые слова из неотправленного письма Н. Я. 22 окт. 38 г.: «Ты всегда со мной, и я — дикая, злая, которая не умеет плакать, — я плачу, я плачу, я плачу. Это я — Надя. Где ты? Прощай. Надя».

Кровью и желчью написана эта исповедь горячего сердца, эта книга великого гнева и великой любви, которая сильнее смерти.

Мы же благодарим Н. Я. за то, что она сохранила, донесла до нас драгоценное наследие Мандельштама — многие статьи, как ранние, так и поздние, и все его стихи 30-х г.г., которые в России не были опубликованы. Боясь обысков у себя, у друзей, которым она отдавала списки рукописей, она выучивала наизусть даже прозу, и повторяла заученное на улице, на работе, в институте или на фабрике. Без неё мы не знали бы и половины писаний Мандельштама. Чего только не пришлось ей вынести: так, называли ее вдовой какого-то проходимца или «в лучшем случае», — поэта несозвучного эпохе! Есть у Н. Я. то, что во время сталинщины было у немногих: стойкость во всех испытаниях.

Очень значительны комментарии Н. Я. к Мандельштаму, и хотелось бы, чтобы она продолжала эту работу. Если можно было бы перенести Н. Я. в какое-то сказочное царство-государство, где она могла бы написать *толковую книгу* ко всем трем изданным томам сочинений Мандельштама.

Юрий Иваск



Я знаю смех твой, слезы тоже
И, право, мне милей они
Хоть ты тогда не так пригожа
И ранней осени сродни.

Они нежданны, непривычны
И потому так хороши,
Что в них беспомощность, обычно
Насторожившейся, души.

Ничем не скрыта, не хранима
Она встает передо мной
Тем благодарнее любимой
И тем отчетливей родной.



Из двенадцати роз букета
Почему-то не расцвела
И завяла одна, вот эта,
А такой же как все была!

Знаешь, надо ее оставить,
Чтоб еще над ней потужить,
Чтоб напомнила, что нельзя ведь
Так, как хочешь, цвести и жить.

Может где еще незаметней
Смерть к кому-нибудь подошла?
Может где семнадцатилетней
Нынче девушка умерла?

Дм. Кленовский

ИОГАНН СЕБАСТИАН БАХ И ФОРТЕПИАНО

Все клавирные произведения Баха (термин **клавир** являлся собирательным названием всех клавишных инструментов) могут исполняться, и исполнялись в его время, и на клавесине, и на клавикорде, и на органе. Когда современный пианист стоит перед многими спорными проблемами исполнения музыки Баха одним из первых вопросов, который он должен решить, является вопрос выбора инструмента. В добавление к инструментам баховского времени мы имеем теперь и еще один, наименее распространенный — фортепиано.

В период, предшествовавший пробуждению интереса к *werktrichter* интерпретации, что обсуждалось в I-ой главе настоящей работы (см. «Новый Журнал», № 109), пианисты исполняли музыку Баха на рояле и вопрос о возможности (даже необходимости, как теперь думают некоторые) использования иного инструмента, а именно того, для которого Бах сочинял и на котором исполнял свою музыку, даже и не ставился. Теперь положение значительно изменилось и пианист, исполняющий музыку Баха на рояле, рискует встретиться с резким осуждением пуритански настроенного критика.

Большинство исполнителей и многие музыковеды сходятся в мнении, что музыка Баха, так сказать, «над-инструментальная», в особенности произведения позднего периода его жизни. Его последнее произведение — «Искусство фуги» — представляет собой крайний пример абстрактности в смысле инструмента. Это произведение, «будучи чисто теоретическим» (Альберт Швейцер — «И. С. Бах»), «было предназначено служить образовательным целям» (Филипп Спитта — «Иоганн Себастиан Бах»). Примечательно, что оно так написано, что неясно, следует ли исполнять его на каком-либо из клавишных инструментов или камерным ансамблем разных инструментов, включая струнные и духовые.

Канадский пианист Глен Гульд определяет музыку Баха как музыку «инструментально совершенно безразличную»,

что означает, что не имеет значения на каком инструменте ее исполнять. Курт Закс писал («История искусств: вопросы стиля»), что восприятие большинства из сорока восьми Прелюдий и Фуг Баха не зависит от их «внешнего звукового об раза».

С этим трудно не согласиться, особенно если мы сравним музыку Баха с музыкой французских клавесинистов (Франсуа Куперена, Жана Филиппа Рамо и других) и композиторов последующих эпох, в особенности девятнадцатого века. Их инструментальная экспозиция была обусловлена специфичностью музыкальной идеи и сообразовалась со звучностью и техническими особенностями инструментов, для которых они творили.

Музыкальная ценность произведений Баха имеет универсальное значение и стоит выше соображений звучности какого-либо инструмента. Эта звучность — внешнее качество и является чем-то второстепенным. Требование, чтобы музыка Баха исполнялась только на инструментах 17-го и 18-го столетий показывает узкий педантизм и снижает большое произведение искусства неумирающего гения «до музыки, имеющей только временное значение» (Розалин Турек — «Краткое руководство к исполнению Баха»).

«Каждый клавишный инструмент выявляет свой собственный духовный мир и, трансформируя музыкальное произведение, раскрывает в нем различные стороны. И это не недостаток, а положительное качество, предоставляемое исполнителю богатые творческие возможности. Догматическое ‘или — или’ будет противоречить баховскому духу и означать обеднение и умирание» (В. Эман — «Клавирная музыка и клавишные инструменты баховского времени»).

Бах знал свойства и прекрасно понимал недостатки инструментов своего времени. Однако, как это часто случается с композиторами-творцами, богатство его идей ставило перед инструментом невыполнимые требования. Он видел в клавесине род универсального инструмента и часто писал для него музыку, которая должна была бы звучать как поющий человеческий голос, как орган, как целый оркестр с солистами (Итальянский Концерт); музыку, в которой отдельные голоса должны были быть ясно различимы слухом, несмотря на сложную полифоническую структуру. «Мы постоянно замечаем,

что Бах не считается с техническими ограничениями инструментов его времени» (Пабло Казальс).

В свои молодые годы Бах был занят идеями улучшения качества клавесина, сам кое-что изобретал, экспериментировал и побуждал других к поискам в этом направлении. Фортепиано в то время было еще очень несовершенно. Первый кто работал в Германии над его усовершенствованием, Готфрид Зильберман, показывал Баху в 1726 году (по другим данным — в 1736 г.) один из своих первых инструментов. Хотя Бах похвалил качество тона, но в целом он не был удовлетворен как работой механизма нового инструмента, так и слабыми звуками его верхнего регистра, и не считал, что новое фортепиано может конкурировать с клавесином и клавикордом. После этого Зильберман усиленно работал, стараясь преодолеть недостатки инструмента, отмеченные Бахом, и позже он снова имел возможность показать Баху свое улучшенное «пиано и форте». На этот раз Бах, как пишет его ученик, Фридрих Агрикола, выразил свое «полное одобрение». Но это представляется крайне сомнительным: вряд ли старый и больной музыкант, всю жизнь творивший для инструментов периода барокко с их специфической звучностью, мог воспринять и оценить эффект совершенно новых возможностей постепенного перехода от одной силы звука к другой. (Поль Ланг — «Клавесин или пиано-форте»). Но и кроме того есть еще одно основание для нашего сомнения: эта вторая встреча с новым фортепиано произошла при дворе прусского короля Фридриха Второго, который незадолго до того приобрел несколько инструментов Зильбермана и был ими очень доволен. Возможно, Бах не решился высказать мнение, противоположное мнению короля...

Роберт Донингтон категорически заявляет, что исполнение Баха на фортепиано является «отступлением от оригинала. Музыка, созданная для ровного, блестяще яркого звучания клавесина принимает совершенно иной облик, когда исполняется на инструменте с массивной звучностью».

Вряд ли это можно оспаривать. Но мы не должны забывать, что даже во времена Баха клавесины очень отличались один от другого по своей звучности и динамическим возможностям: некоторые имели одну, некоторые две клавиатуры — одна «форте», другая «пиано», имели различные регистры (что давало возможность изменять тембр звука при помо-зи

специальных штифтов, вытягиваемых рукой), некоторые были снабжены педальной клавиатурой наподобие органа. Наши современные, недавно построенные клавесины и клавикорды имеют звучность отличную от звучности подобных инструментов эпохи барокко, как бы тщательно их строители ни старались копировать свои модели.

Ут следует упомянуть один малоизвестный, особенно среди не-музыкантов, факт. Дело в том, что почти все музыкальные инструменты претерпели значительные изменения в течение последних двухсот лет. Исключение из этого представляют только три инструмента, а именно: литавры, треугольник и тромбон. Все другие инструменты, духовые и струнные, включая и скрипку, звучат теперь значительно иначе нежели звучали во времена Баха. В дополнение к этому надо отметить, что и человеческий голос звучал тогда тоже иначе чем теперь. Совершенно иная эстетическая установка требовала и иной тренировки голоса. Тембр голоса певца периода барокко имел носовой и несколько пронзительный характер, соответственно вкусу того времени. Добавим к этому еще и совершенно специфическую окраску звука голоса певцов-кастратов, которые тогда были в большой моде. Теперь мы слышим совершенно отличную манеру петь и совершенно другой тембр голоса. Певческая техника времен барокко утрачена: кто может теперь исполнять такую трель, которая являлась скорее не трелью, а как бы очень быстрым повторением одного и того же звука, чем то вроде вибрации одной струны, или невероятно трудные каденции, исполнявшиеся большими певцами тех времен?

Специфическое звучание клавирной музыки, которое Бах слышал сам, конечно, может быть удачнее реализовано на клавесине или клавикорде нежели на фортепиано. Но фортепиано, будучи гораздо богаче выразительными средствами, способно передать более полно и удовлетворительно содержание, дух баховской музыки.

«...ухо может приспособиться к звуку фортепиано..., но поскольку фортепиано обладает выразительной силой, какой нет у клавесина, я всегда выберу фортепиано... так как, по моему мнению, возможности выразительности являются гораздо более важными чем тембр» (Пабло Казальс).

Может возникнуть возражение: средства выразительности в эпоху барокко и нашего времени различны.

Франсуа Куперен (1668—1733), крупнейший французский композитор, первоклассный клавесинист, писал в предисловии к сборнику своих пьес для клавесина: «Я был бы на века благодарен тому, кто, будучи тонким художником и обладая хорошим вкусом, сумел бы сделать этот инструмент (клавесин, Г. К.) способным к выражению чувства. На нем невозможно воспроизводить постепенное усиление или ослабление звучности и в настоящее время, видимо, нет надежды, что в него можно было бы вдохнуть душу*».

Очевидно понятие выразительности не так уж изменилось за более чем двести лет, несмотря на то, что при каждом значительном стилистическом сдвиге представителями нового искусства до известной степени утрачивается восприимчивость к выразительным средствам старого. Все это, конечно, очень не просто, и заброшенные средства выразительности могут частично зажить новой жизнью, но в чрезвычайно сложном контексте смешивающихся влияний и музыкального опыта.

Наконец, еще одно обстоятельство, очень важное, но обычно не принимаемое во внимание: это так называемая мэзотоническая система настройки инструмента. Современная равномерная темперация (настройка) рояля и других клавишных инструментов основана на принципе компромисса: некоторой неточности. Октава разделена на двенадцать полутонов, которые между собой не совсем равны, т. е. некоторые — немного больше полутона, некоторые — немного меньше. Это было необходимо сделать, чтобы ввести в музыку, как она складывалась в ее западно-европейском развитии, известный порядок и получить возможность использовать большее число различных тональностей — 12 мажорных и столько же минорных. В мэзотонической системе соотношение между звуками несколько иное. Некоторые сочетания звучат даже приятнее, чем на «Хорошо настроенном клавире» (наименование, данное

* Отметим, что во Франции культивировался клавесин, а клавикорд не был в употреблении, в то время как в Германии знали оба инструмента, но, очевидно, предпочитали клавикорд. Хотя слабая звучность ограничивала возможности его использования только в небольших помещениях, но он мог передавать тонкие динамические оттенки.

Бахом своему собранию сорока восьми прелюдий и фуг), в то время как многие сочетания, вовсе не диссонантные на современном инструменте, звучат несколько фальшиво, и чем отдаленее тональность, т. е. чем в ней больше знаков альтерации — диэзов или bemolей, тем более неприятно фальшиво. Во времена барокко звучание многих таких неприятных сочетаний смягчалось с помощью мелизмов (быстрых мелодических фигурок, украшающих основную мелодическую линию) и, конечно, избегались отдаленные тональности. Все это создавало совершенно особую звучность и, как предполагается, использовалось в старой музыке как специальный выразительный эффект. Но этот эффект, хороши он или плохи для нашего уха, был вызван, возможно, только необходимостью и теперь для нас утерян. Равномерная темперация еще не была определенно и окончательно установлена во времена Баха и мэзотоническая система иногда использовалась почти до конца 18-го столетия.

Вследствие всех этих соображений — совершенно ясно, что восстановить ту звучность, какую желали и слышали композиторы периода барокко — намерение абсолютно неосуществимое.

Перед тем, как исполнять музыку Баха на рояле, пианист должен ознакомиться с механизмом, возможностями и недостатками старинных инструментов, знать основные принципы техники игры на них.

«Хотя это и звучит парадоксально, но музыку Баха будет исполнять лучше тот, кто особенно интенсивно-творчески исходит от духа инструмента того времени» (Иорг Демус — «Бах и клавир»). Это очень тонкое замечание может показаться несколько неясным и странным, если мы не поразмыслим о нем более углубленно.

Хотя Бах отметил прямо или косвенно только в немногих своих клавирных произведениях, что он имеет в виду исполнение на клавесине (клавикорд никогда не был отмечен), его намерения могут быть угаданы, и не столько по «эстетическим соображениям», сколько по соображениям удобоисполнимости этих произведений на клавесине. Дело в том, что Бах имел клавесины с ручной регистрацией, когда соответствующие штифты (см. выше) нужно было вытягивать рукой. Таким образом,

при перемене звука исполнитель был вынужден делать остановку, для чего композитор и вписывал длительную паузу или фермату. Произведения с такими перерывами, очевидно, исполнялись преимущественно на клавесине. (Эрвин Бодки — «Интерпретация клавирных произведений Баха». 1960).

Не пытаясь имитировать старинные инструменты, что было бы так или иначе безнадежным предприятием, пианисту следует решить, на каком из инструментов баховского времени данное произведение звучало бы лучше. Пьеса оживленного характера, с четким рисунком, богатая мелизмами, очевидно, подходит больше к клавесину и исполнялась преимущественно на нем. В то время как пьеса плавного движения, прозрачной фактуры, с тонко разработанной мелодической линией будет звучать лучше на клавикорде. Можно представить себе, что некоторые произведения лучше всего звучали бы на органе. (Так думал Бузони и интерпретировал Баха «органно», используя богатейшую тембровую регистрацию, несколько утяжеляя звучность октавными удвоениями в басах).

Эти соображения будут отражаться, главным образом, на артикуляции (туше) и динамике и могут открыть чрезвычайно интересные возможности для тонкого исполнителя.

Таким образом, «творчески исходя из духа (воображаемого, Г. К.) инструмента» в работе над произведениями Баха и их исполнении, пианист одаренный богатым воображением, сделает много интересных находок и значительно обогатит свое исполнение: точная и очень четкая артикуляция, внезапная смена динамики подходят к произведениям «клавесинной» группы; постепенные, очень тонкие динамические изменения, как и в целом более тихое звучание будут на месте в пьесах «клавикордной» группы. Типичная органная звучность с динамически очень ровной линией и опять-таки внезапными динамическими сдвигами может в представлении слушателя успешно вызвать звучность органа.

Хотя использование специфических качеств фортепиано не должно быть совершенно исключено, с другой стороны несдержанное употребление чисто пианистических эффектов, как бы очаровательно они ни звучали, было бы неуместным в исполнении музыки барокко.

Эрвин Бодки находил допустимым исполнение Баха на

фортепиано, но считал такую транскрипцию «в высшей степени болезненной операцией». Однако, как это ни странно, он рекомендовал не только октавные удвоения, но даже выскакывался за переложение клавирных произведений Баха для рояля в четыре руки и для двух роялей, таким образом пытаясь имитировать регистровки клавесина. При этом он ссыпался на Бузони. Но Бузони удваивал октавы преимущественно в басах, имея ввиду приблизить звучание фортепиано к звучанию органа и делал это несколько десятилетий тому назад. Подобные идеи звучали по меньшей мере странно в шестидесятых годах двадцатого столетия. Удвоение звуков на клавесине достигается механическим путем и ощущение октав исчезает немедленно благодаря блестящему и глубокому тону инструмента, но на фортепиано октавы постоянно воспринимаются как октавы. Такое удвоение делает неясной полифоническую фактуру, искажает артикуляцию и может также исказить и фразировку.

Что касается педалей, то левая педаль может быть богато и успешно использована в исполнении баухской музыки. Ее назначение — изменение тембра — вполне совместимо со стилем этой музыки. Правая педаль, если ею пользоваться очень осторожно, может служить этой же цели. Хотя пианист никогда не должен терять из вида, что для стиля барокко рисунок, линия и структура были более важными элементами нежели тембр. Правая педаль может употребляться преимущественно как так называемая полифоническая педаль, т. е. помогающая связать звуки, которые в сложной полифонической ткани не могут быть связаны с помощью только пальцев. Но никогда в мелодической линии последовательные звуки не должны наслаждаться один на другой, даже и тогда, когда такое наслаждение не производит диссонанса: педализация **гармонически** совершенно чистая, будет не к месту в полифонической музыке. Тончайшее слушание себя должно предупредить всякую возможность малейшего «загрязнения». Педализация, которая будет «затуманивать» необходимую ясность полифонической линии, должна быть абсолютно исключена.

Георгий Кочевицкий

Душа, душа, ты ванька-встанька,
А мне — куда уж, не восстать?
Огни земного полустанка —
Без продолженья, так сказать?

Иван Ильич у Льва Толстого
Увидел свет — об этом речь.
Конец — или начало снова?

Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?

Подходит срок и — битте-дритте! —
Печален, братцы, наш удел:
Пожалуйте, милейший, бриться!
«Пустынник ахнуть не успел».

Придется, кажется, расстаться
С самим собой. Адье, мерси!
А может быть... А может статься...
До-ре-ми-фа, фа-соль-ля-си.

Из шелухи, из чепухи
Плохие шуточки и штучки.
Три ведьмы шепчут мне стихи,
Сидят верхом на авторучке.

Из ночи, дыма и дождя —
(Алхимия и ахинея) —
И небо, медленно дрожа,
Внезапно стало зеленее.

Как на ладони бытиё —
Немного меда, много яда.
А ведьмы, кутаясь в тряпьё,
Мне шепчут: «малая награда

Тебе: стихи — какая чушь!
Бирюльки, бабочки, безделки.
И не бессмертие, а глушь,
Канава, холод, дождик мелкий».

Парафernalия, пора —
Абракадабра! Панчтантра!
(Не алгебра и не игра,
А контра-пунктик музыканта).

Игорь Чиннов

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЭЗИИ*

МЫСЛИ О СТИХОТВОРЧЕСТВЕ

Едва ли необходимо подчеркивать, что общепринятого определения поэзии нет и, вероятно, не может быть. Попытка изъяснить тайну поэзии — много, но природа этого искусства такова, что понятие о нем не может быть постоянным при меняющихся запросах поэтов, критиков и читателей. В общих чертах, поэзию можно определить как размеренную речь, включив в понятие «размеренности» и так называемый «свободно» сложенный стих. При всей своей ритмической распределенности, бесцентробности, «извращенности симметрии», даже «свободный» склад, — поскольку мы имеем дело с поэзией, — должен обладать метрической или дисметрической¹ связью. Словом, передача переживаний или мыслей, с учетом их особенного духовного и чувственного значения, должна создаваться на языке, отличительное свойство которого — образность, сокнутая ритмом, что означает музыкальное звучание и символизацию через внедрение метафор в звуковую ткань стиха, а не только в общее, повествовательное содержание.

Своими элементами образности поэзия тесно соприкасается с искусством живописи, ваяния и графики, отличаясь (или не отличаясь — спор продолжается) от этих искусств лишь тем, что она более приспособлена (или, быть может, вовсе непригодна) для передачи движения и последовательности во времени. В сущности, конфликт разнородности, при сопоставлении поэзии с пластическими искусствами, возникает только в эстетике **Запада**, тогда как в философии и критике изобразительных искусств и литературы **Востока** искусство

* Вступительное слово, сказанное 20 декабря 1970 года в Нью-Йорке, на съезде американских филологов.

¹ Одним из лучших примеров старого дисметрического «свободного стиха» является *Слово о Полку Игореве*, а нового, например, стихотворение Блока «Когда вы стойте на моем пути».

живописи и искусство поэзии считаются единой и нераздельной сферой не только восприятия, но и процесса творчества (китайская каллиграфия, например). Своим же ритмическим звучанием поэзия смыкается с музыкой, отличаясь, возможно, от нее способностью передавать с одинаковой точностью конкретные и отвлеченные мысли. Макс Рийзер, автор труда *Анализ поэтического мышления*, возвратился к древнегреческому пониманию качества, именуемого *поэтическим*, в себя вмещающего, и собой характеризующего отличительные признаки *любого* искусства. Вряд ли найдется для этого качества иное, более точное определение.

Итак, поэзия — ритмическая речь, насыщенная мыслью и отобранными чувствами. Ей предназначено творить своего рода волшебство, при котором метафорическое мышление, слияясь с подлинной реальностью, возводит явление сущности в категорию мифического порядка. Будучи одновременно и практически-идейными и в глубине своей — священными, стихотворения могут «вклинять» ритуал в повседневность. И первобытная и, до некоторой степени, современная поэзия знают сравнительно мало умственных противоположений — между должным и данным, например, или между верованием и эмпирическим познанием. Мир — организм, и поэт выражает своим творчеством не только свое участие в его создании, но и со-причастность ему своего окружения. Как бы ни была мала эта община, поэт никогда не бывает одинок.

Формальная и возвышенная речь всегда считалась подобающей при обращении к божеству; опьяненность божественно-демонической одержимостью достигалась вернее всего ритмикой танца и заклинания. Как мне однажды указал Виктор Тэррас — Новалис воспринимал поэзию именно как «духовный танец». Действительно, поэзия — танец слов; по свидетельству моего собственного скромного опыта, это прежде всего — конкретная «пляска» согласных, гласных и полугласных звуков, в которой образ-символ возникает через волнообразное продвижение качественно-периодических повторов и через ритмическую смену количественных расположений словесного состава — этой плоти поэзии. Одна из последних целей поэтической возбуждаемости — сочетать в себе, при помощи подобного хореографически размеренного, чеканного движения, три ипостаси: жреца, поэта и царя. В русской поэзии XX

века такого синтеза достигли — Вячеслав Иванов и, в меньшей степени, Владимир Маяковский. Последний, несмотря на срывы, все же, по существу, трибун литургического стиля.²

Помимо служения целям высоким, «апостольским», поэзия может существовать вне всякого практического устремления, если, конечно, к таковому не относить прелест чистого очарования. Ряд прекрасно-прихотливых, «легких» стихотворений Бальмонта, Кузмина, Северянина, Георгия Иванова, Игоря Чиннова свидетельствует, что подсбная «нечаянная радость» несомненно обладает и практическими свойствами. Давно вышло из моды положение, утверждавшее, что «поэты учат». Если под «учением» надо понимать назойливое назидательство, то, действительно, поэзия не должна быть поучением. В то же самое время читатель далеких от риторики стихотворений Кузмина, Георгия Иванова или Чиннова, как и тот, кто обращается к риторическим стихотворениям Вячеслава Иванова, Пастернака и Валерия Перелешина, ощущает, почти физически, обогащение собственного видения и утончение поэтической восприимчивости.

Теперешняя, так называемая «просвещенная» культура Запада утратила, за редкими исключениями, взгляд на стихотворчество как на «открывающееся во внутреннем опыте иератической речи — пророчествование» (слова Вячеслава Иванова из его «Заветов символизма»); то же явление наблюдается и на Востоке, где огромная часть человечества уже давно не видит в поэзии акта прорицания. В результате, при длительном отсутствии в поэзии мистического первоначала, человек современной культуры стал ощущать признаки духовного истощения. Он упорно ищет, хотя бы ценой философской неустойчивости, утерянного пути, ведущего к сознанию, что поэзия отражает особое свойство восприятия — свидетельствование о мечте более реальной и всеобъемлющей, чем порядок вещей, доступный диалектике логического мышления. Мы снова и еще раз убеждаемся, что поэзия передается нам, подобно танцу, рядом символизирующих жестов, значение которых, как правило, неотъемлемо от формального склада произведения. Именно из **равновесия** ритмического транса и

² На церковно-славянский, словесный и метафорический, характер поэзии Маяковского указывал в своих лекциях Роман Якобсон.

осознания многогранности бытия (материи и сущности) — рождается знаменательная поэзия.

В безошибочности пропорции (при чем в этом и таится вся трудность) — волшебство ритма возбуждает (как у Блока и у Цветаевой); если оно слишком приглушено или слабо (как в большей части стихотворений Бунина), оно — рушится; если оно слишком сильно, оно — ошеломляет (как в значительной части творчества Маяковского); если оно выдержано, оно — облагораживает (как у Лидии Алексеевой); наконец, если это волшебство — плод разума, оно становится музыкой интеллекта (как у Гиппиус или Перелешина). Однако в любом случае поэзия остается искусством ритмического опьянения повторами словесных, слоговых и буквенных групп, — трепетной, мысляще-чувственной пульсацией человеческого духа. Художественное выражение подобного явления осуществимо исключительно путем математически-чуткого применения языка, путем введения в каждую фонетическую единицу идеально рассчитанных кратно-метрических и такто-метрических элементов заклинания.

В этой, возможно, скончательной своей перспективе — поэзия становится священной геометрией, и ее эпитет — «священная», ставит перед нами вопрос: не равносителен ли акт стихосложения акту молитвотворчества?

Иельский Университет

Алексис Раннит

ESTONICA

1. ЛЕСНАЯ ОПУШКА

...В лесах моей Эстонии родной...
В. Кюхельбекер

Корою красной светит бор сосновый,
И мелкий ельник — яркий изумруд.
Круги седые паутин, с основой
Упругой, вздрогнут в ветре и замрут.
Всё тихо. Только шорох быстрой белки,
Да вот малиновый каторский чай
Качнется и наклонит стрелки,
В стремительном полёте невзначай
Задетый шелестящей стрекозою.
И снова тихо. С рыжего ствола
Спускается янтарною слезою
Из трещины пахучая смола.

2. БЕЛАЯ НОЧЬ

Совершенно жемчужный свет.
Совершенно стеклянная тишина.
— Ты, река, зеленеешь в ответ
И пловучие травы растишь.

Оседает в лесу туман
На колючем еловом ребре.
Ты подумаешь: это — обман,
Это — северный сон в серебре.

Совершенно немой покой,
Точно жизни и смерти порог.
Над совсем неподвижной рекой
Затуманенный воздух продрог.

3. СТАРЫЙ ТАЛЛИНН

*Страшный переулок и Малый подъём —
улицы в старом Таллинне.*

Серый, тугой плитняк.
Стены щербатой кладки.
Древен был известняк,
Стары были лопатки.

Башни ждут над тобой:
Ночью колдует Таллинн.
Позднего часа бой
Медлен, разбит и печален.

Светит зелёный газ.
Шаг отдаётся гулко.
Ты не ходи сейчас
К Страшному переулку.

Втиснут в стенных камнях
Вход на Малом подъёме.
Ходит Черный Монах
Плоскою тенью в доме.

Может-быть, где-нибудь вслед
Карлик тебя окликнет:
«Город за много лет
Весь-ли достроен?» Не пикни!

Молча махни рукой:
«Нет, не достроен Таллинн!»
— Если достроен, рекой
Смоет в залив он морской
Город грудой развалин.

Борис Нарциссов

ПИКАССИАНА

Вот именно: не Пикассиада. Напишут и ее, да и следует ее написать. Но не мне. Опоздал. Неспособен. Недостаточно и прежде интересовал он меня для этого. Кончина его, однако, не была безразлична для меня. Даже и жаль мне стало, что нет его больше. В статье моей (французской, в форме диалога) к 85-тилетию его, по случаю выставок парижских написанной, высказал я ожидание, что проживет он сто лет, и сожаление, что не родился в тысяча девятисотом году, чтобы умереть в двухтысячном. Век наш без него, все равно что и не наш век. Как бы к нему ни относиться, он — самое необыкновенное явление в искусстве нашего века (живописи и скульптуре) и наибольшую ответственность несет за то, чем оно в этом веке стало. Не то, чтобы он это одобрил, но кто же, как не он, двери этому настежь распахнул?

Простишись с ним — грустно, не злобно (а если б злобно, все равно, не хватало бы мне его и для злобы теперь) — я и принялся размышлять, лишний раз, как говорится, не в первый раз, • нем и о его деле, отклики просматривать (пустопорожние, сплошь и рядом на его смерть); перечитывать свое и чужое, и его собственное, т.е. пикассиану, в самом узком смысле слова: им сказанное о себе или «нами» о нем. Словечки. Разная им цена... Из мыслей о них и выросли эти заметки.

Питались, впрочем, и другим. Я впервые стал думать о Пикассо после Французской Выставки в Петербурге, когда мне было семнадцать лет... И стараюсь я все же к сердцевине его дела сквозь все эти стружки, осколки подойти.

Искать и находить

Он славился острыми ответами на неуклюжие, неуместные, да и на всякие вообще расспросы. Это в нем была испанская черта. Испанский народ пословицами богат как никакой друг-

гой, и пословицы эти нередко поражают своим словесным совершенством. Недаром Санчо Панса чуть ли не сплошь ими говорит, или же с легкостью изрекает фразы очень близкие к пословицам. Тот Санчо, который нынче умер, — потому что на Дон Кихота, ни в двадцать, ни в девяносто лет, ни капельки не был он похож, а если кто ничем не похож на Дон Кихота, он непременно родственник Санчо Пансы, хоть и волен воображать себя Кихотом (в этом гений Сервантеса) — тот неслыханных размеров Санчо, который умер и после которого мир осиротел, тоже любил, если не поговорками, то проектами поговорок объясняться или отделяться ими от назойливых своих поклонников.

On ne parle pas au pilote. Коротко и ясно. Дощечки с такою надписью бывают на самолетах, или с похожею на автобусах. Нечего с разговорами приставать к пилоту, шоферу, машинисту. Или к артисту (по-французски больше чем по-русски продолжая говорить). Он вас ведет: бегите или пleteитесь вслед за ним. Хорошо сказано, неправда ли? Самоуверенность проявлена огромная; и век наш ее оправдал. Но ведь и у Санчо было ее не мало.

Другое изречение — не палец приложенный к губам (и к соответственно надутым губам), а похвала лаконизму: «Все можно сказать одною фразой». Нет не все. Многое, но не все. Характерно, однако, что отрывистые отповеди его всегда на многое были лучше сколько-нибудь пространных изъяснений или рассуждений. Отчасти лаконизм этот (в разговорах с французами) вызван бывал ведь и некоторой затрудненностью его французской речи, а кроме того мысль его, как в разговорах, так и — все восемь десятков лет — в его искусстве, неизменно двигалась скачками, плавного развития не знала. Темп зато умела держать: *allegro, vivace, presto, prestissimo, furioso*. Никто *andante cantabile* от него никогда и не ожидал.

Многое можно сказать одною фразой. О своем искусстве такою фразой он нередко много верного и высказывал. Порой, однако, и столько же верного, сколько и неверного. Это неизбежно. Есть и максимы Ларошфуко поддающиеся выворачиванию наизнанку. Но когда этот идол говорил, идолопоклонство как раз и следовало отбросить, тотчас попытавшись сообразить, говорит ли он это «для публики» или близкому другу не для передачи, или подслушать ему дает то, что

бормочет «про себя». Случалось ему и проговориться, неизвестно выскажать правду о себе.

«Я не ищу, я нахожу». Давно он это сказал, и это стало известнейшим из его изречений. Приелось. Во всех некрологах повторялось. Но блеск его не фальшив, и оно само не ложно; только истина высказанная в нем прикрывает другие две невысказанные истины; одну — вовсе и неосознанную вероятно; другую — вполне противоположную — которую, однажды по крайней мере, случилось ему и осознать и высказать с безупречной ясностью.

Быстрый ум был у него и быстрый дар. Он и в самом деле так быстро находил искомое, что как будто и не искал. Но ведь одно из двух: либо ты находишь то, что ищешь (или его замену, как Америку Колумб), либо ты, не ища, нашел целковый на панели, но тогда и твоей заслуги не может тут быть ровно никакой. Сказать такое о неустанном работнике этом — грех. Санчо был с ленцой, а его отдаленного потомка и в девяносто лет от работы оторвать никто не мог; в этом главная, помимо масштаба, между ними разница. Пабло только и делал, что искал и сразу же (большей частью) находил. Пожалеть можно — и нужно — лишь о том, что хоть и не всегда, не все (скажем) тридцать тысяч, а двадцать девять тысяч раз, довольствовался он *любой* находкой. Да и было в каждой что-то, чего другой не нашел бы, острое, свое. Есть, однако, полное основание думать, что творения свои он не все одинаково ценил; только различия этих оценок другим не любил показывать. Но было бы лучше, кажется мне, когда я о будущем его славы по-старинному обеспокоюсь, если б он хоть изредка очень долго чего-нибудь искал, а найденным слишком быстро вовсе бы не удовлетворялся.

В более молодые лета случалось искать ему и дольше; в совсем зрелые перестал он вовсе на два года (1935-1937) как искать, так и находить; а восьмидесяти с лишним лет вырвалось-таки у него: «Никогда не перестаешь искать, потому что не находишь никогда». Записал это верный его эккерман (Елена Пармелен), а после его смерти, одна из его жен, третья, кажется, от конца (я их всех называю женами, потому что он с каждой жил сравнительно подолгу) привела еще одно его изречение, на ту же, собственно, тему, не столь эффектное, как первое, не столь ему противоположное, как второе, но

ведущее напрямик в настоящую глубь: «Постоянно чувствую я потребность разрушить то что строю с таким трудом».

Это не так голо, как «не находишь никогда». Частица похвальбы тут есть. Трудился он — это сомнению не подлежит — сил не щадя, всю жизнь. Но несметное количество его подаренных современникам или завещанных потомкам произведений и невероятная скорость изготовления большинства из них исключают мысль об изнурительной борьбе с препятствиями стоящими на пути к осуществлению вынашиваемых долго замыслов. Да и без них, зачем было бы ему смывать сорок раз (как о том вовсе и без вздоха, а со смехом рассказывал Мане) голову на портрете Евы Гонсалес, когда он собственным Евам волен был приделывать вкривь и вкось сорок различнейших голов? Но жажда разрушения была в нем действительно неутолима; тут его признание не принарежено ничем. Разрушения — умственного, конечно, в идее, в идеале — того, что было сделано другими (об этом речь впереди), но и того, что сам «построил», точно также не материального (не слышно было о нем, как о Сезанне, чтоб он собственный свой холст в гневе прорывал ударом каблука) — а идеального, в замысле, который он именно поэтому тотчас и заменял другим. Хранил он всё; выбрасывал, рвал, уничтожал очень, повидимому, немногое. В жилом и в многочисленных его необитаемых жилищах накопилось его творений, по скромному подсчету пятнадцать тысяч, по другому двадцать пять. А в частных собраниях и музеях всего мира?

Это я нарочно, чтобы читатель улыбнулся, о «подаренных» и «завещанных» написал. Конечно, дары этого рода остаются дарами, сколько бы ни было за них уплачено. Символически это выражается в том, быть может, что сколько брать за них он знал, но полученных денег не считал, чеков не на очень крупные суммы даже не предъявлял к оплате; говорят, накопилось их у него целый большой сундук. И завещания не оставил. С полсотни чужих картин, из многих ему принадлежавших, отобрал и устно повелел выдать Лувру, а насчет своих, друг на друге горами лежащих холстов, как и акварелей, рисунков, керамики, скульптур, не распорядился; те же чеки они, без подписи большей частью, хоть и его; и без цифры в верхнем углу. Чем их больше, тем эта цифра будет меньше.

Творить, творить... До последнего дня, до двух часов ночи

в последний вечер своей жизни. Чем дольше жил, тем усерднее творил. Доподлинно известно, что с января 69-го до февраля 70-го года написал 165 картин, маслом на холсте, больших и среднего размера, 55 рисунков нарисовал (прочего за этот год, керамики, например, не подсчитали). Ему и прежде случалось по семи полотен в сутки заканчивать. Заканчивать? Но ведь как раз об этом он эккерману (задолго до того увековеченному им на портрете 52-го года в зеленой кофте, лиловой юбке, с невероятно толстыми голыми ногами и невероятно копной волос доходящей до локтей) даже и с яростью твердил: нет никакого «конца», нет ничего законченного, все надо вновь начинать сначала, «точка, готово» — один обман; важно намерение, а не результат, не что ты сделал, а что хотел ты сделать. И само делание, следовало бы прибавить. Не творение, а творчество.

«Создай шедевр! создай шедевр!» молил его, много лет назад, чуть ли не со слезами, немножко наивный, хоть и философический друг его Эухенио д'Орс. Размышляли с тех пор все прочие его друзья (а также празднословы и льстцы), сорок лет размышляли, но других не нашли, кроме двух, из которых первый по времени — не шедевр, а манифест («Авиньонские девицы»), а второй («Герника») — плакат, по декоративности, вопреки ужасам своим, способный заменить шпалеру.

Творить, творить... Можно и бед натворить. Но забыл об этом наш век, влюбился до беспамятства в это слово. Мыловарам его подарил, куаферам разбазарил да кутюрьерам. Ублажается, украшается им, как дикарь сапожною щеткой, повешенной на шею, с фальшивым бриллиантом посередине. Но ведь этому неистребимого здоровья и огромных способностей человеку взаправду даровала жизнь то, что в бедной нашей России так жалостно зовется «творческой командировкой», — на восемьдесят с лишним лет (оттого что восьми написал он уже картинку, красками, боя быков, бойко, преображенко написал). И стал он творить, чем дальше, тем больше, искать и находить, искать и мгновенно находить. Да и не все три глагола эти тут применены: искал, находил (быть может порой и то самое, чего искал); творил: не отсутствовало в творениях этих творчество. Есть разные его виды; сейчас я к этому перейду; нетворческими творений его не считаю. Остановился

он, было, в середине жизни, стихами от нечего делать занялся, да и прозой баловался, тогда и позже... Но тут уж мы сами палец приложим к губам. А затем, точно с новою силой, и все больше, все быстрей — творил, творил; до одури под конец. Или ради одури?

Есть еще словечко; позднее его словечко: «Живопись — мой пастис». Называется так самый излюбленный на юге Франции горький алкогольный напиток. Он мог бы сказать «моя водка», «мой коньяк». Алкоголиком не был ничуть: пил вино, и в меру; здоровья и жизненных сил было у него, и под конец, как всегда, хоть отбавляй. Но деланьем, творчеством своим он и впрямь, больше чем кто-либо, упивался сам. Упивался, почти в буквальном значении слова. Упоение это очень рано узнал, и предан был ему, его искал до последнего дня жизни. В каждом творении его было творчество смешанное с разрушением. И не твореньями он упивался, а самим этим двуединым актом — разрушения и творчества.

Какого рода творчества? Особого. В этом как раз и все дело.

Творить — рождать и творить — изобретать

Все, что приводит к возникновению чего-то еще небывшего, зовется творчеством, если небывшее возникает по воле и согласно замыслу творящего. Если же возникает оно помимо воли, или в связи с ней, но без всякого дальнейшего руководства этой волею, возникновение зовется или может зваться рождением, и творчеством его не называют. Мать рожает дитя, а не творит. И отец его не творит, а лишь порождает («Я тебя породил, я тебя и убью», говорит Тарас, у Гоголя, своему сыну). Зато, воспитывая свое дитя, отец и мать, отнюдь не из ничего, но нечто творят: человека, личность, — при содействии самой этой малолетней личности. Соотечественники Пикассо, то есть предки их, приобщившиеся латыни, из глагола, означавшего «творить», смастерили два, заменив во втором случае гласную «е» гласной «и»: «креар» значит «творить», а «криар» — «вскормливать», «воспитывать». Близость друг ко другу этих слов умна, если думать не о жизни, а об искусстве. В жизни возможно воспитать только живое. Если я создал, выдумал, изобрел, сотворил пушку, то дальнейшие усовершенствования пушки воспитанием не называются. Из-

менение первоначальных данных в замысле художника тоже так не называется, но скорей могло бы называться, оттого что эти данные художнику действительно даны; замысел его — не измышление, не чистая выдумка, по крайней мере в тех случаях, когда из замысла «рождается» (вполне законно будет здесь это слово применить) подлинное художественное произведение. Оно конечно той жизнью не живет, какой жив его автор или комар, севший на руку ему, но является с живым существом, в своем внешнем и внутреннем устройстве, да и в том, как оно продолжает «жить» в веках, превозмогая перемены среды, весьма разительное сходство. Художество, во всех видах — не смесь, но бесконечно сложное согласование творчества с рождением или порождением. Художник, с одинаковым правом, творению своему и детищу может сказать «я тебя породил» и «я тебя сотворил». Изобретатель, в отличие от него, творит, и только. Оттого он столько бед и натворил. Но это я в память Хиросимы говорю, в отместку за отравление рек и морей, за полуподдельный хлеб, который ем. Сотворил он, конечно, и очень много благ или полезностей, по крайней мере; но создал и их, как и всё, что он создал, одним измышлением; а художник одним измышлением ничего жизнеспособного создать не может, по той простой причине, что ничего живого или жизнеподобного одним измышлением создать нельзя. Можно создать подобие, но в котором образа не будет, — недаром, должно быть, оба слова применены в книге Бытия.

Художественные произведения, без того, чтобы художник знал об этом, подражают организмам; изобретения могут подражать и нередко подражают только функциям организмов; это «дьявольская» разница. Электронные машины, подражая функциям мозга, мыслят за нас; еще не измышляют пока, ничего, но быть может научатся и этому. Будут измышлять, изобретать, творить другие машины, механизмы, всяческую хитродвижность, как у нас говорили в осемнадцатом столетии, но живого или жизнеобрáзного (если *весь* его смысл в это слово вложить) не породят. Их этому и не учат. Нельзя их этому научить. Живой порождает живое, а человек, художником становясь, еще и жизнеобразные и жизнеспособные творения порождает и творит. Он, однако, свободен; может от этого и отказаться, творца в себе возлелеять, а родителя

убить. Кажется Леонардо первый к этому в зрелые годы устремился. За последнее время многие этого желали («последнему» можно тут придать и очень широкий и очень сильный смысл), например, в поэзии, Валери, — недаром он Леонардо так прославлял. Но в области изобразительных искусств, накануне их отказа от изображенья (это отнюдь не случайность) первым только-творцом, покончившим, как Альберих в «Нибелунгах», но с другим, не телесным деторождением, кто же был или стал, как не он, наш герой, он, Он, один за всех, он, соблазнивший всех?

Для такого дела, делатель понадобился незаурядный. Леонардо был гениально одарен и для порождающего творчества, хоть и предпочел ему изобретающее. Пикассо едва ли; но был с ним знаком, небездарен был и в нем. Да и гениями называют (не в искусстве) ведь и тех, кто ничего не породил, а лишь нечто хорошее, нужное или просто большое измыслил, изобрел, нашел или открыл (в последних двух случаях, счастье пришло ему на помощь, но и счастье ставят ему в заслугу, если ценят его находку или открытие). Изобретательскую находчивость редкостных размеров отчего бы гениальной и не назвать? Даже и разрушительную? Что ж, и ее, — когда она разрушенное построенным, сотворенным, хоть и без роженья, заменяет.

Герострата гением не считают, но если б он не сжег храма Дианы Эфесской, а разрушив его, построил из обломков сорок различных храмов, чем то и похожих и непохожих друг на друга и на прежний храм, «мы», особенно нынешние «мы», наверняка назвали бы его гением. А ведь Пикассо, начиная с «Авиньонских дев», без малого семьдесят лет, именно нечто подобное и делал. Сперва живописную традицию разрушал, обновлением которой вся несалонная французская живопись жила, от Делакруа и Коро до Сезанна, Матисса, даже Брака, сумевшего и сквозь кубизм ее протянуть и уберечь, разрушал, заменяя ее рядом бессвязных, и ей и один другому противоречащих экспериментов. Затем стал кувыркаться согласно почерпнутым из этой традиции темам (например в нескончаемой серии «Художник и его модель»), издеваясь тем самым — о, весьма талантливо порой! — и над темами этими, и над традицией. Наконец, когда и это ему наскучило, обратился к творениям (рожденным творениям) больших ее мастеров, и начал мысленно разрезать их на куски, чтобы куски эти, на

тридцать или сорок ладов по собственному произволу изменив, вновь на тридцать или сорок ладов, с неменьшим произволом, их на новых холстах соединить, но так, чтобы некоторое (большой частью карикатурное) сходство с оригиналом все же не было утрачено. Сходство кусков и сходство склеенных кусков. Важно понять очевидное с первого взгляда, но чего комментаторы не хотят («стесняются») признать: это именно куски, а не органические части прежнего органического целого. И нового *органического* целого они тоже не образуют, хотя нередко и обладают некоторым декоративно-красочным единством. Единством системы, а не организма; не лепестка, а шахматной доски. Сложней, но дело тут не в сложности. Дело в том, что мы неумно вслед за французами, англичанами, называем «организовать» то, что итальянцы гораздо умней называют «системаре». Ничто жизнеобразно-органическое измыслению, изобретению — как и систематизации — не поддается. А все творчество Пикассо с 1907 года есть именно изобретающее, не порождающее творчество. Это и сами творения его являются, и последовательность их; оттого ее развитием и нельзя назвать. Но прежде, чем попытаться то и другое вкратце пояснить, надо сделать существенную оговорку.

Быть может подумал кто-нибудь, что я отрицаю талант или таланты Пикассо. Ничуть. Он был сверхъестественно талантлив. Вундеркиндом проявил себя недаром; вундерменшем (хоть и нет такого слова у немцев, — есть вундерман, это слишком слабо) остался на всю жизнь, до последнего своего дня. Рисовал, как никому не снилось; никому не снилось рисовать на столько разнообразнейших ладов. Это как если бы Дюрер рисовал и как Дюрер, и как Рембрандт, и как Тьеполо, и как Гойя, а порой и как лучший ученик, уж не знаю кого — Менцеля? Нет: Боннá. Всех восхищали линейные рисунки портреты Дягилева, Стравинского, Сати, виртуозностью почти нахальной, как и сходством; восхищают и меня. Или, скажем, два музыканта, одним росчерком пера, на обложке «Рэг-тайма» (1919). Замечу однако, кстати или нет, что в те годы и сам Стравинский набросал пером портрет Рамю (автора текста для «Истории солдата»), съэкономив левый глаз и контур лица за ним, так метко, что благодарным читателям Рамю (как мне) лучшего его изображенья, в молодые еще годы, незачем вовсе и желать.

Что же до Пикассо, то порисовав, после трех или четырех, в этой «дягилевской» манере, он и ее покинул ради шестой, седьмой и считать не стоит скольких еще; не стоит потому, что и возвратиться он мог в любое время к любой, а если потребность ощущал или просьбу уважить желал, то к любой, на выбор, и возвращался. Выдумать и новую — касается это и мазка, и «палитры», и всей «кухни», как говорят в мастерских, и всего «стиля», как говорят, не понимая, что такое «стиль» — был способен в любой момент. Говаривал сам (эккерману), что пошиб, характер письма должен зависеть от предмета, меняться соответственно предмету (о предмете никогда не забывал; меньше всего, когда нещадно его кромсал). В некоторой мере этот зарок его справедлив, но рисунок Дюрера или Рембрандта всегда, при всей гибкости приспособления к предмету, остается рисунком Дюрера или Рембрандта, и еще Ван Гог, которого так хвалил эккерману Пикассо, от своего быстрого, нервного мазка отказаться не мог бы, даже при всем желании. «Не могу иначе» — одно; «все могу» — совсем другое. Первое тебя покинет, если ты слишком жадно погонишься за вторым.

Всемогущества смолоду он искал, и власти, им даруемой, точно также. Еще недорослем, уезжая в Париж из Барселоны, недаром над рисунком (утраченным нынче) и раз, и два, и три, и еще раз с азартом начертал *yo el rey, yo el rey, yo el rey!* Царем захотел стать, и стал. Желать этого имел и право; хоть и не тем стал царем, кому поэт, как поэту мог сказать: «Ты царь — живи один»; этого он и не желал. Но раз он право имел, я этим свою оговорку расширяю. Да, и жизнеродного, жизнь дарующего дара, хоть и не его в себе любил, хоть ради выдумок им и помыкал, не был он попросту лишен. Дан он ему был как раз в тех областях, которые запретными почитали жрецы «чистой» живописи или «чистого» искусства, в те годы когда он прислушивался к их речам: декорация, иллюстрация и улавливанье портретного сходства. Боже мой, краснею, простите; как это я такое мог сказать! И еще — хоть четвертуйте меня — был он замечательный анималист (так питомцы Академий в широкополых шляпах и мещане, плохо берегшие наш язык, называли людей, хорошо умевших писать животных). Многое я отдаю из огромного наследия Пикассо за его иллюстрации «Естественной истории» Бюффона; и

лучшая его скульптура — та большеголовая беременная коза, держа которую под уздцы и вдев голову в жокейский картуз, дал он себя снять на обошедшем вселенную снимке (отличный был и актер, исполнявший роль демократически-гениального живописца с полным совершенством). Чужеродность птиц и зверей карикатурил с исключительной мощью, а особливость людей и без карикатуры уловлял. Гертруды Штейн, Сабартеса, до всех выдумок; но и Вильгельм Уде и Воллар — вылитый Уде, вылитый Воллар, на своих строго-кубистических портретах. Натюрморты второй половины двадцатых и начала тридцатых годов, да и начала пятидесятых необычайно декоративны, даже те, что малое дитя могут испугать великолепной бычьей головой. В стены бы их вделать, в одну лишь из четырех, большие белые стены, и вся комната зазвучит гармонией громкой боевой: музыки без тромbones и бас-туб от такого композитора не жди. Именно на этих путях искусства, которых не терпел хороший тон, в годы, когда об этих путях рассуждали, хоть уже и опрометчиво, но еще членораздельно, Пикассо живое и создавал. Но самую грубую ошибку совершают те, кто живого и его лучшего ищут в наиболее «ласкающих глаз», — а главное старые привычки глядеть на изображения вещей — и особенно людей — картинах или рисунках.

Это у него как раз хуже всего, и это выдает, частичную, по крайней мере, неподлинность в нем того, из чего вырастает в художнике порождающее, а не изобретающее творчество. Двадцать лет назад, в Милане, на большой выставке Пикассо в бывшем королевском дворце, я увидел впервые портрет его матери, 1923 года, который с печальной очевидностью подтвердил для меня всё то, о чем я догадывался и раньше. Этот портрет достоин кисти нашего из рук вон умелого, но слашавого и льстивого «светского портретиста» (еще и в эмиграции) Сорина, или мог бы он быть портретом матери Больдини, без неуместного в данном случае «шика» написанным самим Больдини. Когда художник порождающе творящий пишет близких ему людей, он дает свое лучшее. Не буду тех же Рембрандта и Дюрера вновь поминать; помяну Уистлера, он ведь и выдумщиком был, но портрет его матери (в Лувре), хоть и «консервативней» большинства других его картин, подлинен и глубок и достоин большого мастера. И другого, меньшей славы, одиноких и неверных путей живо-

писца помяну, Гюстава Морб; портрет матери — лучшее, что он написал, отказавшись от аллегорий и драгоценным камням подражавших красочных сгустков. А этот, не знаю где он теперь, быть может в Барселоне... Нет, он лучше Сорина, лучше Больдини, острей; но до чего все таки безличен в «корректности» своей, в своем академическом (вот именно, если не все) применять этот ярлык) изяществе! И конечно тут не одно желание прийтись матери по вкусу. Тех же лет портреты Олечки Хохловой, первой его жены и малолетнего сынка, написаны хоть и не совсем в той же манере, но еще более «красиво»; а на много лет позже (1954) написал он в профиль прехорошеньку Сильвettу, и ах какой распрехорошенькой получилась Сильветта на его холсте! Да и знаменитый Арлекин (назад возвращаясь: 1923), из парижского Музея современного искусства, когда его к девяностолетию автора повесили на место «Жилля» Ватто, (и Джоконды, которая раньше там висела) в большой галлерее Лувра, красовался там куда красовитей, чем тот белый, большой и тихонько грустный Пьеро. В начале прошлого века был он куплен за гроши у старьевщика, поперек холста написавшего мелом *Que Pierrot serait content s'il avait l'art de vous plaire.* И мы его полюбили. Поэзиией он пленял; и какое нежное письмо! А замещал его гладкий, вылощенный, прикрахмаленный даже, неизвестно зачем, пустяк.

За такие общедоступно-«красивые» опусы, как и за розовые и синие, больше платят денег, чем за двуносых или трехглазых чудищ, которыми, к тому же и рынок (не толкучий, картиинный) гораздо более богат. Платят большие деньги и за них: подпись-то все таки та же. Дело, однако, не в деньгах, а в том, что подписываться под чудищами было законно, а под красотами не совсем. Красота, как видит ее Пикассо, банальна; этого не скажешь ни об одном из великих мастеров. Красота, которую обожествляли греки и через две тысячи лет после них итальянцы была не банальна, была природна; стала банальной в искусстве с тех пор, как оно утратило последний, еще связанный с итальянским (так всего проще его называть), а *через него* и с греческим стиль (прямую связь с греческим пытались в себе найти, еще плохо его зная, иные мастера-мечтатели, после Винкельмана, но не нашли). Банальная красота вне искусства не банальна; она попросту, для

живых существ, натуральна, то есть отвечает полноте жизни, здоровью, породистости всяческих пород. Оттого и обожествлявшие ее стили были «натуральны» (биоморфны), в отличие, например, от готики. Но уже за сто лет до рождения Пикассо стали исчезать последние остатки последней фазы последнего из этих стилей.

Из жизни банальная, то есть в ней нормальная красота вместе с остатками этими конечно не исчезла, но в настоящем искусстве стала запретной, в отличие от ненастоящего массово-мешанского. «Деформация», о которой говорится у Бодлера (как и все «странные» или даже изъяны, которых от самой красоты требовал он и его век) отчасти это имеет в виду, отчасти же те индивидуальные варианты, которые каждый подлинный мастер всегда вносил даже и в самые нормальные нормы своего времени (и у Сарто не те же они, что у Рафаэля). Применять, однако, это понятие деформации в сотый раз к Пикассо значит лишь вновь себе выдать свидетельство о недомыслии. *Его* деформация нарочитая, волевая; а ведь Сарто не стремился, ни от «натуры» отличаться, ни от Рафаэля; и еще Мане, еще Сезанн искажать «натуру» ни малейшего намерения не проявляли, ее искали; а от всех не-Мане, не-Сезаннов отличались, вовсе к отличию и не стремясь. За Пикассо я и в этом последнем пункте не поручусь, но важен не он: важно, что красоту, совпадающую с биологической нормой (при многообразных легких отклонениях, конечно: других биологических норм нет) он видел банально, и как раз поэтому, в своем искусстве, совершенно сознательно и с крайней резкостью ее ломал. В тех же случаях, когда ломать не хотел, банальность у него и получалась.

Тут неорганичность его творений и коренится, как и отсутствие органического развития в его творчестве. Оговорки мои кончились; возвращаюсь к стержню моих замечаний, чтобы их быстро привести к концу.

«Двенадцать лет я рисовал, как Рафаэль». Еще одно пикасиное изреченье, быть может и не раз изреченное, но с благоговением повторенное другими голосами, во всяком случае, много раз. Если Пикассо его и в самом деле впервые изрек на выставке детских рисунков, объясняя почему *своих* детских рисунков он бы туда послать не мог, то и не было тут пожалуй никакого бахвальства: он хотел сказать, что и

в двенадцать лет рисовал как взрослый («как Рафаэль», потому что учитель рисования, его отец, или учителя его отца и впрямь считали, что надлежит учеников учить рисовать «по Рафаэлю», учить рисовать «как Рафаэль»). Но благоговейное повторение превратило словечко это в чушь, усугубленную другой — и даже двойной — опять таки присоединенной к ней чужими, бесчисленными и самыми авторитетными (по всеобщему мнению) голосами. Когда семь лет назад графика Пикассо была показана в Парижской Национальной Библиотеке, предисловие к выставочному каталогу утверждало, что он «способен рисовать как Рафаэль или как Энгр, но предпочитает придавать человеческому образу новую, современную структуру». Перевожу дословно; почтенное имя автора этой фразы (тогдашнего директора «Кабинета Эстампов») произнести, однако, воздержусь. Полагает ли он, что современный и новый человек так во имя «структурь» с двойным носом по улице и ходит, тоже разбирать не буду (на модных словах спотыкались люди даже и более маститые, чем он). Не хочу спорить и о том так же ли хорошо рисовал Пикассо, как Энгр или Рафаэль. Тут ведь имелось в виду не это, имена были выбраны не случайно, сказано было, как не раз говорилось и до того, что по характеру своего рисунка он был близок, очень близок к Энгру и к Рафаэлю; из чего следует очевидно заключить, что и Энгр рисовал «как Рафаэль». На самом же деле, ни Энгр не рисовал как Рафаэль, ни Пикассо не рисовал, ни как Рафаэль, ни как Энгр.

Энгр был одним из величайших мастеров рисунка всех времен, и хотел изо всех сил «рисовать как Рафаэль», рисунки Рафаэля изучал всю жизнь, а рисовал, хоть и «в духе Рафаэля», не живописно, а линейно, и всю выразительность, как и всю изобразительность рисунка вкладывая в линию; но все-таки совсем иначе, чем Рафаэль. Линия Энгра менее органична, менее телесна. Особенно это явно в контуре обнаженных тел или рук, но замечается и в любом «ведении линии» (как немцы говорят) вообще. Он эту телесность ищет, любит, ласкает ее, смакует. Рафаэль вовсе не добивается ее, ничего о ней вероятно и не знает; но в рисунках его она тут как тут (а слегка по-иному и в рисунках Сарто, Понтормо; опять по-иному, скользяче и въедливей, у Леонардо; всего сильней, но с надломом у Микельанджело). Рафаэль иначе и не мыслит.

Энгр мыслит; об этой линии мечтает; тешит ею свою мысль. Его рисунки ближе, однако, и намного к рисункам Рафаэля, чем самые «энгристские» рисунки Пикассо (первых лет после первой мировой войны) к Энгру, хотя он Энгру ими подражал, — едва ли при этом вспоминая еще и Рафаэля. Линия его совершенно «умственна», отвлечена, тяготеет к схеме; ничего телесного в ней нет. Его кривые ищут циркуля или прямой; волнистые грозят изломом; выгиб тела невозможным для тела выгибом. Сознательная деформация — телу наперекор — естественнее для него. Поэтому эти рисунки (он и позже иногда так рисовал) — наименее *его* рисунки.

Органическое, то есть собственно живое, яростному этому жизнелюбцу, в творчестве чуждо. Потому, конечно, и чуждо, что изобретение в этом творчестве преобладает над рождением или порождением. До девятьсот седьмого года боролись в нем эти две стихии. Когда более благоприятная художеству побеждала, возникали лучшие создания синих и розовых годов; но и тогда побеждала она реже, чем бывала побеждена. Прорывалась иногда и позже, в графике особенно, да и вообще изобретатель этот художником быть не совсем перестал до самого конца. Но вырастать, как вырастают гении, да и просто таланты, в области искусства, изобретательство ему все же помешало; органически развиться ему не дало. Глядя на ранние картины Рембрандта, «Блудного сына» не предскажешь; но вспять от него идя, ясен будет весь пройденный путь. Так и у всех больших мастеров. У Пикассо не так. Эдисон изобрел фонограф, потом лампочку накаливания, потом... Не все ли равно, что раньше, что потом? Ведь одно не вытекает из другого; между двумя названными изобретениями нет ничего общего. Как ничего нет общего между толстыми помпейскими из Бробдингага (1921-23) и недавним (в те времена) кубизмом, да и в самом кубизме, между мандолинистом вкублиенным в свою мандолину и очень убедительным «видом» горно-фабричного испанского городка, где кубов и выдумывать не пришлось, вследствие чего Гертруда Штейн, совершив экскурсии в Испанию, преспокойно объявила, что кубизм — тот же реализм. Так все и осталось, хоть и не без счастливых порою вдохновений, — не тех, где соблазняли «красота», а тех, где вдохновение-рождение, хоть и чуждое, да не вовсе чуждое ему, побеждало, вон выбрасывало выдумку.

В общем, однако — не думаю, чтоб иначе можно было рассудить — все так и шло много лет: искать и находить; изобретать, изобрести; творить, творить... Хвалу возносят все кругом такому неустанному, всемогущему, ежедневно творящему творцу. И только сам творец нет-нет и вскрикнет: кончить не могу, бросаю, не бывает конца, кончить ничего нельзя. Но и в последнюю ночь все бьется над «Падением Икара». Только нет никакого Икара. Не было даже и падения.



«Пикассо господствует над своим веком, как Микельанджело над своим». Этими словами начиналось предисловие к главному каталогу тройной выставки 66-го года. И в превосходном своем кратком «пингвиновом» словаре художников Peter Murray писал еще и до того, и во всех новых изданиях повторил, что Пикассо, как Джотто и Микельанджело, начал в искусстве новую эру. «Никто так радикально самую природу искусства не изменил». Вот именно, так «радикально», в корне. Никто, ни Микельанджело, ни Джотто. Те искусство меняли; он его отменил. Он и есть *наш* Микельанджело, тот самый, которого мы заслужили.

B. Вейдле

ASSUMPTIO CORPORIS

Вопреки обычаяу, предпосылаю этим стихам не очень даже и короткое, да и двойное пояснение.

Хоть и близки они к прозе, но это — стихи. Тождество строчки и стиха не типографский произвол. Почти все окончания их — женские; надо их читать останавливаясь на этих женских не-рифмах. Там, где окончание мужское, есть тому внутренняя причина. — «Стихотворений в прозе» не люблю, но меня издавна привлекает проза близкая к стихам, дразнит стих приближающийся к прозе. Мое стихотворение «Открытка с Аптиевой дороги» перемешивает белые стихи с чим то, что уже почти или вовсе не стих. Мою статью (предпочитаю держаться простого этого названья) об итальянском городке Губбио я начал стихотворением: одиннадцатью гекзаметрами; ритм ее дальнейшей прозы по преимуществу гекзаметричен. Стихотворение, печатаемое теперь — пани-прозаичнейшее по своему складу; что, на мой взгляд, его поэтичности не вредит, не мешает ему даже превратиться подконец в нечто вроде рыдательного гимна. Это мнение автора. Прошу прощения. Да и не ручаюсь, что оно не переменится. Но когда я «прозу» эту (в старом, хоть и не в самом старом смысле этого слова) писал, когда выбиралась постепенно эти долю жившие во мне стихи, думал я конечно не о метрике.

Думал об Амстердаме, где часто бывал — проездом или заездом, — самом изуродованном, но и самом мощном, в своей старине, фламандском городе; об алтарном образе Рубенса, одном из прекраснейших в мире алтарных образов. Этот заказ его города был для него честью превыше всех чужеземных королевских заказов, и он такого Принятия (*assumptio, adsumptio* значит именно это) Богородицы в Небеса и в объятия Сына, он во все оставшиеся, лучшие для его искусства годы жизни, больше ни разу не написал. Наша Церковь знает (или признает) только *assumptio apitae*, в виде куколки-души, которую Спаситель на руки берет стоя возле усопшего тела честнейшей херувим, но земной все же своей Матери. Бесса-

*претио дано нам, однако, и западную веру понять, любовью
возносимую из открытого гроба, с Приснодевой, в разверстые
для нее Сыном сияющие небеса.*



Пассарелли, где ж ты? Или Пиньятелли...
Паганелли. — Нет тебя больше.
Переменили вывеску. Перекрасили стену.
Потчуют рыбой, как рядом и напротив,
Да бифштексом с жареной картошкой.
Tagliatelle, cannelloni — где им!
Сварить, как нужно, не сумеют,
Из кастрюли во-время не вынут,
Запивать, чего доброго, прикажут пивом.

Bella Napoli, перед Антверпенским собором,
Addio! Тут-то уж никто
Сбивчивым шажком, когда заказан кофе,
К столику не подойдет; с улыбкой —
Ох какой затасканной, потертой — не предложит
Даровую рюмочку гостю; из чуть-чуть дрожащей
Бутылки не нальет, на скатерть все таки не капнув;
И не отойдет с поклоном за конторку, — косо,
Как ноябрьский лист, сам собой, без ветра,
Догнивать слетает медленно на землю.

В пиджачке твоем мышного цвета
Ты казался тенью, Паганелли,
По узкой лестнице, скок-скок-через-силу
Подымаясь услужливо и тщедушно,
Комнту показывать, чтò у тебя сдавалась
И на сутки, и меньше, чем на сутки,
С холодною водою и горячей,
Приезжим, но и не одним приезжим.

Нет тебя. — Ну что ж; я хотел... Ничего. Пойдем.
Я тебе покажу. Тут же рядом, близехонько, в соборе.
Разве ты не знаешь? Он у вас учился.
Пáоло. Питер-Паулус. Пьер-Пáоло.

Ах какой был мастер! Что? Нет, нет,
 Вовсе не те трехстворчатых два складня —
 Слишком молод был он, чересчур старался —
 Пусть другие глазеют на них за деньги; мы же
 Даром, а если и не совсем, то без билета.
 Двери заперты, но под башней сторож
 Впустит нас в алтарь, куда и за деньги не пускают.

Идем. Не дрожи. Не спотыкайся.
 Дай-ка лучше поддержу тебя за локоть.
 Ишь какой ты стал. Ничего и не весишь,
 А скрючило тебя пуще прежнего. Табес?
 Было на то похоже. Все равно; дойдешь. Две ступеньки,
 Не то, что до старого *confort moderne*.
 И еще две. Сядем, где не нам полагалось бы садиться.
 Свет включим: пасмурно, дневного мало.
 Теперь смотри. Не дрожи, пожалуйста. Смотри.

Видишь? Апостолы у пустого гроба
 И святые жены, в горестном смятеньи,
 В скорби расставанья, в скорби, но — ты понял?
 В радостной скорби, хоть и Радость их уже не с ними.
 А вверху, в сонме сил небесных,
 В хороводе ангелов кружящихся и ангелочеков,
 В одеяньи цветиками малыми расшитом, белом,
 Бело-голубом, светло-синем, синем,
 Она. — Иоанн к ней простирает руку,
 А другою вот-вот глаза себе прикроет,
 Чтобы защититься от Ее сияния.

Молода, стройна Пренепорочная; легче ангельских Ее руки;
 Лик румян и светел. Теплою волною
 Светло-русые кудри стан ее ласкают. И небесно-синий
 Светит свет в очах Ее, глядящих в небо.
 Не бесплотна Благодатная: живет и дышет;
 Женственней всех жен Дева-Приснодева,
 Краше всей красы мира, сердцу нашему ярче солнца,
 Всей любви, всей жизни земной Царица,
 В небо вознесенная, навстречу Сыну,
 Матерь и Дщерь Его, Неневестная Невеста.

Паганелли, молись. Дай руку. Станем на колени.
Скажем вместе... Но где ж ты?
Тень твоя мышиная, и та исчезла —
Прошлогодний лист в весеннем перегное.
Или ты — там, в нижнем углу, направо,
Рамою прикрытый, заслоненный могучими мужами,
Невидимый мне, глядишь туда же,
В синеву, ладонь к ладони прижав, и плачешь.
Ведь плачешь?

Где ты, Паганелли? Ответь, откликнись.

*B. Вейдле
Амстердам, Париж, Венеция,
1968, 1969, 1972.*

О САМОМ ВАЖНОМ

Роман Борисович Гуль — в своей творческой трехпостасной сущности (прозаик, публицист, критик) вызывал и вызывает у читателей сильные чувства и чувства неоднородные: от панегириков до «скрежета зубовного». Этот факт огромного диапазона эмоций при оценке его творчества уже сам по себе показателен, свидетельствуя не только об острой талантливости Романа Гуля (не отрицаемой и его противниками), но и об умении автора поставить темы так, что они задевают сознание читателей, возбуждают их внимание и мысль, вовлекая в страстную защиту каких-то начал и в решительное опровержение ложных построений.

Роман Гуль ныне уже один из немногих русских авторов, ощущающих реальность *исторического* задания, выпавшего на долю зарубежного писателя, а именно на сознательное продолжение и безусловное отстаивание высоких начал русской культуры, складывавшихся веками и столь немилосердно разрушаемых и искажаемых в наше время. Именно из этого ощущения *преемственности* традиций национального значения и внутренней *ответственности* за них возникает основная тональность Гуля, делающая его творчество вообще, и его статьи в разбираемом сборнике в частности, столь запоминающиеся: всеми мыслями, всем сердцем, всей силой слова — яркого, меткого, точного, разящего — он обращен к России. Поэтому читая (и перечитывая) и передумывая его статьи, собранные в книге — «*Одзуконь*», мы слышим речь русского писателя о России, о том, что ей «на потребу», и к ней направленную. И какую речь! — в которой нет недоговоренности, нет «двоемыслия», нет трюкачества, оговорок и смягчений, но в которой с предельной четкостью, возможной только при

Роман Гуль. *Одзуконь*, Советская и эмигрантская литература. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1973, (стр. 323).

глубоком проникновении в материал, и подчас с беспощадностью высказано и повторено и развито «Верую» писателя в Россию, в русскую литературу, в русскую талантливость, в великие духовные качества, существующие устоять в борьбе и победить, несмотря ни на что и вопреки всему, что проделывается с Россией и с русской литературой. «И тогда русской литературе не нужно уже будет ехать одвуконь», как пришлось делать в течение полувека, когда «подручная запасная лошадь», т.е. зарубежная — эмигрантская — литература, оказалась просто незаменимой ввиду гибели «целой национальной литературы» в концлагерях (автор на стр. 193-198 сделал *кратчайшую* сводку страшных судеб ряда советских писателей, ибо сейчас еще «немыслимо перечислить всех писателей, уничтоженных диктатурой. Об этом надо писать книгу, но только тогда, когда вскроются все архивы КГБ, Отдела пропаганды, Главлитта. И это будет одна из самых страшных книг»).

Но «Одвуконь», ни на мгновение не забывающая о трагических испытаниях, выпавших на долю русской литературы, в основе своей книга оптимистическая, поднимающая дух русского читателя. Нота оптимизма звучит уже в предисловии к книге и оправдана прежде всего творческой силой, исходящей от сборника. И этот оптимизм придает книге особенную убедительность, ибо он как бы обращен к будущему, когда «настанет день — и непременно настанет!» — день торжества свободы, эпоха возвращения к началам «Правды-Истины» и «Правды-Справедливости», на которых и развивалась русская культура.

Поразительно, как естественен, «органичен» и последователен Роман Гуль в распространении своих критических «признаний» и критических «отталкиваний». Он, конечно, исходит в этих разборах из «субъективного ощущения» материала, но разве может быть иной, если мы хотим судить о литературе не «по схеме», а по существу? Но это «субъективное ощущение» опирается у Гуля на богатейшую литературную и историческую эрудицию, на глубокие культурные традиции и на отчетливое понимание литературы, как мастерства. Его «субъективное ощущение» возникает в результате и знания эпохи, и понимания мира литературы, и крепкой хватки знатока литературной техники. В качестве иллюстрации сошлюсь на памятный всем читателям «Нового Журнала» разбор «Авгу-

ста 14-го» (им открывается «Одвуконь»). Этот разбор вызвал немало читательских откликов (некоторые были направлены в виде писем мне): от — «эта критика — на самом деле — великолепна», до — «как же он осмеливается поучать гения...» Многие читатели огорчались сомнениями Гуля в удачности тех или иных словесных новшеств Солженицына. Сейчас, перечитав статью нашего критика, я лично убежден (еще больше, чем прежде) в ее поражающей меткости, и мне совершенно ясно, почему Роман Гуль сокрушался по поводу «слововыдумок» и «фраз с изломанным синтаксисом»: он хочет слушать в романе-эпопее *о самом важном* (что так хорошо, проникновенно и просто умеет выражать Солженицын и в том же «Августе 14-го»), а «словесные надстройки» отвлекают читательское внимание, они стилистически неуместны, хотя, само собой разумеется, как подчеркивает Р. Б. Гуль, «у всякого писателя есть право на словотворчество, на слововыдумку». Не менее конструктивной представляется мне и другая статья о Солженицыне, написанная после громового появления «Одного дня Ивана Денисовича»: Гуль правильно поставил «тезис», принятый ныне во всем мире, что повесть эта «как бы зачеркивает весь соцреализм» и проницательно установил «литературную связь» нового таланта с прозой «серебряного века», со школой Ремизова. И это наблюдение — ремизовский сказ у Солженицына — тоже принятое всеми, стало «общим местом» у литературоведов.

Критическое мнение, высказываемое Романом Гулем, никогда не каприз, никогда не интеллигентская блажь, не снобистическая ужимка, не отговорка или нигилистическое неверие, облеченные в словесный поток, как это — увы — не раз встречалось в истории критики и прежде и ныне. У Романа Гуля, как критика, есть *огненность*: он испепеляет «противника». Как на «образцы», можно указать на его статьи «Об инсинации и русофобии», или «Дунька и Коряков», или разбор мемуаров Н. Н. Берберовой «Курсив мой», или воспоминаний графа В. П. Зубова «Страдные годы России» или «непонятной книги» Н. Н. Краснова «Незабываемое», но замечательно, что и это «испепеление» идет по линии «самого важного»: отношение к России и ее историческому прошлому, совестливость и степень правдивости описаний, борьба с этической и политической двусмысленностью, поход против «духовного стали-

низма» и борьба за то, что называется «культурным уровнем». Гуль конкретен и «вещественен» в своих отрицаниях, и надо признать, что его обвинения начисто упраздняют в отношении порицаемого возможность читательского вердикта — «виновен, но заслуживает снисхождения». «Гуль — лют» (суждение одного из видных сотрудников «Нового Журнала» в личном письме). Эта лютость возникает у него неизменно при суждениях *о самом важном*. И, по моему, это — высокое достоинство Р. Б. Гуля, как критика, талант и бесстрашие говорить *лютую правду*, защищая истину. Отсюда вытекает и его лютость в отношении всего того комплекса явлений, который называется советской системой. Все статьи, связанные с этой темой пленения России и ее литературы, представляют собой последовательное и всегда конкретнейшее отрицание «дела Ленина, Сталина и их наследников». Знания Гуля здесь безграничны, а умение применить их, поистине, поражающе (даже для людей, как-будто бы осведомленных в советских делах). И такие его статьи, как «Писатель и цензура в СССР», «Книга Светланы» и «Светлана и неандертальцы» принадлежат к самым сильным образцам литературно-критической публицистики, борящейся за самое важное и на самом высоком уровне.

Публицистика... Означает ли этот бесспорный дар, присущий творчеству Романа Гуля, преломление (конечно, весьма условное, как и при всех исторических параллелях) непримиримой, воинствующей мысли в духе древнеримского призыва — «Карфаген должен быть разрушен»? Именно так отозвался на некоторые статьи Гуля один из его советских читателей, сильно пораженный меткостью огня Гуля, но хотевший побольше также «положительных утверждений». Замечание это («диалог» наш велся через третье лицо, взявшее на себя труд передачи некоторых номеров «Нового Журнала») заставляет подчеркнуть факт, что Роман Гуль буквально на каждой странице своих статей делает «положительные утверждения», выражая их и «прямо», и «косвенно» и всегда наталкивая читателя на выводы «от обратного» (употребляя терминологию элементарной логики и математики). Но есть у него работы и более, если угодно, «програмные». На первое место я выдвинул бы совершенно блестящую по материалу, размаху, точности и четкости статью его «Двадцать пять лет Нового Журнала», к которой примыкает статья «Сотая книга», — пересказывать их

здесь незачем, а перечитать их следовало бы, поскольку Р. Б. Гуль как бы начертал своего рода «заповеди»: *свобода* человека, России и русской культуры. Раздумывая над началами и путями русской культуры, «лютый Гуль» написал исторический очерк «Идея свободы — в русском народе», где в сжатой форме, сначала как-бы перекликаясь с мыслями, высказанными графом С. Ю. Витте в его «Записке» 1905 года Николаю II, а затем, давая собственную обобщающую картину, показал историческую неотторжимость идеи свободы от народного сознания, хотя бы она и претерпевала неоднократную трагедию в процессе своего воплощения. К этой же теме культуры, беспокоящей Романа Гуля (ведь, недаром и в «испепеляющей» статье «Дунька и Коряков» удары направлены на «ложные концепции» после войны Н. А. Бердяева, названного по имени, и некоего доцента из новой эмиграции, оставшегося для нас анонимом) примыкает его вдумчивый разбор ценной книги «Мыслей врасплох» Терца-Синявского и воспоминаний кн. С. Щербатова «Художник в ушедшей России», и увлекательной и исторически (для истории русского театра) значительной книги С. Л. Бертенсона «Вокруг искусства», а также религиозно глубоких «Записей» священника Александра Ельчанинова. Эта тема — культуры и свободы — пронизывает все статьи тома и ее неразделимость великолепно показана критиком.

Но что такое литературная критика и в чем ее проницательность? Кто-то сказал, что история критики — грустная картина человеческих заблуждений и относительности большинства утверждений. Возможно, если, особенно, критический отзыв рожден с оглядкой на «схемы» и «параграфы», «генеральные линии» и «академические теории». Если же критик обладает даром интуиции, проникновения в замысел критикуемого произведения, если ему понятна литературная техника обсуждаемого автора, если писательское мировоззрение и — что чрезвычайно существенно — языковой материал и методы его использования принимаются критиком, — суждения могут быть и вневременными, ибо определяют существенное в творчестве прозаика или поэта.

Мое впечатление, что Роман Гуль принадлежит, в подавляющем большинстве своих суждений, именно к критикам «Божьей милостью», точно определяя характернейшее, сильные и слабые пункты в критикуемом. Я ограничен местом и не

могу входить в подробности. Но, все же, несколько примеров. О Цветаевой: «Искусство вкладывалось во всю ее жизнь, как скрипка в футляр», — точнейшая формула, определяющая обреченность поэта только ее прекрасному мастерству. И о цветаевской прозе: «...Искусство прозы Цветаевой можно было бы назвать словесным ваянием. Цветаева необычайно чувствовала все элементы слова — и его звучание, и цвет, но в особенности весомость слова, как она любила говорить. Именно поэтому Цветаева так любила словесную архаику. В соединении этой весомости и звучания — вся оркестровка ее бурной ритмической прозы, иногда похожей на какие-то заклятья, проклятья, славословия. И в то же время — несмотря на крайнюю пристрастность именно к ритмам, принося им все великие жертвы — проза Цветаевой никогда не была ими убита, то-есть превращена в оголенность механической ритмики... И цвет, и звук, и скульптурность, весомость слова все находит своеобразную меру даже в цветаевской безмерности, не уничтожая друг друга». Мне представляется эта характеристика исчерпывающей. Не могу не отметить, что, отзыаясь на «Лебединый стан», Гуль признает «может быть одним из лучших цветаевских стихов вообще», «по образности, по музыке и по цветаевской гордой теме» стихотворение о покончившем самоубийством артисте МХТ, А. А. Стаховиче: «Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!»

О Пастернаке Роман Гуль говорит после появления «Доктора Живаго», произшедшего на критика впечатление какой-то «литургической симфонии». С замечательной ясностью он показывает особенности этой книги, «затопленной изобразительностью русского слова», определяя ее как «роман деталей», в котором «всем управляет немотивированность действий», «роман-проповедь, роман-притча», «предельно одноголосый роман» («всезде голос автора, голос Пастернака»), и с большим тактом выясняет христианскую философию романиста, произведшую столь сильное впечатление на Западе. Эта статья «Победа Пастернака», напечатанная в 1958 году, оказала немалое влияние на иностранных славистов.

Роман Гуль умный и чуткий критик: его отзывы о «Реквием» Анны Ахматовой, о «Полном собрании сочинений» Николая Клюева, о «Валерии Брюсове» К. Мочульского, о «Драмах и комедиях» Михаила Булгакова останавливают внимание

каждого литературоведа. Его статья «О творчестве Андрея Белого» (наиболее ранняя — 1923 года — статья в сборнике) написана так, что и до сих пор она является наиболее проницательным «диагнозом потенций и тенденций» Белого. Точно сказал о нем наш критик: «...Имя его известно, но творческого резонанса в ширь и глубь у Белого нет... Он слышен лишь очень близким... Андрей Белый весь в творческой дисгармонии. «Живописность речи», «цвет слова» у него отсутствуют совершенно. Напротив «музыка», «звук слова» доведены им до невероятной вагнеровской силы. Книги Белого — звукопись. Белый не писатель, — «певец». Но не песенник, хватающий за сердце. Белый — холодный колоратурист камерных утр... Дисгармоничность Белого всегда будет интересна исследователям, но вряд ли интересна читателям. Опускаясь в глубину звуковых волн холодного колоратуриста, ищешь в ней причину неорганичности...» Роман Гуль дает точный ответ на эти поиски: «В творчестве Белого нет опоры, нет главного, что бы скрепило его — *нет Эроса*». Мне, как слегка причастному к «Белоговедению», представляется, что, в сущности, проницательные формулы Гуля преодолеть не удалось, а отчасти они уже всё более подтверждены историко-литературными наблюдениями.

Удивительно хороши замечания о стихах Булата Окуджавы «Будь здоров, школьяр», — безусловно, он «наиболее интересный из всех поэтов этого советского поколения», «голос и ритм Окуджавы — сами по себе, они не вызывают поэтических реминисценций и это ценно». Превосходно «ощутил» Гуль непростую Музу Игоря Чиннова, говоря о его сборнике «Линии» и с «академическим выводом»: «Как поэт Игорь Чиннов владеет высоким мастерством, органически связанным с темой его мироощущения». Вдумчивы и справедливы наблюдения (в связи со сборником «Единство») над глубокой и прекрасной поэзией Георгия Адамовича, которая, конечно, «останется в большой русской лирике».

Однако, лучшая статья Романа Гуля о поэзии посвящена Георгию Иванову. В 1956 году мне привелось писать в «Русской Мысли» об этой статье, — приведу отрывок (ибо согласен с ним и сегодня): «...Роман Гуль написал большую статью о Георгии Иванове. Вероятно, это самая значительная, полная и безусловно нужная всем нам характеристика замечательно

сложного, может быть, самого выдающегося поэта наших дней, «сейчас единственного в нашей литературе — русского экзистенциалиста». Повидимому, статья возникла в результате каких-то споров о поэзии Георгия Иванова. Не будет преувеличением сказать, что Роман Гуль оказался... исключительно внимательным критиком, с большим диапазоном, с заостренной, меткой и подчас блестящей характеристикой, с живым словом. Очевидно, все это сделало «внутреннее расположение» критика к творчеству... Георгия Иванова. Вопреки народной поговорке, в суждениях об искусстве часто «зряча» именно любовь. Статья написана к тому же без «зауми». И это тоже ее положительная сторона: читатель не может быть отпугнут от разбираемого автора, весьма непростого по структуре и идеям».

Характерно, что Гуль ценит свидетельства современников, как «непосредственное» повествование В. Н. Муромцевой о жизни Бунина до 1906 года, как талантливый рассказ о нем же и о других Галины Кузнецовой («Грасский дневник», написанный «с большим благородством»), как воспоминания Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» — «талантливая, увлекательная книга», «последние страницы о последних поэтах Серебряного века».

Примечательны анализы некоторых прозаических произведений последних десятилетий. Р. Б. Гуль, разбирая нашумевшую «Оттепель», совершенно «смещает» ее автора, Илью Эренбурга, уже в первой фразе статьи: он «перестал быть литератором, приняв роль коммунистического пропагандиста, причем выказал в ней недюжинную энергию, дипломатическую ловкость и необычайный цинизм», «Оттепель, конечно, не художественное произведение», «это — социальный заказ, написанный в дни премьерства Маленкова, когда — и заграницей и внутри страны — было много шума о наступлении политической весны». Совершенно иначе оценивает Гуль тоже нашумевшую повесть В. Дудинцева «Не хлебом единым»: «у прозы Дудинцева много недостатков», но «сила и значимость романа в том, что в нем ясно противостоят друг другу две борящиеся России», «вся духовная направленность его романа от традиций былой вечной русской культуры». Показательно, что в отношении романа Н. Нарокова «Мнимые величины», написанного на тему Артура Кестлера и Виктора Сержа —

большевизм и человек, Гуль находит тон объективного демонстрирования его качеств суммируя так: «...книга талантливая и политически нужная. Она была бы лучше, если бы из нее вырвать некоторые белые нитки нравоучительства». У Андрея Седых, в его сборнике рассказов «Замело тебя снегом, Россия» справедливо подчеркнуты «точный выразительный язык» и «вкус к прозаическому повествованию».

Качества Романа Гуля, как критика, особенно ясно показаны в его, по истине, прекрасной речи-статье о прозе Леонида Ржевского. Он глубочайше прав, утверждая достоинства этого «настоящего, оригинального художника», творчество которого расцвело на наших глазах. Я рекомендую перечитать разбор Гуля и тексты Ржевского. И хотел бы (пользуясь случаем) сказать, что проза Ржевского все крепнет и углубляется, достигнув в «Симпозиуме» («Новый Журнал», № 109) подлинной гениальности в художественном диалоге с Достоевским, стократно оправдав характеристику прозы Ржевского нашим критиком.

Что же?, спросит скептический читатель: неужели все у Гуля «выше похвалы», ничто не подлежит оспариванию? Вопрос законный. Лично я гораздо выше ставлю поэзию (и личность) Маяковского и был бы строже в оценке книжки С. Космана «Маяковский. Миф и действительность», — боюсь, что в данном случае и на Космана и на его критика повлияла вся та беспардонная шумиха, которая лишает возможности увидеть «истинное лицо» этого очень талантливого и несчастного поэта. Затем я не убежден в том, что поэзия Владислава Ходасевича может быть сведена к «нарциссизму». Анализы Гуля в данном случае меня потрясли, наблюдения остры, но темы и характер поэзии Ходасевича гораздо более глубоки, более сложны и окрыленнее, чем показаны в этой работе 1923 года. Наконец, я не могу согласиться с «кинжалными ударами» мимоходом, «из под плаща» в спину Набокова. Я вполне понимаю чувства огорчения, что Набоков, так сказать, «на зло всем» может заниматься темами «вне высоких проблем», но я считаю, что это его писательское право и что видеть в «Лолите» только «бульварные темы» (говоря дореволюционным языком) никак не покрывает ее замысла и содержания. Набоков — большое явление и русской и английской

прозы. И его «Лолита» гораздо сдержаннее, чем — к примеру — «Гаврилиада».

Но имеют ли значение все эти несогласия или оговорки? Роман Борисович Гуль, со всем блеском словесного огромного своего дара, показал нам в этой богатой мыслью и чувством книге то «*самое важное*», чем живет этот наш удивительный современник и чем призывает жить и русских зарубежом и «в отечестве сущих». И то, что он не одинок в своем служении-борьбе он чудесно рассказал в своей статье о Юлии Марголине, — превосходном образце *художественной* прозы Романа Гуля.

Ник. Андреев, Кембридж

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

Наклеены на переплеты
хозяйственные ярлыки,
изнеможеньем позолоты
поблескивают корешки.
Шкаф — целая библиотека:
в него — со дна и до верхов —
четыре разнобойных века
российских собрано стихов.
Вот классики. Вот акмеисты.
Романтики. А вот — левей —
свиваются конструктивисты
в литературный суховей.
Здесь — в кожаных томах тисненых
вздыхает символовистов ряд,
а там — Бурлюк, Ильязд, Крученых
икают, но не говорят!
Один с грамматикой не ладит,
другой и на ногах нетверд...
Обоих по обрезам гладит
хозяин, благостен и горд.
А я стою, напуган склепом,
где рядом братья и враги,
где вместе светлое с нелепым,
где выше Пушкина — Айги.
И думаю: горячий, страстный
друг или недруг, я поэт,
а не историк безучастный
и не литературовед.
Зато, склоняясь в часы досуга
к моей вечерней тишине,
поэты избранного круга
дружней поддакивают мне.

Валерий Перелешин

АМУР — ШАНХАЙ — ФИЛИППИНЫ — ПЕКИН

(1923—1937)

22 ноября 1922 г. красные войска вошли во Владивосток и заняли последнюю российскую территорию, где еще не существовало большевицкой власти. Такой исход долгой борьбы можно было предвидеть уже после Вашингтонской конференции 1921 г., когда Япония должна была, под давлением союзных держав, победивших Германию, согласиться на вывод своих войск с русского Дальнего Востока. С другой стороны, последнее белое правительство «воеводы земской рати» М. Дитерихса не пользовалось никаким авторитетом даже в правых кругах. Часть населения, главным образом, остатки капитулировавшей армии, эвакуировалась на Филиппины и в Шанхай.

Массовой эвакуации, как на юге России, здесь не было; это зависело от наличия военных кораблей, связей с армией, политических симпатий. Поэтому оставались на месте многие люди, будущее которых было туманно, как например, известный в военной и политической среде ген. Болдырев. лично мне выбирать не приходилось, так как я тогда жил вне Владивостока. Что сулил всем нам приход большевиков? Во всяком случае, никто не ожидал повторения опыта 1918-19 г. Была провозглашена и развивалась политика Нэпа. Соседями России на Дальнем Востоке были Китай и Япония, и Советский Союз, как будто, заботился о своей репутации в их глазах.

Оставляя пока решение основного для меня вопроса «быть или не быть», я должен был подумать о ближайшем будущем. Совместно с двумя молодыми людьми мы решили организовать компанию для скупки золота на Нижнем Амуре; там было много заброшенных приисков, куда можно было привлечь достаточно рабочих, при условии снабжения их припасами и товарами. Это представлялось возможным и даже желательным, и на это дело можно было получить банковский

кредит. К зиме все было готово, и началась наша операция на Нижнем Амуре.

Здесь я нашел старое сибирское крестьянство, уже оправившееся после погрома, произведенного шайкой Тряпицына в 1920 г. Прикрываясь левыми лозунгами, Тряпицын со своей шайкой в 1920 г. прошел по всему Нижнему Амуру, разоряя, грабя и убивая на своем пути; перебил бывших в Николаевске н/А. пленных японцев; прошел вверх по р. Амгунь и был в конце концов убит собственными приверженцами. Здешние крестьяне, жившие на Нижнем Амуре большими семьями, хотя не сеяли и не жали, но имели всего вдоволь, благодаря рыбной ловле летом и пушному промыслу зимой. Но меня большие интересовали золотопромышленность и ее деятели. Это были предпримчивые, но одержимые люди; они верили, что найдут богатое золото, порой терпели неудачу, затратив большие средства на разработку, и приходили к разорению, а иногда и к самоубийству. Золотая лихорадка (не то же, что жажда золота) охватывала, как промышленников, так и старателей. Для меня имело значение еще другое обстоятельство: здесь, в глухи тайги, не чувствовалось давление Советского государства. Однако нашей горной свободе, как и всей новой политике, пришел все-таки конец, и к 1925 г. наше предприятие прекратилось, а его участники, после сведения счетов и уплаты долгов, остались ни с чем.

Предо мной стал вопрос — оставаться или уходить, и я решил его в последнем смысле, как по политическим, так и по личным мотивам. В моем уходе за границу (в Китай) не было геройства, но опасность была. В этом смысле массовая эвакуация легче для участников, люди в ней уходят с родины вместе и строят новую жизнь тоже вместе. В моем случае требовалась помочь контрабандистов, был возможен арест пограничниками и даже прямое предательство. Путь из Владивостока лежал сначала по железной дороге, а потом по грунтовой до русского селения на китайской границе; самый переход осуществлялся ночью, но так, что я мог взглянуть последний раз на родную землю и, переправившись через реку, попал в китайское селение. Здесь меня встретили неприятности от китайских властей и соотечественников, практиковавших вымогательство.

Дальше надо было идти целый день до станции Погранич-

ной, и не всегда по прямой дороге, потому что приходилось избегать китайские населенные места. От долгого пути я устал, погода была очень жаркая, томила жажда, а попадавшаяся вода могла вызвать заболевание. Что и случилось. Но добрые знакомые, еще по Владивостоку, помогли мне справиться с болезнью и легализировали мое положение.

Не буду распространяться о своих впечатлениях на новом месте. Харбин, каким он был перед японским вторжением, описан в печати, а я пробыл здесь слишком мало, чтобы судить об этом как-никак русском городе в Китае. Скажу лишь, что уже в то время высшая власть, все управление, суд, полиция и, конечно, войска были в китайских руках (собственно, маньчжурской клики); лишь Китайская Восточная ж. д., основа маньчжурской экономики, была под русским (советским) и китайским контролем; работать на ней могли только советские и китайские граждане. Но была обширная группа русских беженцев, хлопотавших о советских паспортах, чтобы попасть на железнодорожную службу, так называемые — квит-подданные (от слова квитанция). Конечно, не для того, я оставил родину и выбрался из Владивостока, чтобы искать советскую службу в другом месте.

Три культурных учреждения в Харбине, тоже связанные с железной дорогой, привлекли мое внимание и были мне полезны. Здесь была обширная публичная библиотека, где первый раз я увидел заграничные эмигрантские журналы и книги. Издавался ежемесячный журнал «Вестник Маньчжурии» с широкой программой, где печатались и статьи общего характера. Было «Общество изучения Маньчжурского края», печатавшее в своих изданиях также материалы по русскому Приамурью.

Но при первой возможности я перебрался в Шанхай. Тогда это был самый большой европейский порт на Тихом океане, который привлекал меня уже в первые годы жизни на Дальнем Востоке. Шанхай ни в какой мере не зависел от китайских властей, а господа положения, англичане и французы, не требовали никаких разрешений на въезд. Кроме англичан, живших на международном сеттлементе, и французов на их же концессии, здесь существовала большая русская колония (20.000), начало которой положили русские, эвакуировавшиеся из Владивостока; они помещались преимущественно на

французской концессии. Был еще третий город по соседству — китайский Шанхай, куда русские никогда не заглядывали, да и не за чем было; эмигрантский паспорт можно было получить от китайских властей, проживая в иностранном Шанхае. Он признавался всеми консульствами и был лучше нанセンского паспорта в Европе. Русские жили мирно и спокойно, и были тем довольны, после пережитых треволнений. Об окружающем Китае, хотя бы в том же Шанхае, ровно ничего не знали.

Конечно, русская колония не могла жить изолированно от миллионного китайского населения Шанхая. Здесь были торговые предприятия и фабрики, принадлежавшие китайским владельцам и обслуживавшиеся китайским трудом. Здесь жили богатые китайцы, искавшие безопасности под европейской властью на сettlemente и концессии. Работали также темные элементы, контрабандисты и гангстеры, процветали игорные дома и китайская проституция, при попустительстве властей. Но контакта у русских со всем этим миром, естественно, не было.

Между тем кругом развертывались события, в которые втягивались и русские. Северная экспедиция молодого тогда генерала Чжан Кай-ши дошла с успехом до Шанхая (1927), но не могла двинуться дальше ввиду сопротивления японцев. Однако проникнуть в Шанхай китайская армия вполне могла, но так как на ее дисциплину полагаться было нельзя, то европейские правительства ввели свои войска, английские и французские. Это было последней европейской акцией в колониальном Шанхае. Между тем сам Чжан Кай-ши, сблизившись с семьей Сунов, через которую он связался с шанхайскими банкирами, порвал с советскими представителями в своей армии; политический агент М. Бородин бежал, а ген. В. Блюхер пробился с военной охраной в иностранный Шанхай, где мог безопасно погрузиться на отходящий пароход. Положение советского консульства в Шанхае стало двусмысленным, а консул Козловский, «нежеланный гость», по выражению английских газет, еще ухудшил свое положение насилием над одним эмигрантом. Возмущенная группа русских проникла в консульство, произошла схватка с советчиками, консульство было подожжено, но не сгорело, а сам Козловский должен был покинуть Шанхай. Гораздо худшая участь постигла советского консула в Кантоне, где он подвергся нападению китайской тол-

пы и был убит. Советское дело в Китае потерпело поражение, и соответственно повышался вес эмиграции. При этом надо отметить, что здешняя эмиграция жила недавними воспоминаниями о России, которую она покинула только в 1923 г., и остро реагировала на усиление советского влияния.

С иностранными резидентами, которые жили и работали в английских фирмах Шанхая, русские имели больше связей, деловых и личных. Там образовался особый тип иностранного шанхайца, «шанхайлэндер», как его называли; его отличали предпримчивость в «бизнесе» и неразборчивость в средствах. Рядовые эмигранты работали в иностранных фирмах и конторах, состояли на муниципальной службе (что особенно ценилось), имели свою торговлю, содержали «бординги», т. е. сдавали комнаты, служили в магазинах, были охранниками и сторожами. Но какую бы должность ни занимал русский человек, было неписанное правило, что жизненный уровень его выше китайского, и это влияло благоприятно на его заработок. В общем шанхайская эмиграция моего времени жила зажиточно, не испытывая каких-нибудь стеснений со стороны китайских властей.

По социальному составу здешняя эмиграция отличалась от той, которая нашла себе убежище в Западной Европе. В Шанхае не было никого из русской знати, ни военных в особо высоких чинах. В большинстве сюда попали остатки Каппелевской армии, ранее проложившие себе дорогу во Владивосток. Не было тут ученых или писателей, но было немало разного рода интеллигентов, в том числе представителей свободных профессий; на некоторых из них был особый спрос, например, шанхайский симфонический оркестр включил порядочное число русских музыкантов. Посчастливилось, как ни где, русским военным; после ухода иностранных войск, возник вопрос о защите Шанхая от возможной опасности, и был сформирован русский полк, со всеми правами английской службы. Он оправдал свое назначение, когда ему пришлось обороныть Шанхай от японского наступления.

Уступая эмиграции в Европе по части культурной, русские шанхайцы имели свои достижения, в меру наличных сил. Издавались две ежедневные газеты — неполитическая «Шанхайская заря», отражавшая местную жизнь, и политическая правая газета «Слово». Было несколько библиотек, где можно

было найти заграничные эмигрантские журналы и книжные новинки. Русские охотно посещали концерты шанхайского симфонического оркестра, к неудовольствию английских отцов города, которые находили, что музыка здесь не нужна. И как везде среди русских, был хороший театр, где играли известные провинциальные артисты. Для образования детей родители располагали русским реальным училищем, директором которого был старый педагог Русанов; можно было обучать детей и во французском Муниципальном колледже и в английской Граммар Скул. Русские родители предпочитали французскую школу. Для высшего образования Шанхай не располагал такими средствами, какие имел Харбин; но русские молодые люди могли учиться в двух хороших иностранных университетах — в английском Сент Джонс и во французском Аврора.

Шанхайская эмиграция вышла из Дальнего Востока, была довольно однородна по составу, сплочена политически и, казалось бы, могла избежать раздоров, обычных в других местах русского рассеяния. Но без этого не обошлось и здесь. Во главе русской церкви в Шанхае стоял епископ Симон, монах строгой жизни, и тем более удивительно, что у человека такого немирского склада возник раздор с Воинским союзом, имевшим свою церковь. В распри были вовлечены священники и в меньшей степени прихожане. Причины распри, отнюдь не религиозной, были ничтожны.

Обстановка в Шанхае была для меня новой, знакомств было мало, я делал, что мог. Занимался преподаванием языков, в чем мне помог директор французского колледжа Шарль Гробуа, писал статьи в журналах — в английском в Шанхае и в русском в Праге. В то же время я привел в порядок свои материалы о Дальнем Севере и подготовлял книгу о его колонизации. Прожив два года в Шанхае, я решил в 1928 г. отправиться на Филиппины. Почему?

Теперь, осмысливая прошлое, я сказал бы, что эта страна привлекала меня, как единственный пример прочной европейской колонизации в Азии; а тогда, как сказал поэт, вероятно, «мной овладело беспокойство, стремление к перемене мест». И в самом деле, приехав на Филиппины и поселившись в Маниле, я нашел здесь много любопытного для путешественника и поучительного для историка. Я оказался в живом музее, где была представлена старая Испания, 400 лет владевшая этими

островами и оставившая в наследство жителям (тагалы, главное малайское племя) испанскую культуру и католическую церковь, отчасти нравы и язык. Но Филиппины я застал в переходный период от старого к новому, когда на смену испанцам пришли американцы, со своими порядками и учреждениями, после испанско-американской войны (1898).

В Маниле мои первые встречи были, понятно, с русскими, которые совершенно естественно и там оказались. Еще в 1923 г. русские корабли, вышедшие из Владивостока под командой адм. Старка, прибыли в Манилу, где русские беженцы получили разрешение на высадку. В большинстве это были военные и моряки; и не найдя здесь применения своим знаниям и силам, они частью (600 ч.) переправились в Америку, частью разбрелись по островам архипелага. Осталась небольшая русская колония, во главе которой стоял б. морской офицер Р. Штюрмер (никак не родственник недоброй памяти министра), человек почтенный и доброжелательный.

Обращаюсь к моим испанским впечатлениям, отмечая лишь то, что бросалось в глаза. Испанское влияние замечалось прежде всего во внешних признаках, даже в самом названии страны в честь короля Филиппа II; жители, кто бы они ни были — потомки колониальных испанцев, тагалы, дажеmetis (смесь с китайцами), носили испанские имена, часто и фамилии. Испанцы в колониях не были против смешанных браков, и многие тагальские семьи высшего класса вышли из такого расового смешения. Манила построена по испанскому плану, с внутренним застенным городом; сохранился идущий от крепости к морю гласис, очень запущенный при испанцах, теперь прекрасная площадь Люнета. В городе много испанских памятников, среди которых королева Изабелла II уживаются с революционером Хосе Ризаль.

И вот среди этой старины появились теперь по американскому плану генерал-губернатор со своими департаментами, двухпалатный Конгресс, Верховный суд, провинциальные выборы. Здания были новые, но нравы остались старые. Представители в Конгрессе ругались на испанском языке, при выборах в провинциях практиковался подкуп. Благополучно сохранялась язва испанского колониализма — нечестность власть имущих и непотизм. Несколько прочно сохранились старые нравы в управлении, свидетельствует обращение к на-

ции, которое сделал новый президент Макапагаль в 1962 г., сказав, что его первой задачей является разрешение проблемы продажности и подкупности, проникших всюду в правительство.

Большое влияние принадлежало старым и богатым семьям, из таких семей вышли тогдашние политические вожди страны, среди которых выделялись сенаторы С. Осненя и М. Кезон. Еще большее влияние имела католическая церковь, к которой принадлежит 90% филиппинского населения. Можно сказать, церковь приспособила христианство к местной обстановке и старым верованиям туземцев, но это не уменьшило его силы. В Маниле были Университет Санто Томас, высшая иерархия, собор красивой архитектуры, много церквей, женские монастыри, торжественные процесии с многими тысячами участников, всем этим поддерживалась католическая доктрина.

Испанские привычки легко здесь соединялись с филиппинскими нравами, например, привычка откладывать дела на завтра вполне гармонирует с местной ленью. Испанское красноречие и вежливость повлияли на филиппинцев, которые любят говорить торжественно и с преувеличенной любезностью. Малайцы любят танцы и музыку, но испанские власти не поощряли этого и придали этому увеселению испанский характер; замечательное впечатление производит праздник, когда оркестры, выходящие из разных пригородов, встречаются в центре и наполняют музыкой всю Манилу. Даже испанский бой быков нашел здесь свою пародию в петушином бое.

Конечно, мои воспоминания относятся к концу двадцатых годов, и с тех пор наверное многое переменилось на Филиппинах. Но тогда старшее поколение еще помнило испанское владычество, а молодежь уже училась в американских школах, начальных и средних, в колледжах и в университете; сохранился испанский язык, но его вытеснял английский, и настолько успешно, что сейчас 60% населения говорят по-английски и 37% на наречии тагалы.

Мое любопытство к этой стране было удовлетворено, но не больше; работу, которая меня привлекала, я не мог найти; Китай в этом отношении представлял больше возможностей, и в 1930 г. я вернулся в Шанхай. Надежды мои оправдались; через год я получил предложение от университета Тсин-Хуа преподавать там новую русскую историю и еще другой отдел истории.

Я отправился в Пекин, где находился этот университет в 12 милях от города. Он был расположен среди обширного парка; кроме учебных зданий и богатой библиотеки, здесь же находились профессорские дома, студенческие общежития и гимназия с бассейном для плавания. Климат Пекина, несмотря на снежную зиму, совершенно подходит для обитателей средней Европы и тем более России; лето несколько жаркое, особенно когда дует горячий ветер из пустыни. Но кто искал прохлады, мог летом уехать в приморский курорт Пейтахо, на что было нужно всего 12 часов поездом. Положение университета было тем удобнее, что из него можно было легко добраться до загородных мест, которые даже до наших дней, после всех перемен в Китае, показываются туристам.

Ближе всего расположен Летний дворец, построенный императрицей Цзу-си вокруг искусственного озера; подальше парк и пагоды Сишань (Западные горы), храм 1000 Будд, где оказался и путешественник Марко Поло, могилы Минских императоров со статуями слонов, еще подальше Великая китайская стена, построенная когда-то для защиты от северных варваров. Рядом с университетом были остатки императорского дворца, разрушенного англо-французскими войсками в 1860 г. — тоже след, но на этот раз европейского варварства. В самом Пекине тоже было что посмотреть — Запретный город, где помещались императорские здания, Зимний дворец около двух больших озер с лотосами, Храм Неба за городом. Не могу не сказать, что европейские резиденты Пекина живо чувствовали очарование этого старого города с его парками, широкими улицами и площадями, низкими аллеями, громадными арками в виде ворот и памятниками. К стене примыкал Посольский квартал, обитатели которого в 1900 г. отсиживались за этой стеной от осады боксеров.

Пекин также имел значение, как образовательный центр. Здесь находились Китайская академия, богатый Исторический музей, Национальная библиотека с коллекцией старинных китайских книг; работали, кроме нашего, еще три университета: Национальный Пекинский, Фужень (католический), Енчжин (миссионерский); были еще американско-китайский и русско-китайский колледжи. Здесь же находился лучший в Китае Медицинский колледж и госпиталь, построенные на средства Рокфеллерского фонда.

Заметное место среди них занимал Национальный Тсин Хуа Университет. Он был обязан своим возникновением боксерскому восстанию, так как был создан на деньги от контрибуции, которую американское правительство вернуло Китаю на образовательные нужды. Университет был построен и организован американцами, причем он особенно расширился, когда его президентом был д-р Мей И-чи, хорошо знакомый с американской системой высшего образования (впоследствии — министр просвещения в правительстве Чжан Кай-ши). Профессора университета получили свою подготовку частью в Европе, но преимущественно в больших университетах Америки. Студенты принимались по строгому экзамену; из нескольких тысяч кандидатов в главных городах Китая проходило не более четверти. Зато окончание его обеспечивало успех в службе и даже в браке.

В университете было также некоторое число иностранных профессоров — англичане, американцы, русские, немцы; французов не было, они работали в других университетах. Среди иностранцев выделялся русский профессор С. М. Широкогоров, автор серьезных трудов по антропологии Китая, человек очень правых взглядов в политике, но передовой в науке. На историческом отделении было шесть профессоров (в том числе и я) и шесть лекторов, во главе стоял проф. Тсиан Тин-фу, один из вождей китайской интеллигенции, питавший интерес к русским делам и России; он и предложил мне преподавать русскую историю (период империи) и также вести курс истории Греции и Рима. Для ознакомления с проблематикой русской истории я напечатал книгу по русской историографии заграницей. Что касается древней истории, то этот курс мне был не труден: в Петербурге я слушал лекции и занимался в семинарах у известных историков древности (среди них — проф. М. И. Ростовцев).

В Пекине я нашел русскую эмиграцию, правда, не слишком многочисленную, но весьма непохожую на ту, которая жила в китайских портах, как Тяньцзинь и Циндао, не говоря уже о Шанхае. Здесь проживал «глава русской эмиграции на Д. В.» ген. Д. Л. Хорват. Правда, главенство его не выходило за пределы Пекина, но здесь он пользовался престижем среди русских и иностранцев, как последний представитель российской власти на Д. В., по должности главноначальствующего в

Харбине в полосе отчуждения. В Пекине долго сохранялось русское посольство и оставались еще люди, которые в нем служили; долго проживая в Китае, они могли ценить его культуру и были знакомы с его языком; поэтому они нашли себе применение в иностранных учреждениях; они или преподавали в нескольких университетах или работали как ученые, как напр., проф. Я. Я. Брандт. Другие служили опять-таки в иностранных предприятиях или были связаны с русской духовной миссией, в общем, все это были культурные люди старого склада. Имело значение и то, что советское посольство было в Нанкине, а не в Пекине, и русские резиденты здесь были свободны от какого-либо давления с этой стороны.

В Пекине находилось, в его северовосточной части, единственное в своем роде миссионерское учреждение в Китае под именем Бей Гуань. Это была Русская духовная миссия с несколькими храмами, домами миссионеров, гостиницей для приезжающих, с православным кладбищем, как это бывало и в других миссиях; но совершенно необычно было происхождение Бей Гуаня. Он возник из поселения русских военнопленных, взятых китайцами после падения Албазина на Амуре; для них была построена православная церковь. Позже, по Кяхтинскому договору 1727 г., в Пекине была учреждена Русская духовная миссия, имевшая, кроме своего прямого назначения, также и другие цели — дипломатические, научные, учебные; из ее среды в XIX в. вышло несколько знаменитых синологов, последним из которых в наше время был митрополит Иннокентий, составитель большого китайского словаря. Разрослось православное население Бей Гуаня; породнившись с китайцами, оно утратило свой физический тип, но сохранило веру и частью русский язык. Словом, это был важный русский центр в Пекине; как таковой, он навлек на себя ярость китайцев во время боксерского восстания, причем некоторые из жителей Бей Гуаня были убиты.

Тридцатые годы, по сравнению с предшествующим и последующим десятилетием, были для меня временем спокойной жизни и работы; занятия со студентами оставляли достаточно досуга, и я мог напечатать несколько книг; в летние вакации, расширяя свое знакомство с Китаем, я побывал во внутренней Монголии, Западном Китае, где видел буддийские памятники Танской династии, и на Шаньдунском полуострове, в месте

рождения Конфуция. Наконец, кончилась моя одинокая жизнь, потому что в 1935 г. я женился на Л. В. Римской-Корсаковой, вместе с которой позже мы пережили и войну и революцию в Китае.

Пока политическая жизнь в Северном Китае текла без особых событий, если не считать попытки ген. Ень Си-шана («образцового губернатора» провинции Шаньси) захватить власть в Пекине; при несочувствии дипломатического корпуса и под давлением политических и военных кругов, он должен был вернуться в свою провинцию. Это выступление никого не удивило, так как власть Чжан Кай-ши в Северном Китае вообще была слабой, а к переворотам в Китае мы привыкли; они не приводили к вооруженной борьбе и кончались либо уступками, либо подкупом.

Но настоящая гроза собиралась на севере, где японцы, воспользовавшись пустячным инцидентом около Мукдена, оккупировали в 1931 г. всю Маньчжурию, а затем создали там марионеточное государство Маньчжу-Го (Маньчжурская империя). Управлявший этой страной преемник маршала Чжан Цзо-лина, его сын Чжан Сюе-лян сдал ее без всякого сопротивления и отступил с армией в Пекин. Наш университет (и профессора и студенты) были очень возмущены нападением японцев и слабостью маньчжурских властей; один из наших лекторов даже объявил голодовку в знак протesta.

Профессора, получив образование в Америке или Европе, усвоили себе идеи западного демократизма, а в Китае, видя царившие в нем распри губернаторов и унижение страны, они становились националистами и были противниками правящих клик. Гоминдановская партия тогда еще не обнаруживала своих темных сторон, а на Чжан Кай-ши наши профессора смотрели, как на объединителя Китая; неудивительно, что некоторые из них потом получили высокие должности, начиная с нашего проф. Тсиана, который был назначен послом в Москве и позже главой китайской делегации в ОН. В печати и на митингах протesta порицалось японское вторжение и требовалось сопротивление ему. В более практическом плане правительство обратилось с протестом в Лигу Наций. Но что могла она сделать в рамках международного безправия? Она послала следственную комиссию в Пекин, но далеко японцы ее не пустили,

и она поместилась в Пейтахо писать отчет Литтона. Это было не намного лучше, чем голодовка нашего историка.

Но все это было еще терпимо, потому что Маньчжурия все же не Китай. Положение стало уже опасным, когда японцы присоединили к Маньчжу Го провинцию Же Хо в пределах Сев. Китая. Под их же давлением управление Пекином и его районом было передано в руки лиц с про-японским уклоном, как Инь Жу-кен, а в окрестностях японцами была организована большая шайка, нападавшая на железную дорогу. Теперь против японцев, а заодно и против непатриотических местных властей стали выступать наши студенты, пользуясь любимым средством — забастовкой. Иногда они атаковывали дома непопулярных членов пекинского правительства и те спасались бегством. А что же главнокомандующий Чжан Кай-ши?

Одновременно с японской агрессией на севере, шла борьба с коммунистами на юге, о которой мы в Пекине знали мало и еще меньше об этом беспокоились. К 1935 году определился успех Чжан Кай-ши, и коммунисты под предводительством Мао Цзе-дуна сделали трудный переход на дальний запад в пров. Шеньси. Несколько позже отдаленные провинции на юге признали власть правительства в Нанкине, и в 1937 г. образовался объединенный фронт, с участием коммунистов, против японцев. Но был ли Китай психологически готов, чтобы начать войну? Воинственное настроение возрастало, чем дальше оно было от японцев. Население на севере было против японцев, но не думало о Маньчжурии и держалось осторожно; на западе, где были отступившие маньчжурские солдаты, хотели войны; еще дальше, в Шанхае, население было особенно воинственно. В чисто боевом отношении японскую и китайскую армии нельзя было сравнивать, и командование последней не питало никаких иллюзий на этот счет.

Пекинские студенты решительно стояли за войну; собравшись массой на вокзале, они остановили поезд, идущий в Нанкин, и требовали проезда к правительству. Администрация уступила, и студенты прибыли в Нанкин, где получили доступ к Чжан Кай-ши. Выступив перед собравшимися в Военной академии студентами, он объяснил тяжелое положение китайской армии, отметил недостаток образованных офицеров и вызвал желающих готовиться на такие должности. Из всех присутствующих откликнулось только два человека!

Китай не мог воевать, но война была неизбежна. Наш университет готовился к эвакуации, отправляя ценное имущество и часть библиотеки на юг. Все же мы закончили 1937 учебный год. Война началась, как было обычно у японцев; произошел «инцидент» около Пекина, тотчас за ним наступление японцев, затем настоящие бои и взятие Тяньцзина. Университет спешно переводился на юг, семьи пока оставались в Пекине, другого выхода не было. К счастью, хотя не без труда, моя жена через год выбралась из Пекина, а затем ей, с малолетней дочерью, предстоял долгий путь через Гонконг и Ханой в Кунминг, где тем временем поместился наш университет. Это место было недалеко от границ Аннама и Бирмы.

И. И. Гапанович

КГБ В ДЕЙСТВИИ

Снова началась тщательная подготовительная работа. Для Кунавина это был «сизифов труд». Прежде всего он встретился с Георгием Мдивани, одним из ведущих советских драматургов и киносценаристов (стопроцентный «патриот» — опора советской власти), которого я лично очень хорошо знал и включил в список, будучи уверен, что *этот* на кооптацию пойдет даже охотно. Я не ошибся. Кунавин провел с ним соответствующую беседу и Жорж тотчас же оказался в моем распоряжении. Интересно, что вращаясь в одних и тех же творческих кругах, занимаясь одним и тем же ремеслом, штампую партийные пьесы и сценарии, мы с ним никогда не затрагивали в личных разговорах наши «вторые лица». Тут строго проходила черта разграничения.

У Жоржа была жена, Таисия Савва, в прошлом известная артистка эстрады (номер ее назывался «художественный свист», то есть она свистела). В юности, должен признаться, я был в нее влюблен. Но теперь она была уже в возрасте, вышла на пенсию, но оставалась очень милой собеседницей. Кстати, она неплохо владела французским языком. Привлекли к делу и Тайчика (Таисию). Соответствующий разговор имел Кунавин и с Надей Чередниченко и с Ларисой Кронберг-Соболевской. И они без возражений согласились быть «кооптированными» работниками КГБ и были зачислены в мою команду.

Накануне условленного дня, мы с Кунавиным поехали в ресторан «Прага» к директору, который был в прямом подчинении у КГБ. В кабинете директора, при закрытых дверях, мы обсуждали все хозяйствственные вопросы. Он выделил нам двух официантов, также подчиненных КГБ. И отвел нам специально оборудованный, самый лучший кабинет в ресторане — «Ротонда».

См. кн. 109, 110 «Н. Ж.».

Кунавинские помощники привезли новенький магнитофон «Грюндинг» с джазовыми записями. (Занятно, что магнитофон этот принадлежал одному из сотрудников Кунавина по имени Энвер, который недавно вернулся из-за-границы, работая там по линии 1-го Главного управления, ну и, конечно, подбирах-лился. Он умолял меня самого включать и выключать магни-тофон и следить за тем, чтобы никто его не испортил).

По этажам ресторана Кунавин расставил своих агентов с белыми чубчиками, в одинаковых синих костюмах. Он и сам, в новом синем костюме, расхаживал по коридору четвертого этажа, на котором была «Ротонда». Стол был накрыт по-царски. Вся эта операция в ресторане «Прага», вероятно, обошлась КГБ в тысячу рублей старыми деньгами. Ведь присутствовало все же десять человек: Мдивани с женой, Лида, Надя, Лора, я и французов две пары — Дежаны и Жерары.

Я встретил гостей внизу в вестибюле ресторана со стороны улицы Воровского и поднялся вместе с ними на четвертый этаж в лифте.

Вечер прошел отлично. Знакомство с самим послом на этот раз было прочно закреплено. В игру вошли новые люди. Морис, конечно, обратил внимание на трех русских красавиц: Хованскую, Чередниченко и Кронберг-Соболевскую. Он начал подчеркнуто благожелательно относиться ко мне. Что касается Марселя Жерара, то он во всем подражал своему патрону. Было очевидно, что Морис покровительствует Марселию (со слов Веры Ивановны, позже, я узнал, что между ними были какие-то отдаленные родственные связи). Во всяком случае, советник по культурным вопросам записал наши личные телефоны, пригласил всех нас к себе в посольство и всячески выявлял свое расположение.

Марсель Жерар с первого знакомства, да и впоследствии, показался мне человеком во всех отношениях приятным, но духовно ограниченным, чиновником. Мне известно, что он даже написал об СССР книгу и снабдил ее множеством фото-иллюстраций. Но я убежден что, пробыв в Советской стране несколько лет, Марсель увидел лишь внешнее, показное, вглубь жизни наших людей он не проник, да, может быть, и не старался. Шоры посольского службиста и процветающего французского буржуа были тому помехой. Не к месту будь сказано, на мой взгляд, самым проницательным и духовно емким чело-

веком во французском посольстве была все же Мари-Клер. Порой ее короткие и своеобразные замечания были столь не-отразимы и точны, что я диву давался. Видимо ей помогала во многом интуиция. Жена же Марселя Жерара, очень симпатичная француженка с несколько удивленным взглядом, была матерью семейства, говорила лишь по-французски, поэтому мы только и могли что обмениваться улыбками. Потом я узнал и детей Жерара, сына и дочь. Встретившись с ними на одном из приемов и немного поговорив с ними, я понял, что эти молодые пойдут куда дальше, чем родители. Они запомнились мне остротой суждений, наблюдательностью.

Вечер в «Ротонде», повторяю, прошел отлично и приблизил меня к послу. Морис вел себя, как светский жуир, легко, непринужденно. Он ухаживал за дамами, танцевал с ними, был галантен, остроумен. Надо сказать, что посол вообще отличался чувством юмора, хоть юмор его бывал иногда грубоват и всегда сдобрен «клубничкой». Во время его анекдотов дамы были вынуждены стыдливо опускать глаза, а Мари-Клер, зная «слабость» своего мужа, обычно пытаясь перебивать его или громко и нарочито смеялась в пикантных местах, чтобы своим смехом заглушить отдельные словечки. Но Морис достигал своей цели, повторял их несколько раз, глаза его при этом суживались, превращаясь в две крохотные щелки, щеки округлялись, и смеялся он сам беззвучно, одними губами.

Тамадой, то есть хозяином стола, был, конечно, Жорж Мдивани, грузин, веселый и велеречивый. Он мастерски произносил гости: политические, идеологические, патриотические, лирические и пр.

Объяснялись мы на трех языках: русском, французском и английском. И Морис с Мари-Клер и Марсель Жерар уже пускали в ход свою русскую речь.

При расставании Морис пригласил всех нас к себе в посольство на обед. Это было именно то, чего Грибанов и хотел.

После того, как мы разъехались, в «Ротонду», как мне позже рассказал Кунавин, проникли его агенты. С ними осталась Лора Кронберг-Соболевская. Надо же было «доедать» и, главное, «допивать». А водки, коньяку и вина было более чем достаточно. Кутеж «плебеев» длился почти до рассвета и так бурно, что, в результате, у кого-то из агентов, то ли у Лоры,

то ли у «официанта», пропали ручные часы. Словом, Кунавину пришлось расхлебывать эту скандальную историю.

На встрече в «Ротонде» я лично убедился в том, что у посла действительно есть ахиллесова пятка и пятка эта — женский пол. И тем не менее, как я указал в рапорте, в тот вечер Морис не обнаружил какого-либо особого предпочтения ни к одной из наших трех молодых дам. Он был, так сказать, ровен в отношении ко всем трем. КГБ предлагало ему на выбор: бери, не стесняйся. Но он, видимо, решил не торопиться. Мне нужно было соединить посла с той дамой, на которую он «укажет» пальцем и облегчить ему сближение с ней, учитывая множество трудностей, связанных с его высоким положением, присутствием жены и *советскими* условиями жизни. Конечно Мари-Клер весьма осложняла дело, ибо она была не то чтобы ревнива, а просто оберегала мужа от всяких промахов. Я думаю, что она даже предупреждала его об этом. И думаю, что это было именно так, потому что и Кунавин и Вера Ивановна уж очень не взлюбили Мари-Клер в то время.

Собственно, как я уже заметил, для того, чтобы *отвлекать* Машеньку от Мориса и существовала Вера Ивановна. Это была ее прямая задача. Кстати, я помню, как-то Мари-Клер спросила меня между прочим — знаю ли я в министерстве культуры СССР переводчицу Вера Ивановну Горбунову. Будучи предупрежден Кунавиным о возможности такого вопроса, я ответил утвердительно.

В те времена Вера Ивановна стала «близкой» подругой Мари-Клер. В результате этого ей часто приходилось «отдыхать» и «веселиться». Днем она была майором государственной безопасности и сидела на Лубянке, а по вечерам она трансформировалась в жену большого советского босса. Однако бывали моменты, когда Вера Ивановна уставала от Мари-Клер. Особенно зимой. Ведь француженка на лыжных прогулках была неутомима, а Вера Ивановна, женщина «в теле», быстро выдыхалась, идя вслед за ней. К тому же почти каждая лыжная вылазка заканчивалась для Веры Ивановны весьма печально: она простужалась, заболевала. А Мари-Клер чувствовала себя превосходно.

Замечу, что Вера Ивановна в разное время по-разному отзывалась о Мари-Клер. Когда та не мешала Грибанову-Горбунову в его делах с Морисом, она расхваливала ее на все

лады, но нередко ругала чуть ли не самыми последними словами, называя жадной, расчетливой, бездушной. Когда дела шли плохо, Кунавин крыл и посла на чем свет стоит. Чего только он не говорил! Главным образом все сводилось к меркантильности. Кунавин рассказывал мне, например, будто посол с женой, готовясь к приемам, экономят продукты, а деньги кладут себе в карман, после же ухода гостей запирают от прислуги остатки еды и т.д. Честно говоря, я в это не верил.

Но вот, наконец, состоялся и обед во французском посольстве. Первый званый обед. А сколько их было впоследствии...

Мы уже обнимались, как закадычные друзья. Шумно веселились в роскошных залах этого красивого особняка в стиле «рюсс» на Якиманке (теперь улица имени Дмитрова). Ели знаменитый луковый суп, (его наверное едал и Людовик четырнадцатый!), парижских куропаток, пили мартини, шампанское, бургундское... Меня пленили алые розы на обеденном столе, которые менялись каждый день. По словам Мари-Клер, команда самолетов «Эрфранс» каждый день привозила Дежану парижские розы. Это было великолепно! Все в этом особняке было элегантно, привлекательно, но вместе с тем просто и уютно. А какую чудесную музыку мы слушали, сидя в гостиной. У Мари-Клер была замечательная коллекция пластинок.

Мы, советские уродцы, я думаю в разные минуты, но все чувствовали одно и то же: нам было тут хорошо и мы бы хотели, чтобы наша жизнь протекала бы в таком же окружении, забыв, разумеется, на мгновение о политике, идеологии и прежде всего о том, кто мы и зачем мы тут. А ведь на деле все мы были марионетками генерала Грибанова. Все. Впрочем, может быть, Таисия Савва не знала подноготной, может быть, Жорж не открыл ей своей беседы с Кунавиным в гостинице «Москва», может быть, она только догадывалась о происходящем.

И снова я мог доложить Кунавину, что обед был в парадном зале посольства, перечислить блюда, вина, но я не мог доложить начальнику о том, что Морис «положил» глаз на Чередниченко, Кронберг-Соболевскую или Лидию Хованскую. (Предпочтительна была последняя). Морис явно выжидал чего-то? Но чего?

Тут я должен сделать небольшое отступление. Я не помню точно, случилось ли это на первом званом обеде или позже,

но мы пили за столом за здоровье нового главы французского правительства, президента Франции генерала де Голля. Это был праздник для посла. Это был, между прочим, не меньший праздник для Грибанова. От Кунавина и Веры Ивановны я узнал, что после прихода к власти де Голля положение Дежана упрочилось и он может надеяться стать министром иностранных дел Франции, так как уже был комиссаром по иностранным делам в эмигрантском правительстве де Голля в Лондоне. КГБ подчеркивал близкие личные отношения между Дежаном и де Голлем. Не знаю насколько это соответствовало истине. Тем не менее, игра укрупнялась. Замысел Грибанова становился фантастически большим, хотя увеличивалась и рискованность всей операции. Но ведь за спиной КГБ, в данном случае, был Никита Хрущев.

Отмечу, что по моим наблюдениям, ни Дежан ни Мари-Клер не спекулировали на своих особых отношениях с новым французским президентом. Чувство такта им не изменяло. Только однажды они, показав нам «гостевые комнаты», находившиеся в тыльной части посольского особняка, изящно декорированные, сказали, что тут генерал де Голль, если он захочет посетить Москву, будет жить.

Но вернемся к операции.

Неожиданно в действие вступила случайность. На Кузнецком мосту открылась выставка грузинского художника Ладо Гудиашвили. Я его хорошо знал, ибо он дружил с моим отцом и бывал у нас дома в Тбилиси. Я любил его творчество, которое отличалось исключительным своеобразием: редким слиянием чего-то остро национального с западным модернизмом. Ладо не был поборником «социалистического реализма», он учился в молодости в Париже, а по возвращении уже в Советскую Грузию, оказался в опале, постоянно подвергался критике официальных лиц, хотя и пользовался большой популярностью в широких кругах интеллигенции. Его любил даже Мдивани, несмотря на то, что в творческом смысле их разделяла бездна.

Выставка Ладо Гудиашвили на Кузнецком мосту очень быстро была закрыта, так как несмотря на последний этап «оттепели», по мнению наших идеологов, она вызывала у москвичей «нездоровый» интерес.

Именно Жорж подал мне идею: пригласить на эту выставку Дежана и Жерара. Кунавин сразу схватился за это пред-

ложение. Оно понравилось и Грибанову. В то время Вера Ивановна увезла Мари-Клер, кажется, в Ленинград. Посол был один. Решили, что сопровождать его на выставке во время осмотра работ Гудиашвили будет кроме меня и Мдивани и в качестве переводчика Лида Хованская.

Я позвонил Морису. Он сразу же согласился и в условленный час приехал в выставочное помещение, в сопровождении Марселя Жерара. Посол приехал на своем «Шевроле» с флагжком Франции, а Жерар на собственном «Ситроене».

Это был подлинный праздник для старого и заслуженного мастера кисти. Шутка ли, его выставку посетил сам посол Франции, любимой им Франции, страны, в которой он провел, может быть, лучшие годы своей молодости. Ладо очень благодарил меня и Жоржа за то, что мы это устроили. Ах, если бы он знал, что это устроил КГБ! И если бы он знал для чего это было устроено!

Морис и Жерар провели на выставке часа полтора. Объяснения давал сам Ладо по-французски. Иногда вставляла фразу-другую Лидия Хованская. Ладо чуть не прослезился, когда французский посол и советник по культурным вопросам остались в книге отзывов свои восторженные записи.

Провожая французов, я вышел на шумный узкий Кузнецкий мост. Лидия вышла вместе со мной и у самой машины Мориса она, очень мило улыбнувшись и обратясь к Дежану, попросила его подвести ее домой. И вот ради этого и была осуществлена вся эта операция с посещением выставки художника Гудиашвили. Только ради этого. Разумеется, Морис галантно открыл перед Лидой дверцу «Шевроле», за рулем которого сидел «наш» Борис. Мы простились. Дежан повез Хованскую домой.

Что было дальше?

Если бы Морис был послом в Англии или в Бразилии, то дальнейшее вас, читатель, вряд ли бы интересовало, да и вряд ли бы появилась на свет Божий эта книга. Если бы он жил в Англии или в Бразилии, не встал бы и вопрос о его безопасности. Но, увы, Дежан был послом в СССР. И это резко меняло дело.

По рассказу Кунавина, а потом и самой Хованской, дальше произошло следующее: посол довез Лиду до ее дома (угловой дом на Внуковском шоссе, вернее у начала этого шоссе).

Пришлось въехать в шумный московский двор новостройки. Лида, конечно, пригласила посла зайти к ней в квартиру на чашку кофе. Квартира случайно оказалась пустой, то есть без детей. А почему не посетить жилье рядовой советской женщины? Вероятно так подумал Морис. А, может быть, он подумал и иначе. Однако, в том или ином случае, Хованская не была *рядовой*. О, если бы рядовые жили так, как жила она!

Словом, Борис ждал в машине часа два. В течение этого времени Лида стала любовницей Дежана.

Дело в шляпе. Надо полагать, что Грибанов уже радостно потирал руки, — добыча уже в ягдташе.

Лида еще несколько раз встречалась с Морисом, он опять приезжал к рядовой советской женщине в то время, когда дети ее были в школе. Связь сделалась прочной. Оба отлично играли роли любовников, ни единым жестом или взглядом не выдавая себя тогда, когда мы все оказывались вместе за луковым супом, в том числе и Мари-Клер. Лида не скрывала это от меня, видя во мне, как бы «старшего». Она сказала мне даже, что посол как мужчина недурен и что с ним весело и приятно.

Естественно, что Чередниченко и Кронберг-Соболевская отошли на задний план. Все исполнялось ведь по нотам. Выбор пал на Хованскую. Но вот спустя две-три недели все резко изменилось. Почему? А потому что «маленький Наполеон» с Лубянки вдруг понял, что он сделал ошибку. Мозговал-мозговал, а вот «слона»-то и не приметил. И Хованскую пришлось отставить так, как в свое время были отставлены Валя и Рита (Зоя). Убрать ее со сцены совсем было неудобно, да и могло броситься в глаза послу, да еще и рассердить его. Нет, она просто начала реже и реже, под разными предлогами, встречаться с Морисом, как «рядовая» советская женщина, то есть наедине.

Почему же Грибанов отменил Хованскую? В чем была его ошибка?

Я могу сказать по этому поводу следующее: операции, задуманной Олегом Михайловичем, мешало то, что первый муж Хованской, дипломат по профессии, работал несколько лет в Париже и его, конечно, многие знали. Хованская разошлась с ним, как я уже писал, но у нее были от него дети. Теперь он служил в аппарате министерства иностранных дел

и занимал солидный пост. Между прочим, через несколько лет дочь Хованской вышла замуж за сына генерального секретаря МИДа Подцероба (бывшего помощника Молотова). Все это запутывало игру и делало ее рискованной. Но о чем думал Грибанов раньше, планируя операцию? Зачем он включил Лиду, если она была с «дефектом»? Или тут была накладка, но так как она была совершена высоким начальством, то все сделали вид, что так и должно быть. Может быть во время консультации Грибанова с Серовым, Мироновым или даже с самим Хрущевым, было решено не идти на провокацию с Хованской. Не исключено, что Грибанов, учитывая психологические обстоятельства, решил «приглушить» бдительность Дежана этими несколькими любовными интрижками (Валя, Рита, Лида) с тем, чтобы затем неожиданно нанести «сокрушительный удар».

Так или не так, но мне пришлось опять начинать все с начала. Кунавин приказал «предложить» Дежану теперь Чередниченко или Кронберг-Соболевскую.

Несколько слов о Наде Чередниченко.

Она давно мне нравилась. Еще когда я знал ее только по экрану кино. У меня с ней были долгие и весьма зигзагообразные отношения. Она была очень красива, но по характеру это была эгоистичная и высокомерная женщина. Ее в жизни интересовало, по-настоящему, одно: карьера. Между нами не было близости. Мне казалось, что ее все же можно изменить более глубоким чувством. Но она о существовании такого, кажется, и не знала.

Надя была женой известного советского конструктора, генерала Никулина, который содержал ее в роскоши, но вместе с тем, вероятно, и погубил ее внутренне, ибо он, как говорили, был ненормальным — эротоманом. Он изменял Наде с первой попавшейся бабой. Она родила от него дочь и вскоре разошлась с ним. Их развод был скандальным, о нем ходили многочисленные слухи в московских артистических и кинематографических кругах. Надю обвиняли в сутяжничестве, Никулина — в кляузничестве и т.д. В результате судебного процесса, Надя получила от Никулина, в виде компенсации или дележа имущества, отдельную двухкомнатную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. Первым мужем Чередниченко был

киноактер Иван Переверзев, человек одаренный, но пьяница и дебошир. От Ивана у Нади был сын.

Я помню время, когда я серьезно думал о том, чтобы жениться на Чередниченко. Но судьба уберегла меня. Это сделал кинооператор Петя Тодоровский из Одессы. Через полгода, правда, они разошлись. И вот тут-то я и включил Надю в работу по линии КГБ. Признаюсь, во мне продолжало жить какое-то странное чувство к ней, она все еще мне нравилась. Когда же она стала членом моей «банды», я уже должен был быть более или менее осторожен в личных отношениях с ней. Однако, порой, я выдавал себя. Может быть, Морис это заметил, во всяком случае он был более сдержан в отношении Нади. Я думаю, это в известной мере и определило в дальнейшем выбор посла. Впрочем, постаралась и сама Лариса Кронберг-Соболевская.

Лору я знал давно. Как я уже заметил, мой двоюродный брат, профессор химии, познакомился с ней случайно и у них был роман. Он действительно любил ее и она, быть может, тоже любила его, но помыкала им. Лора была взбалмошная, своюенравная, совершенная богема. Но в ней было уйма даров, она была хорошая актриса, отличная шахматистка, превосходная картежница, приличный математик, поэтесса. Бросив моего братца, она сошлась с киносценаристом Помещиковым, изломала ему жизнь, разбив семью, бросила Помещикова, сошлась с каким-то боксером, а в промежутках у нее были разные актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и пр. Лора славилась в наших кругах своим темпераментом.

В то же время, она была совершенно неприспособленной к жизни. У нее не было ни кола ни двора. Родители ее и брат жили в Подольске, а она снимала крохотные комнатушки-чуланы в разных районах Москвы, с трудом добиваясь прописки. К слову будь сказано, Лора была небрежна в туалете. Когда мы ездили на приемы в посольство, мне приходилось предварительно как следует осматривать ее наряды.

В то время, когда Лора вошла в нашу игру, у нее начался очередной роман со старым советским кинорежиссером Файнцимером. Она встречалась с ним в своих закутках. Часто, приезжая за ней, я заставал у нее Файнцимера и, несмотря на его присутствие, увозил ее из дома.

В общем Лора Кронберг-Соболевская была существом не-

обыкновенным и я лично все время советовал Кунавину пустить в ход именно ее.

Было много, очень много самых разных приемов во французском посольстве и личных встреч с Морисом и Мари-Клер. Я настолько стал у них «своим» человеком, что они приглашали меня даже на обеды и ужины, устраивавшиеся в честь представителей торговых делегаций, финансистов, технических экспертов и других гостей из Франции. Разумеется, я бывал у них, когда приезжали артисты, режиссеры, продюсеры, художники, музыканты и пр. Иногда посол приглашал и Георгия Мдивани. Вместе с Жоржом нам было полегче. Ведь все же каждый визит к французам стоил нервного напряжения, ведь каждый раз он согласовывался с Кунавиным, ставились определенные задачи, после встреч писались рапорты. (Мне вспоминаются, например, встречи с киносценаристом Спааком, с киноактером Жаном Маре, с кинопродюсером Минушкиным...)

Но вот однажды, по приказу Кунавина, я пригласил Дежанов на загородную прогулку и после этого на ужин в ресторан «Волна», в Химкинском речном порту.

Было решено, что в этот вечер Лора проявит активность в отношении Мориса и условится с ним о свидании. В гостинице «Москва» в моем присутствии это обсуждалось с Кунавиным. Лора была полна энтузиазма. Мне поручалось создать необходимую атмосферу и всячески ей содействовать.

Уже у здания французского посольства было сделано так, что Мари-Клер пересела к нам в машину (это был большой ЗИМ, который, по басне, я одолжил в министерстве культуры), а Лора села в машину Дежана с флагжком и они всю дорогу ехали вдвоем — она и Морис. С нами были Жорж Мдивани с Тайчиком и, кажется, Чередниченко.

Мы отправились в район Планерной. Мне было интересно, как будет реагировать Мари-Клер, когда мы будем проезжать мимо дачи Серова в Машкино-Куркино, рядом с которой стояла дача Микояна. (Во времена Деканозова я часто бывал на этой даче, играл в бильярд, смотрел кинофильмы и пр.). Замечу, что никто из КГБ не знал о том, что Рита (Зоя) рассказала мне о том, где устраивались попойки Горбунова. О том же, что Серов сразу после расстрела Владимира Деканозова, захватил эту дачу я знал стороной.

Мари-Клер ни словом не обмолвилась о даче Горбунова,

когда мы проезжали мимо нее, а наверное она тут бывала не раз, когда Грибанов устраивал «семейные» вечера, приглашая Мориса с женой.

Где-то на опушке леса мы вышли из машин, погуляли, много фотографировались. Часов в восемь мы приехали в ресторан, где заранее был заказан стол. Как ни старался Кунавин, но небольшой «прокол» все же произошел, и в самом начале вечера. Дело в том, что в зале оказались иностранные корреспонденты, американцы, а среди них, если мне не изменяет память, жена американского журналиста Стивенса, которая, разумеется, узнала Мориса Дежана и Мари-Клер и пристально наблюдала за нами в течение всего ужина. (О том, что это была жена Стивенса мне потом сказал Кунавин).

Во время танцев я видел как Лора, основательно выпив, прижималась к послу. Он же улыбался и что-то шептал ей на ухо. Мари-Клер либо не замечала этого, либо делала вид, что не замечает. Лора в этот вечер здорово разошлась. Когда я танцевал с ней, она прижималась и ко мне. Я ей шептал на ухо: «Детка, я же не посол...»

После того, как вечер наш закончился и мы распрошались с Дежанами, я повез Лору на такси домой. Но она вдруг заупрямилась и сказала, что хочет ехать ночевать ко мне, что я ей уже давно приглянулся и что она не упустит момента.

Мы поехали ко мне, предварительно купив в «Праге» шампанское. Дома Лора рассказала мне, что Кунавин от имени генерала Грибанова, обещал ей в случае удачи с Дежаном, собственную комнату в Москве, нет не квартиру, а комнату. Но вскоре, со слезами на глазах, она, забыв о Морисе и комнате, вспомнила о моем двоюродном брате, о любви к нему, потом, уже без слез на глазах, забыв о моем брате, она утешилась мной. Во всем этом было что-то патологическое, как в ней, так и во мне...

Вскоре Мари-Клер уехала во Францию. Наступило лето. Грибанов решил «форсировать события».

По специальному совершенно секретному письму председателя КГБ СССР, генерала Серова, в Госплан СССР, через посредство министерства торговли, мне за мои же деньги было разрешено купить новую машину «Волга». Это было невиданным счастьем. Я чувствовал себя именинником. Ведь в те годы только очень высокопоставленные лица, избранные из

избранных, могли таким путем приобрести автомобиль. А смертные стояли несколько лет в очереди или платили 75 тысяч рублей, покупая «Волгу» на черном рынке и рискуя почти жизнью. Моя «Волга» предназначалась для более оперативной работы с Морисом Дежаном. Заместитель Грибанова, Василий Степанович, поздравил меня по телефону, сказав: «Ну вот, теперь вы во всеоружии. Действуйте!»

(Вместе с Кунавиным, старым автомобилистом, и еще одним административным работником КГБ, мы поехали на Бакунинскую, в единственный на всю Москву автомобильный магазин, выбирать «Волгу». Кунавин говорил, что это большой подарок для меня и сам я чувствовал, что это большой подарок хотя я и платил за этот подарок собственные деньги: 40 тысяч рублей.)

Теперь я подхожу к завершающей фазе в эпопее с Лорой Кронберг-Соболевской. Должен сказать, что у Грибанова все же не было полной уверенности в Лоре (или это был его стиль — дублирование, параллельные линии) и поэтому в операцию была включена еще одна ласточка, очень красивая, молодая, ныне сотрудница «Интуриста», Ала Голубова (агентурная фамилия — Петрова). Я должен был представить ее Морису в качестве соломенной вдовы, то есть жены моряка, постоянно находящегося в плаваниях и редко возвращающегося в Москву. По басне, у Алы была отдельная квартира на Арбате в доме 41 (квартира № 14), на самом деле это была агентурная квартира КГБ, в которой я часто встречался с чекистами рангом пониже. В действительности Ала жила с тёткой, в семье, и не имела даже отдельной комнаты.

Кунавин заранее свел нас в той же самой злосчастной гостинице «Москва», где мы и обсуждали план действий, обговорили историю нашего знакомства, детали биографии Алы и пр.

Затем я позвонил Морису в посольство и сказал, что хотел бы пригласить его на пикник, тем более, что Мари-Клер, уезжая во Францию, просила меня не забывать ее мужа и время от времени развлекать его. Морис согласился. Я сказал, что со мной будут Лариса и еще одна моя знакомая...

Накануне, мы с Кунавиным ездили в местечко Крюково, это в радиусе 40 километров от Москвы, где на даче жил писатель

Георгий Брянцев, в прошлом крупный работник МГБ-КГБ, с женой, Тоней, которая тоже служила в «органах».

Кто-то с Лубянки до того позвонил Брянцеву. Он нас встретил радушно и охотно согласился помочь. Мы слегка приоткрыли ему карты и ввели в курс дела Тоню. Помощники Кунавина тотчас же привезли свежие продукты, напитки, фрукты. Я изучал дорогу, чтобы на следующий день не заплутаться.

На завтра, с Лорой и Алой, в своей «Волге», я подъехал к зданию французского посольства. Охранявшие его три милиционера, сотрудники 1-го управления КГБ, хмуро оглядели нас и это несмотря на то, что, как всегда, они были предупреждены о нашем появлении. У парадного стоял «Шевроле», за рулем которого сидел Борис. Точно в установленное время вышел Дежан. Я предложил ему поехать в моей новой «Волге», но он предпочел свой «Шевроле». Тогда решили, что с ним вместе будет Лора и она пересела к нему в машину. Мы тронулись в путь. Позже Борис рассказывал, что Дежан несколько волновался, заметив, что мы уже подъезжаем к сорокакилометровой отметке, а ведь дипломатам было запрещено пересекать ее. Но именно тут мы свернули с шоссе на проселок и вскоре оказались у цели.

Мы оставили машины на просеке и пешком пошли к даче Брянцева, это было примерно 300 метров. Шли парочками. Я с Алоей, и я уже делал вид, что Ала «моя» девушка, так как явно видел кому Морис отдает предпочтение, а посол с Лорой.

На богатой, комфортабельно обставленной даче Брянцева мы пообедали и крепко выпили. Брянцев, низкорослый, с резкими чертами лица, грубоватый в разговоре, «выдал» несколько абсолютно похабных анекдотов. Но Морис не смутился.

После прогулки и игры в мяч, мы поехали еще засветло обратно в Москву. (Морис, конечно, пригласил Брянцевых к себе в гости, но они его приглашением не воспользовались). В центре города мы рас прощались. Я повез Алу домой, а Морис повез Лору домой.

Домой?

Да, к тому времени для нее уже была оборудована квартира в доме № 2/4 по Ананьевскому переулку. Эта квартира была в бельэтаже, а рядом с ней, на том же уровне, с входом с той же лестничной площадки, находилась другая агентурная квар-

тира КГБ. (То же самое было и на Арбате). Эта система спаренных квартир предназначалась для особых операций.

Обстановка в квартире, приготовленной для Лоры, была так себе, не шикарной, но и не бедной, конечно. Дело в том, что, по басне, муж Лоры был геолог, который большую часть года проводил в далеких экспедициях. Мог ли Морис проверить это? Нет, не мог. Да и зачем ему было проверять то, что было очень удобно с определенной точки зрения. Детей у Лоры не было (и в жизни и по басне) и родственников не было. Жила она, «бедняжка», совсем одна.

Ну вот, Морис довез Лору до Ананьевского переулка. Она, как в свое время это сделала Лида Хованская, пригласила посла на чашку кофе, ну, и посмотреть, заодно, как живет *обыкновенная* советская кинозвезда. (Далеко не так, как Бриджитт Бардо, например, увы.) Морис согласился. В этих случаях он был удивительно покладист. Посол пробыл у нее недолго. Шофер ждал в машине с полчаса. И на этот раз между Лорой и Дежаном ничего не было.

Через несколько дней Морис пригласил нас к себе на завтрак. Все было чинно и элегантно. Завтрак был накрыт в зале для приемов, в правом углу, у окна. Полтора часа мы жили среди старинных gobеленов и почти музейной мебели.

Далее последовало еще одно приглашение к Брянцевым, но не в Крюково, а на их московскую квартиру, это в доме Литфонда СССР, по улице Черняховского. Дежан сначала принял приглашение, но на следующий день мне домой позвонил его переводчик с просьбой перенести дату встречи. Ох, и паника была в моей коммунальной квартире, когда раздался звонок от посла! Меня не было дома. Когда я пришел, соседка, Валентина Зевакина, с широко открытыми и явно исуганными глазами, сказала, что мне звонили из французского посольства от самого посла и просили чтобы я немедленно позвонил в посольство...

Вторая встреча у Брянцева, формально — обед, была все-го лишь промежуточным звеном, необходимым для того, чтобы укоротить отношения Лоры с Морисом, чтобы сблизить их, но сделать это плавно и естественно.

Когда мы вышли от Брянцевых и рас прощались, Морис сел в свою машину и уехал один. Ала пошла пешком к себе домой, она жила совсем близко. А Лора вскочила в мою «Вол-

гу» и велела мчаться во всю на Ананьевский. По дороге Лора сказала, что Дежан через час приедет к ней, что они об этом договорились незаметно во время обеда (вот для чего они, обеды, и существуют!) и что она не знает что делать, так как это не было обсусловлено с Кунавиным. Приехав на квартиру в Ананьевском, мы начали звонить по всем известным нам телефонам КГБ: Кунавину, Вере Ивановне, Мелкумову, даже самому Грибанову, т.е. в его секретариат. Представьте себе, читатель, телефоны не отвечали или секретари не знали, где их боссы. Так случается порой и в КГБ.

Пришлось принять решение самостоятельно, что, разумеется, в практике «органов» не рекомендуется.

Лора сказала:

— Быть или не быть?

Я сказал:

— Почти по Гамлету.

Она сказала:

— Смешно. Первый случай в моей жизни, когда это зависит не от меня, а от КГБ.

Я сказал:

— Детка, надо ластить.

И Карфаген пал.

Свидания Лоры с Морисом после того повторялись. Она опередила расписание генерала Грибанова. Ему пришлось перестраиваться на ходу. Было очевидно, что Лора захватила посла, что он увлекся ею. Да, попасть в такие лапки...

Готовясь уже к развязке, Грибанов приказал сделать паузу. Дежан звонил Лоре домой, она не отвечала. Да и встречи с Хованской были прекращены. Несчастный посол вдруг оказался вовсе без «женской ласки». Только возбудили вкус и вдруг — нате вам. Но хищный волк из КГБ знал свое дело, он рассчитывал точно, боясь во внимание даже такой фактор, как «физиология».

В течение этой небольшой паузы была проделана необходимая организационная работа. Прежде всего Грибанов вызвал из отпуска Кунавина, который за несколько дней до того уехал в Ригу, он вызвал из Казани сотрудника КГБ, Мишу, здоровенного детину, готового на все. Я слышал, что его использовали регулярно в подобных случаях, то есть когда нужна была решительность и грубая сила. Комната Лоры, на

Ананьевском, была радиофицирована, иначе говоря где-то был замаскирован очень чувствительный микрофон, провода от которого вели в соседнюю квартиру. А там был установлен коротковолновый передатчик и приемник.

Лору пожелал увидеть сам Грибанов. Эта встреча произошла в отдельном кабинете ресторана «Метрополь». Кроме Олега Михайловича, присутствовали Мелкумов, Кунавин и Миша, ну и Лора, разумеется. Все, самые мельчайшие детали были обговорены. Об этом мне рассказал Кунавин. Грибанов снова заявил, что в случае удачи Лора получит комнату в Москве. Комнату, не квартиру. Чекисты выпили шампанского. После ухода Грибанова и Мелкумова, Лора осталась в компании Кунавина и Миши, для того чтобы поближе познакомиться с Мишой, ведь он все же был ее «мужем», тем самым геологом-энтузиастом. Эту роль он и должен был сыграть в решительную минуту. А в помощь ему придавался друг — Кунавин, тоже геолог-энтузиаст.

Со мной встречался Мелкумов — уточнялась моя партитура.

И, наконец, наступил этот роковой для Мориса Дежана день.

Я снова пригласил его на пикник. Он согласился, узнав, что со мной будет Лора и Ала, «моя» Ала, я ее уже так и подавал, мое очередное увлечение, чтобы все было ясно. Договорились устроить этот пикник на открытом месте где-либо в лесной чаще. По желанию Лоры, поехали в направлении Ленинских Горок (позже я узнал, что это все было запланировано на обеде в «Метрополе»). Дежан взял с собой в машину, за рулем которой на этот раз сидел не Борис, а другой шофер, раскладную металлическую мебель: стол и стулья, огромный зонт — от солнца, ну и множество закусок и алкогольных напитков. У нас же в машине было то, что приготовили агенты Кунавина.

Было так: мы с Алой ехали в моей «Волге» впереди, за нами следовал «Шевроле», в котором сидели Морис и Лора. Километрах в двадцати от Москвы, «Шевроле» вдруг обогнал нас и вскоре свернул с шоссе на просеку, углубившись в лесную чаще. Я понял, что место это Лора знала раньше и мы расположимся именно здесь. (Потом она мне сказала, что это ее «заветное» местечко, где она встречалась и с моим

двоюродным братом, и с Помещиковым и с другими любовниками.) А рощица действительно оказалась прелестной: небольшой овражек, речушка, справа засеянное поле с уже густой рожью...

Мы устроились в тени, расселись, закусили, выпили. Шофер тоже закусил, а потом ушел гулять надолго. Должен сказать, что когда мы выехали из Москвы на загородное шоссе, я обратил внимание на машину ГАЗ-64 с закрытым кузовом, которая в отдалении неотлично следовала за нами. У поворота же с шоссе на просеку, я заметил другую машину, «Победу». Меня об этом не предупредили. Некоторые технические детали операции я узнал постфактум, но некоторые профессиональные секреты были столь очевидны, что я распознал их самостоятельно. Но Лора, я думаю, об этих машинах знала, то есть она знала, что за нами следят, с целью контроля и предупреждения каких-либо непредвиденных случайностей.

Вот одна из таких случайностей. Не думаю, что это было заранее согласовано с Грибановым. Дело в том, что часа через два в лесной рощице, метрах в ста от нас, появилась «Волга» светлосерого цвета. Лора, полуписьная, шепнула мне, что это приехал ее Файнцимер. (Да, я слышал до того, что он недавно купил «Волгу», простояв в очереди несколько лет). Лора была права. Это был Файнцимер. Он не обращал на нас внимания, вышел из машины, разделялся, оставшись в трусах и майке, открыл капот автомобиля и стал копаться в моторе. Разумеется, он заметил среди нас Лору, но сделал вид, что не видит ее. Дежан понял, что приезд неизвестного ему человека что-то означает для Лоры и вскоре, наблюдая за Лорой, понял, что это близкий ей человек. Зная нравы, существующие в кино, посол, естественно, возревновал, хотя и выказывал это в шуточной форме. А Лора «разжигала» в нем ревность. Я шепотом велел ей спуститься в овраг и последовал за ней, пока Ала флиртовала с Дежаном. В овраге я дал Лоре руководящий нагоняй. Я сказал ей, что она срывает операцию Грибанова, что она вносит в нее элемент анархии и самодельности. Я спросил, кто позволил ей сказать Файнцимеру о том, что она будет здесь да не одна, а с «друзьями»? Она стала оправдываться и ответила, что все это чистая случайность, что она ничего не говорила Файнцимеру. Однако, я думаю, она лгала. Своим женским умом она решила убить двух зайцев.

С одной стороны, вероятно, поссорившись с Файнцимером, она этой встречей демонстрировала свои «возможности» на мужском фронте, с другой — она действительно разжигала Дежана. Но Лора была чрезмерно возбуждена и это меня пугало. Морис же смотрел на нее вожделенно. Это был экспромт Лоры. Экспромт, который в случае неудачи обошелся бы ей очень дорого. Но победителей не судят! А так как она победила, то ей все простили и даже за многое непредвиденное — похвалили. (Я не знаю только, как весь этот эпизод Лора объяснила Файнцимеру потом, когда вышла за него замуж.)

Итак, у нас был пикник, а в это время Кунавин и Миша, в дорожных одеждах, в кирзовых сапогах с металлическими подковками, как настоящие геологи, с рюкзаками и фанерными чемоданами, сидели в агентурной квартире, рядом с квартирой Лоры, а Грибанов и Мелкумов, наклонясь к радиооператору, ждали известий. Им сообщали самым подробным образом о нашей поездке и пикнике. Ведь обе машины, и ГАЗ-64 и «Победа», были оборудованы радиопередающей аппаратурой.

Было условлено, что мы вернемся в Москву в пять часов. Мелкумов строго приказал мне не опаздывать.

Я торопил Лору, но она мешкала.

Наконец, мы тронулись в обратный путь. (Файнцимер уехал раньше, так и не подойдя к Лоре). Где-то на шоссе я обогнал какую-то машину в недозволенном месте. (Технического талона «Без права проверки на месте» у меня уже не было, так как моя «Волга» не была оперативной машиной). Меня остановил трассовик-милиционер. За мной остановился и «Шевроле». Об этом немедленно было сообщено по радио Грибанову. Как рассказывал мне Кунавин, он обругал матерными словами и меня и трассовика. Но последний, проверив мои документы и покосившись на французский флагок по-сольской машины, быстро взял под козырек и отпустил меня по-доброму — по-здравому. Затем неожиданно, проезжая уже где-то вблизи Москвы небольшое и достаточно грязное озеро, Лора захотела искупаться и попросила посла остановить машину. Я заметил это в смотровое зеркальце и тоже остановился.

Пошли к озеру. Я «шипел» на Лорку, помня приказ Мелкумова, так как мы уже опаздывали. Она в ответ хотела и

делала все по-своему. (Пререкались мы, разумеется, так, что посол этого не замечал). О, великая твоя сила, женщина! Как Лора была во всем права, слушаясь своей интуиции и поступая так, как ей велело какое-то десятое чувство. Однако я был вынужден последовать за ней в озеро. Морис и Ала не купались. У Лоры же не было купального костюма. И вот на глазах посла она начала раздеваться и полезла в воду в одной нижней комбинации, которая сразу же облепила ее тело и она, высовываясь из воды, выглядела так, словно она была не просто голой, а дважды голой. Она не раз вылезала из озера и в таком виде разгуливала по берегу. Бедный Морис!

Я продолжал елико возможно торопить Лору, напоминая ей о приказе Мелкумова вернуться в Москву не позже пяти. Делал я это, когда мы отплывали от берега. Она отмахивалась от меня.

В это время, со слов Кунавина, Грибанов, сидя у радиоприемника, слушал отчеты своих сотрудников с места «прописшествия». Они сообщили о купании Лоры. Грибанов не выдержал и назвал ее «проституткой».

Через полчаса «проститутка», или лучше сказать русалка, выбралась из воды, оделась с горем пополам, мы сели в машины и поехали дальше в Москву. На развязке у Даниловского рынка — мы расстались. Посол повез Лору домой. По дороге они условились, что он приедет к ней через сорок минут.

Вернувшись в посольство, Морис переоделся и сменил почему-то шофер: он взял Бориса, точно понимая, что последний — надежнее.

Как только Дежан вошел к Лоре, она показала ему валявшуюся на столе телеграмму, которую она «получила» накануне от «мужа». В телеграмме было сказано, что он приезжает завтра днем. В конце телеграммы было «Целую, твой Миша». (Не трудно догадаться, что это была фабрикация КГБ).

А дальше произошло то, что даже в кино покажется маловероятным. Это могло произойти только в Советской стране, где так всесилен КГБ.

Лора и Морис, естественно, оставшись наедине, предались человеческому искушению.

Грибанов и Мелкумов, припав к репродуктору, а может быть с наушниками на голове, слушали все то, что происходило в соседней квартире. Может быть, кто-либо из них даже поза-

видовал Дежану. Но ждали они условленного слова Лоры. Пароля. А слово это в отдельном кабинете «Метрополя» придумала сама Лора. Она должна была в какой-то фразе произнести — «Киев». Как только это слово будет произнесено, Грибанов дает Кунавину и Мише команду: «С Богом!». Но Лора и тут тянула, тянула, выматывая у Грибанова остатки его железных нервов. Кунавин же и Миша окончательно выпали в своих геологических дорожных костюмах.

«Киев!». Грибанов и Мелкумов явно услыхали — «Киев». Лора ясно сказала «Киев...»

(Продолжение следует)

Ю. Кротков

ИЗ ДНЕВНИКОВ И. А. БУНИНА

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД¹

Дневники за 1925, 1926, 1927 г. были, вероятно, уничтожены И. А. Буниным. Относительно 1928 года сохранились краткие фактические записи, сделанные, думается, на основе уничтоженного дневника. Мало записей и за следующие довоенные годы.

11. IX. 29.

Завтрак в Антиб у Сорина — с Глазуновым и его женой, Тэффи и Тикстоном. Глазунов вполне рамоли, тупой, равнодушный, даже сюртук как на покойнике. «Вернетесь в Россию?» — «Да-а... Там у меня много обязанностей... Относится ко мне чрезвычайно хорошо...» И даже рассказал, как кто-то очень важный снял с себя и возложил на него цепь с красной звездой. Получает 200 р. пособия большевицкого.

22. XI. 29.

Солнечный день, на пути в Канн — обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы нескованно-прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картическими облаками. Совершенно панно.³

30. XI. 29.

Если бы теплая, большая комната, с тоящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь...

31. X. 31.

Без четверти пять, мой любимый час и вид из окна (на закат, туда, к Марселию). Лежал, читал «Письма» Манс菲尔д,⁴ потом закрыл глаза и не то подумал (совершенно неизвестно

¹ См. «Новый Журнал» №№ 108, 109, 110.

² Вопросительный знак поставлен Буниным, вероятно, при переписке дневниковых записей.

³ На полях у этого отрывка поставлена карандашом нотабэна.

⁴ Вероятно, английская писательница Кэтрин Манс菲尔д.

почему) о кукованы кукушки, о дали какого-то весеннего вечера, поля, леса, не то услыхал это кукованье и тотчас же стал действительно слышать где-то в далкой и глухой глубине души, вспомнил вечер нынешней весной, похожий на русский, когда возвращались с Фондаминским из С. Валье, вспомнил его, этот вечер, уже как бесконечно-давний молодой и счастливо-грустный, и все это связалось с какими-то воспоминаньями и чувствами моей действительной молодости... Есть ли вообще голос птицы прелестней, грустней, нежней и юней голоса кукушки!¹...

1. IX. 31.

Ля Туссен. Были с Верой на музыке, потом пошли в собор. В З началась служба — под торжественно-звукные звуки органа выход священнослужителей, предшествуемых мальчиками. Потом труба и песнопения — безнадежно-грустные, покорные (мужские голоса) под оч/ень/ тугие, кругло-катающиеся, опять таки очень звучные звуки органа, с его звучным скрежетом и все более откуда-то освобождающимся рычанием, потом присоединение ко всему этому женских голосов, уже грустно-нежными, умиленными: «А все таки, Господи, Ты единое прибежище!»

3. XII. 31.

Четыре с половиной. Вшел в кабинет, уже почти темный. Удивительная огненная красота облачного заката над морем — особенно сквозь черный (как бы железный) узор черно-зеленого шара мандарина. Над той горой, за которой С. Рафаэль, желто-палевое. Эстерель уже стал синим туманом. Маленькое поле плоского зелено-сиреневого слабо видного моря. В нашей долине и в городе все в темной синеве, в которой зажигаются огни. Когда зажег огонь у себя, облака над городом сделались цвета подсохших лиловых чернил (оч/ень/ мягкого). Потушил огонь — лиловое превратилось в фиолетовое.

Чувство ясности, молодости, восприимчивости, дай Бог не сглазить.

Понедельник/ 3. X. 32.

В городе ярмарка Св. Михаила, слышно, как ревут коровы. И вдруг страшное чувство России, тоже ярмарка, рев, народ — и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особ/енной/ силой в России? Ни на что непохожая страна.

¹ Над этим и следующим отрывком опять стоит нотабэна

Потом представил себе ни с того, ни с сего: в Париж приехал англичанин, разумный, деловой, оч/енъ/ будничный человек. Отель, номер, умылся, переоделся, вышел и пошел завтракать. Во всем что (вероятно, «что-то» *М. Г.*) такое, что сам не узнает себя — чувство молодости, бесприч/инного/ счастья... Напился так восхитительно, что, выйдя из ресторана, стал бить всех встречных... Везли в полицию соверш/енno/ окровавл/енного/.

18. X. 32.

Написать бы про наш сад, — что в нем. Ящерицы на ограде, кура на уступе верхнего сада.

8. VI. 33.

7½ вечера, подъезжаю к Марселию. Горы голые, мелового цвета, ужасные предместья. Мост, под ним улица, трамвай... Рабочие улицы, ужас существования в них. Всякие депо, шлак. Еще жарко, сухо. Зажженные алым глянцем стекла в домах на горе. Вдали Нотр Дам де ля Гард... К какому-нибудь рассказу: больной подъезжает к большому городу.

10. VII. 33.

Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром.¹ Я написал в ответ:

¹ Среди писем К. Бальмонта Ивану Алексеевичу сохранилась страничка с упоминаемым Буниным сонетом, написанным рукой Бальмонта.

ДВА ПОЭТА

Ив. Бунину

Мы — тигр и лев, мы — два царя земные.

Кто лев, кто тигр, не знаю, право, я.

В обоих — блеск и роскошь бытия,

И наш наряд — узоры расписные.

Мы оба пред врагом не склоним выи,

И в нас не кровь, а пламенней струя.

Пусть в львиной гриве мольв, — вся власть моя, —

В прыжке тигрином метче когти злые.

Не тигр и лев. Любой то лев, то тигр.

Но розны, от начала дней доныне,

Державы наши, царские пустыни.

И лучше, чем весь блеск звериных игр,

Что оба слышим зов мы благостины,

Призыв Звезды Единой в бездне синей.

Кламар, 1933, 5 июня. К. Бальмонт.

Милый! Пусть мы только псы
Все равно: как много шавок,
У которых только навык
Заменяет все красы.

21. VII. 33.

Вечер, шел через сад Монблёри, чувствовал снова молодость и *великое одиночество*.

В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе — она их, защищаясь, выбрасывала.

Почти все сверстники были гряз/гораздо/ взрослей меня.

30. VII. 33.

Пробудился в 4½. Довольно сумрачно — рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерел/ем/, над Антибск/им/ мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет. Вечером гроза. Лежал, читал — за окнами содрогающееся, голубое, яркое, мгновенное.

Ночью во мне пела «Лунная Соната». И подумать только, что Бог все это — самое прекрасное в мире и в человеч/еской/ душе (глагол тут пропущен *M. Г.*) с любовью к женщине, а что такое женщина в действительности?

Следующие, относящиеся к 1933 году записи сделаны на другой бумаге. Впечатление такое, что они были вырваны из дневника и переписаны не были.

17. IX. 33. Воскресенье.

Видел во сне Аню¹ с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе — и такая жалость, что... А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина и я уже не тот.

...Тихий сероватый день. И все напевается внутри «Яблочко» — истинно роковая песня России. Какая в ней безнадежная тоска, гибельность.

За последнее время опять — в который раз! — прочитал «Анну К/аренину/» и «Войну и м/ир/». Нынче кончил почти четвертый том — осталась последн/яя/ часть «Эпилога». Про

¹ Анна Николаевна Бунина, урожд. Цакни, первая жена Ивана Алексеевича.

Наполеона неотразимо. Испытал просто ужас, и *до сих пор обожествлен!*

18. IX. 33. Попедельник.

Удивительно прекрасный день. Был в Канн... Сидел на скамеечке перед портом, ел виноград... Читало «М/ертьые/ Душки». Нельзя читать серьезно — оч/ень/ талант/иный/ шарж и только. А чего только не наплели! «Гениальн/ое/ изображение пошлости...» И чего только сам он ни вообразил! «Горьким словом моим посмеюся...» России почти не видал, от этого местами нелепое соед/ипение/ Малороссии и Великороссии.

1. X. 33.

Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галля² купила кусок колбасы. Недурно пожился я за всю жизнь!

Проснулся оч/ень/ рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин.

Прочел 2/3 «Воскресения» (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что ли).

Известие в письме из Москвы о смерти Насти.¹ Оказывается, умерла уже «года три тому назад». Какой маленький круг от начала до конца человеч/еской/ жизни! Как я помню, как я гимналистом ехал с ней, держа венч/альную/ иконку, в карете в Знаменское!²

12. X. 33.

Прекрасный день, но ничего не мог писать. Кажется, серые, прохл/адные/ (следует неразборчиво написанное слово, *М. Г.*) совсем свежие дни лучше для меня (для работы). Только теперь.

Проснулся часов в 5 — уже не первый раз за последние (вероятно, «последнее время» *М. Г.*) под пение петухов. Думал: что тут главное? Кажется, что это очень *горловое*, ни чуточки груди. И напряженное. И еще думал: как хорошо так жить —

² Галина Николаевна Кузнецова.

¹ Жена Евгения Алексеевича Бунина.

² Приход Озерок, имения, полученного матерью Бунина по наследству.

живу с природой, с петухами, с чистым воздухом горным (сплю все еще внизу, отворяя дверь в столовую, чуть открываю балконную дверь).

13. X. 33.

Ездил в Канн. Хороший день, что-то одесское осеннее. Море похоже на Черное. Купание кончилось. Пляж пустой и стал маленький — главное, маленький.

15. X. 33.

По утрам, проснувшись, слышу, как лают собаки на соседней дачке уже совсем новым, *зимним* лаем: за *этим* лаем зима (южная), глушь, свежесть (та, что у нас в октябре).

20. X. 33. 9 ч. утра.

Нынче проснулся в $6\frac{1}{2}$. Лежал до 8, немного задремал. Сумрачно, тихо, испещрено чуть-чуть дождем возле дома.

Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не м/ожет/ б/ыть/!³ Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного *события* успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, напр/имер/!) Только один раз — Академия.⁴ И как *неожиданно!* А их ждешь...

Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, *смириться мужественно*.

Это последняя запись за 1933 год. Дневник за 1934 год, был, вероятно, уничтожен. Сохранился лист с фактическими выписками личного характера и следующая переписанная на машинке заметка:

Летом 1934 г. в Грассе со мной случился у калитки «Бельведера» совершиенно/ неожиданный внезапный обморок (первый раз в жизни): ездил с К. Зайцевым к художнику Стелецкому..., очень устал за день, ничего не ел с утра до вечера и вот, возвращаясь в Грасс из Канн в автокаре и поднявшись на гору к этой калитке, вдруг *исчез*, совершенно не заметив этого, —

³ Речь, видимо, идет о Нобелевской премии, присужденной Бунину 9-го ноября 1933 г.

⁴ В ноябре 1909 г. Бунин был избран почетным академиком.

исчез *весь*, в мановение ока — меня всего вдруг не стало — настолько вдруг и молниеносно, что я даже не поймал этой секунды. Потом так же вдруг увидел и понял, что лежу в кабинете на диване, грудь облита водой, которую мне, бесчувственному, давали пить... Внезапная смерть, вероятно, то же самое.

Записи, относящиеся к 1935 и следующим довоенным годам, видимо переписаны из дневника.

8. III. 35. Грасс.

Уже пятый час, а все непрерывно идет мягкий снег — почти с утра. Бело сереющее небо (впрочем, не похоже на небо) и плавно, плавно — до головокружения, если смотреть пристально — текущая вниз белизна белых мух, хлопьев.

15. VIII. 35. Грасс.

Вчера Кани, купанье в новой купальне, — все англичане, — тучи, ветер. В кафе встретил их. Выпил 2 рюмки коньяку, в Грассе купил Тавель и еще 1/4 коньяку. За обедом 1/2 б/утылки/ вина, хлебнул еще коньяку, после обеда был оч/ень/ говорлив, но не чувствовал себя во хмелю, лег полежать — и заснул. Проспал одетый до 4 утра, или кофе и опять заснул до 10. Состояние странное, гибельное, но спокойное.

Так вот и умру когда-н/ибудь/ — заснув, — делаю над собой печто непостижимое.

Успенье — весь день этот грасский звон колоколов — как на Пасху.

Вчера у Веры был Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире.

23. IV. 36.

Заснул вчера около двух часов ночи, нынче проснулся около 8. Живу не по годам. Надо опомниться. Иначе год, два — и старость... Когда-то в этот день — 10 Апр/еля/ 1907 г. — уехал с В/ерой/ в Палестину, соединил с ней свою жизнь.¹

26. IV. 36. Париж.

Приехал позавчера (в пятницу) в половине одиннадцатого. Тотчас наделал глупостей: тотчас поехал на вечер Баль蒙та.

¹ Это место отмечено на полях вертикальной линией, чернила другие, чем в основном тексте.

Но вечер уже кончился — помчался в кафе Мюра, потом в лэ Фонтэн, 2 больших рюмки мару,¹ ужасная ночь.

Вчера серо, яркая молодая зелень и свинцовый тон неба — мрачное впечатление.

Вечером *дома*. Потом Ротонд де ля Мюэт, Цетлины, Алданов и Керенский с своей австралийкой (не первой молодости, в хороших мехах, еврейка, кажется).

Нынче дождь. Безнадежная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться.

Выборы, Блюм.

8. V. 36 Грасс.

Вернулся из Парижа позавчера.

В Польше читать² мне не разрешили: «Просили писатели других держав», — очевидно, русские, советские, — «мы не разрешили, потому что разрешить Бунину было бы не куртуазно».

О чувстве божественного — ночь, звезды, ходил в саду.

10. V. 36.

Заснул в 3, проснулся в 8. Дождь.

Да, что я наделал за эти 2 года... агенты, которые *вечно* будут получать с меня проценты, отдача Собрания Сочин/ений/ бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость, выход в тираж.

7. VI. 36.

Вчера Блюм начал свое правление. Забастовки...

14. VI. 36.

Был в Ниппе — «День рус/ской/ культуры». Постыдное убожество.

Когда уезжал... огромная толпа... Все честь честью, как у нас когда-то — плакаты, красные флаги, митинги.

В Грасс тоже «праздник». Над нашим «Бельведером», на городской площади тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, «Марсельеза» и «Интернационал», на бархатных красных флагах... — серп и молот...

Надо серьезно думать бежать отсюда...

¹ Нечто вроде самогона.

² Бунина приглашали выступить с докладом в Польше.

Видел в Ницце Зайцевых...³ — грустные, подавленные тем, что происходит в Париже.

1. VII. 36. Грасс.

Все занят «Освобождением Толстого»...¹

1. XII. Париж.

Светлая погода. И опять решение жить здоровее, достойнее...

19. VIII. 37. Венеция.

Вчера приехал сюда в 5 ч. вечера римским экспрессом. Еду в Югославию...

Нынче был на Лидо. Огромно, гадко, скучно...

Лунная ночь, 9 часов — всюду музикально бьют часы на башнях.

Весной 1938 года Бунин ездил в турнэ по Балтийским странам. 30. IV. 38 он писал Веру Николаевне из Риги:

«...Труднее этого заработка — чтениями — кажется, *ничего нет*. Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чортовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком...

...После чтения был банкет. Множество речей, — *искренно* восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я «по крайней мере Шекспир...»

5. XI. 38. Босолей.

Лун/ная/ ночь. Великолепие неб/есной/ синевы, объемлющей своей куполообразностью, глубиной и высотой все — горы, море, город внизу. И таинств/енно/ темно мерцающая над самой Собачьей Горой звезда (вправо от нас).

17. VIII. 39.

Вчера... осмотр виллы в Каннэ-ля Пальмере. Нынче еду... в Жуан-лэ-Пэн смотреть другие виллы...

Это последняя запись из довоенных дневников Бунина.

³ Писатель Борис Константинович Зайцев с женой.

¹ Книга была издана в Париже в 1937 г.

ВОЙНА

Первая часть записей, начинаяющихся в марте 1940 года, видимо была вырвана Буниным из дневника и переписана не была. На первой странице написано: 1940 г. Вилла Жанет. Грасс.

1. III.

Вчера ездил в Ниццу. Как всегда, грусть — солнце, море, множество как бы праздничного народа и ни души знакомой, нужной...

Нынче послал открытку Гребенщиковой,² чтобы написал в американских/ газетах о писательской нужде в эмиграции... Финнам плохо.

6. III. 40.

Нынче холодно, с утра было серо, туман, крупа, шел с полчаса снег. А вчера, гуляя с Верой ночью по саду, услышал первую лягушку — думал, начинается, значит, весна.

Прочел книжечку... гр. Соллогуба — Аптекарша, Метель, неоконченные повести. Довольно ловко все, но и не нужно. Герои и героини, как всегда писали прежде, умирают от несчастной/ любви.

Хорошо для рассказа: донской казак Харулин.

Хорошо бы написать рассказ, действие которого в Бахчисарае. Татарин Осламбей. Татары говорят: «тютюн ичмен!» т.е. надо «попить дыму» (покурить). Еще: «шишлык» (а не шашлык, шинш ~~по-~~татарски вертел, палочка). Хорош Бахчисарай!

Овцы *Божьи* стада.

Темно желтая бабочка в черных узорах на крыльях. Задние крылья — с длинными черными косицами...

11. III. 40.

...Все еще оч/ень/ холодно — всю зиму мучение — одна из причин, почему только лежу и читаю.

Переговоры о мире Сталина и финнов. Ужас!

Читаю «Отеч/ественные/ Зап/иски/» за 84-й год. Там стихи Мережковского, столь опытные, что, верно, было ему тогда не меньше 20 лет, и стихи Надсона: «Горячо наше солнце безоблачным днем» — одни из немногих, которые мне нравились

² Писатель Г. Д. Гребенщиков.

когда-то — семнадцатилетнему — и теперь до чего-то чудесного воскресили всего меня той поры. Называется «В глухомань». Вижу и чувствую эту «глухомань» соверш/енно/ так же, как тогда — в той же картине (и теперь такой же поэтической, несмотря на то, что это Надсон).

14. III. 40.

Вчера страшная весть — финны сдались — согласились на тяжкий и позорный мир...

Кончил перечитывание двух книг рассказов Тургенева. Мастерство изумительное, но в общем читал равнодушно — исключение некот/орые/ страницы. Кое-что (почти все, вернее) читал как новое — так забывается Тургенев. Одно «Полесье» почти все по настоящему прекрасно. Почти во всех рассказах, — да, кажется, даже во всех, — редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений и мыслей, лиц и предметов.

17. III. 40.

Перечитал «Что такое искусство» Толстого. Скучно, — кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного.

29. III. 40.

Лежу, читаю, порой смотрю в солнечн/ые/ окна и думаю, — о том своем я, которое живет и сознает себя уже лет 60 — и это я думает, что лет через 5, много 10, его не будет. И не будет оно ничего видеть и думать. Странно!

30. III. 40. Суббота.

Стал присаживаться к письм/енному/ столу.

В Париж я уехал 29-го янв/аря/, вернулся в Грасс в субботу 16-го февр/алля/.¹ За последние дни просмотрел «Отеч/ественные/ Записки» (1883 г.)... Гаршин, если бы не погиб, стал бы замечательным писателем.

Нынче послал в Париж декларацию насчет своих доходов

¹ Эта фраза обведена чернилами.

(которых нет — надо выдумывать, чтобы не подумали, что вру. И показал 14.000).

3. IV. 40.

Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет. Многое вру и жгу.

5. IV. 40.

Ночью мистраль. Есть и днем. За Эстерелем горы бархатносиние. Расчистил воздух.

Думаю, что «Фальш/ивый/ Купон» возник, м/ожет/ б/ыть/, у Толстого в связи с когда-то прочтенным им рассказом Даля «Серенькая» (так назывались бумажки в 50 рублей).

Отец говорил вместо Белинский — *Белинский*. Прочитал на днях у Тургенева, что многие так называли Белинского при его жизни — пустили слух, что он «полячишка».

Прежде писали: «возразил». Герои прежних романов не сразу понимали, что они влюблены. «И вдруг с восторгом, с ужасом сказал себе: я люблю ее».

6. IV. (Суббота). 1940.

Проснулся в 8½. Погода все та же и тот же холодноватый ветер среди солнечн/ого/ тепла, все увеличивающегося. Скоро зазеленеют деревья — уже как будто что-то начинается — смотрел из окна в сторону Марселя — у нас в саду уже зазеленел молодой каштан. Будет удивит/ельно/ прекрасно. Короткая, несказ/анно/ прекрасная пора первой зелени.

Вспомнил, как я всю жизнь одинаково представлял себе год:²

Понед. 8. IV. 40.

А. К. Толстой писал жене (в 55 г.): «Сипягин — хороший, добрый, благородный малый, который обожает свою роту и чрезвычайно ею любит...» Этот сипягин крестил меня. Был тогда уже генералом.

10. IV. 40.

Позавчера проснулся в 9, чувствовал (как всегда чувствую с паучиной чуткостью) близкое изменение погоды: после полудня день замутился, пошли облака над горами к Ницце и к

² Эти слова и последующая кривая с перечислением месяцев обведены красным карандашом.

вечеру пошел дождь. Вечера в газетах хвастовство — союзники «в один час!» положили мины вдоль берегов Норвегии. С утра шел дождь. После завтрака — нынче — открыл радио — ошеломляющая весть: немцы захватили Данию и ворвались в Норвегию — вот тебе и мины!¹

12. IV. 40.

Неожиданная весть: письмо от Серова² и Зурова³ — у Зурова туберкулез... Вера сперва... заплакала, потом успокоилась, — верно, оттого, что я согласился на ее поездку в Париж и что теперь Зурова/ не возьмут в солдаты. Ходил с ней в город, она подала просьбу о пропуске в Париж/...

Особых вестей из Норвегии нынче нет. Боюсь, что опять дело замрет.

Продолжаю просматривать «Отечественные/ Записки» за 82 г. — все это читал тысячу лет тому назад, в Озерах, 15, 16 лет с Юлием⁴ — все забыл, а оказалось, что помню кое-что чуть не наизусть.

Дремучие снежные/ сумерки, Цвилленевская усадьба, где жил Евгений,⁴ эта девка (уже не помню ее имени)...

Весна, а все еще холодно, еще топим. Пересматриваю опять письма и дневники А. К. Толстого. Совершенно/ очаровательный/ человек! Начал «Головлевых»⁵ — не плохо, но мне скучно, ненужно.

Переписываю с клочков дневников заметки. Многое рву. А зачем кое-что оставляю и переписываю, неизвестно.

13. IV. 40.

Серо, холодно, деревцо за окном на Ниццу все зазеленело ярко-светлой зеленью и все дрожит под ветром...

14, 15, 16. IV. 40.

Немцы заперты новыми минами, потеряли 1/3 флота, отдали Нарвик — разгром!

17. IV. 40.

Вчера уехала Вера. Отвез ее в Канн в такси...

¹ На полях отмечено красным карандашом.

² Доктор С. М. Серов.

³ Писатель Леонид Зуров.

⁴ Братья Ивана Алексеевича.

⁵ «Господа Головлевы», роман Салтыкова-Щедрина.

Часов в 10 вечера ходил с М/аргой/ и Г/алей/⁶ залирать часовню. Лунная ночь, дивился среди чего приходится жить — эти ночи, кипарисы, чей-то английский дом, горы, долина, море... А когда-то Озерки!

Прошелся: из-за вершин пиний выглядывает, перемещается, блещет огромная Венера (невысоко над горой, на северо-западе) — ярко-блестящая, неподвижная, стеклянно-золотая, *согласно как те, что рисуют на мондирах*.

Ужасная была беллетристика в «Отечественных Записках/» итп. журналах.

17. IV. 40.

Вот, кажется уже несомненно: никогда мне не быть, например/, на Таити, в Гималаях, никогда не видеть японских рощ и храмов, и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпана, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда... Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня все это кончено *на всегда*. Непостижимо.

Пятница, 19. IV. 40.

Вчера весь день просидел в доме, вышел всего минут на десять вечером.

Нынче то же — вышел в 10, ходил по саду 35 м. Луна высоко (как предыдущие месяцы), кучевые белые облака. Как страшно одиноко живу!

Вчера ночью шум жаб уже несметных. Теплеет.

Кончил «Господ Головлевых». Умный, талантливый, сильный, знающий, но литератор...

20. IV. 40.

Проснулся в 9, зачитался до 12½ «Ле Рэв» Золя.

Ходил с Олечкой¹ смотреть в бассейне лягушку — не оказалось.

21. IV. 40.

Прекрасный, уже совсем теплый день. Дубы возле *chaumièr* уже сплошь в бледно-зеленых мушках. Все меняется с каждым

⁶ М. А. Степун и Г. Н. Кузнецова жили в то время у Буниных.

¹ Олечка Жирова.

днем. Уже распускается листва на безобразных/ кулаках 2 деревьев на площадке. Цветет сирень, глицинии... (Ялта, Пасха...).

Письмо от Веры.

2½ ч. Ходил по саду — заросла уже высокой травой вторая (от нижней дороги) площадка. Все еще цветет бледно-розовыми, легкими, нежными, оч/ень/ женств/енными/ цветами какого-то особого сорта вишни, цветут 2 яблони белыми (в бутонах тоже розоватыми) цветами. Ирисы цветут, нашел ветку шиповника цветущую (легкий алый цвет с желтой пыльцой в середине), какие-то цветы, вроде мака — легчайшие, но ярко оранжевого цвета... Сидел на плетеном разрушающемся (? М. Г.) кресле, смотрел на легкие и смутные как дым горы за Ниццей... Райский край! И уже сколько лет я его вижу, чувствую! Одноко, неудобно, но переселиться в Париж... ничтожество природы, мерзкий климат!

Как всегда почти, точно один во всем доме...

...Светлый день, праздник, во всем море как будто пустее — и звонят, звонят в городе... Не умею выразить, что за всем этим.

Множество мотыльков вьется вокруг цвета сирени — белых с зеленоватым оттенком, прозрачных. И опять пчелы, шмели, муhi нарождаются...

Кончил перечитывать 12-й т. Тургенева (изд. Маркса) — «Лит/ературные/ и жит/еиские/ восп/оминания/», «Критич/еиские/ речи и статьи» итд. Соверш/енно/ замечат/ельный/ человек и писатель. Особенно «Казнь Тропмана», «Человек в се-рых очках», неск/олько/ слов о наружности Пушкина, Лерм/он-това/, Кольцова.

Этот апрельск/ий/ расцвет деревьев, трав, цветов, вообще эти первые весенние дни — более тонко-прекрасного, чистого, праздничного нет в мире.

Во многих смыслах я все таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу». ...Вчера день рожд/ения/ Гитлера. Нынче радио: Муссоли/ни/ в поздравит/ельной/ телеграмме желает ему «победоносно выйти из той героич/еской/ борьбы, которую ведет он и германский народ». И несчастный итальянск/ий/ король тоже поздравляет «горячо» — вынуждены к соучастию в дружбе.

27. IV. 40.

Вести из Норвегии не радуют.

Следующие записи на другой бумаге. Вероятно, были переписаны.

30. IV. 40.

Серо, холодно, дождь.

И так всегда: спрячешь зонт, калоши — на другой день дождь. Прячу, верно, потому, что перед переменой погоды внутренно волнуюсь и от этого, например/, начинаю уборку. Вчера очистил от замазки окна, содрал с них пазов войлочные ленты — и вот нынче холод и ветер, так сильно дующий в эти пазы, что вечером ходит занавес, который отделяет от моей спальни ее «фонарь» из пяти окон и на ночь задерживается.

Сейчас вспомнил *почему-то* Майнц (соединенный с Висбаденом, где мы жили с Мережковскими в отеле). — Почему? — непостижима эта жизнь воспоминаний, это «почему-то», «ни с того, ни с сего»! Поехали туда с Верой на трамвае, ходили по городу, заходили в церкви... Ночь, темная полоса леса вдали и над ним звезды — смиренная, прелестная. Это где-то, когда-то на всю жизнь поразило в детстве... Боже мой, Боже мой! Было и у меня когда-то детство, *первые* дни моей жизни на земле! Просто не верится! Теперь *только мысль*, что они *были...*

Убежден, что Г/оголь/ никогда не жег «М/ертвых/ д/уш/».

Следуют выписки из Гоголя, стихотворение П. Якубовича, выписки из Тургенева и заключительные слова Бунина:

Не знаю, кого больше ненавижу, как человека — Гоголя или Достоевского.

2. V. 40. Четверг. Вознесение (католическое).

4 часа. Был в полиции, заказал *sauf conduit* в Париж. Все еще колеблюсь, ехать ли. Но предполагаю выехать 6-го или 7-го.

Нашел клочек из моих писем... «16. X. 26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве: был в Москве концерт Дебюсси, и вот, в антракте, один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну

что же, дорогой мой, вы этого просто не понимаете и не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».

7. V. 40.

Собираюсь, завтра еду в Париж в 6 ч. 24 м. вечера. Как всегда, тревожно, грустно. Жаль покидать дом, комнату, сад...

«Жизнь Арсеньева» («Истоки дней») вся написана в Грассе. Начал 22. VI. 27. Кончил 17/30. VII. 29... «Человек и его тело — двое... Когда тело желает чего-нибудь, подумай, правда ли Ты желаешь этого. Ибо Ты — Бог... Проникни в себя, чтобы найти в себе Бога... Не принимай своего тела за себя... Не поддавайся беспрестанной тревоге о мелочах, в которой многие проводят большую часть времени...»

«Один из тех, которым нет покоя.

От жажды счастья...»

Кажется, похоже на меня, на всю мою жизнь (даже и доныне).

Перечитал свои рассказы для новой книги.¹ Лучшие всего «Поздний час», потом, м/ожет/ б/ыть/, «Степа», «Баллада».

Как-то мне, — как бывало у меня чаще всего ни с того, ни с сего, — представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо, и земля — все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса вспыхивает. Кто-то на крыльце постоянного двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака... Отсюда и вышла «Степа».

«Поздний час» написан после окончательного пересмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой».

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в «Посл/едние/ Н/овости/» в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть «Баллады» — опять таки ни с того, ни с сего.

В Париже Бунин с Верой Николаевной, бывшей там уже с середины апреля, пробыли до 22 мая, после чего вернулись в Грасс.

¹ Речь идет о сборнике «Темные аллеи».

1. VI. 40. Грасс.

...вот-вот выступит Италия.

Бегство («героическое») французов и англичан из Денкерка продолжается.

8. VI.

Начал сборы на случай бегства из Грасса. Куда бежать? Не знаю, как быть.

Страшные, решительные дни — идут на Париж, с каждым днем продвигаются...

9. VI.

Мы все отступаем.

Зацвели лилии, лючиоли летают уже давно — с самых первых дней июня.

Страшно подумать — 17 лет прошло с тех пор, как мы поселились в Грассе, в этом удивительном поместье, Вилла Монфлери, где тогда как раз вскоре расцвели лилии! Думал ли я, что в каком-то Грассе протечет чуть не четверть всей моей жизни! И как я тогда был еще молод! И вот исчезла и эта часть моей жизни — точно ее и не бывало.

Не мало было французов, которые начали ждать войны чуть не 10 лет тому назад (как мировой катастрофы). И вот Франция оказалась совсем не готовой к ней!

Да, а по привычке все еще идет в голову Бог знает что. Вот вдруг подумал сейчас: имена, отчества, фамилии должны звучать в рассказах очень ладно, свободно, — например: Марья Викентьевна, Борис Петрович.

Через несколько дней (14 июня) Париж пал. В следующих записях, сделанных в конце июля, Бунин мысленно возвращается к произошедшим раньше событиям.

22. VII. 40, понедельник.

Ничего не записывал с отъезда в Париж в мае.¹ Приехал туда в одиннадцатом часу вечера 9-го (выехал 8-го, ночевал в Марселе, из Марселя утром). Вера была в Париже уже с месяц, встретила меня на Лионском вокзале. Когда ехали с вокзала на квартиру, меня поразило то, что *по всему* черному небу непрестанно ходили перекрещивающиеся полосы прожек-

¹ Это ошибочное замечание, см. записи от 1-го, 8-го, 9-го июня.

торов — «что-то будет!» подумал я. И точно — утром Вера ушла на базар, когда я еще спал, и вернулась домой с газетой — немцы ворвались ночью в Люксембург/, Голландию и Бельгию. Отсюда и пошло, покатилось...

Сидели в Париже, потому что... работал над моими нижними передними зубами. А алERTы становились все чаще и страшней (хотя не производили на меня почти ник/акого/ впечатления). Наконец, уехали — на автомобиле с Жировым, в 6 часов вечера 22-го мая. Автомобиль... Бразоля, сына полтавского губернск/ого/ предводителя дворянства: это ли не изумительно! — того самого, что председательствовал на губ/ерпских/ земск/их/ собраниях, когда я служил там библиотекарем в губ/ернской/ земск/ой/ управе.

23. VII. 40.

...И в Париже все поражены, не понимают, как могло это случиться (это чудовищное поражение Франции)...

24. VII.

Утром (не выспавшись) с Г/алей/ в Ниццу... Завтрак с Алдановым в Эльзасской таверне... В Ниццу съезжаются кинематографщики — Алданов надеется на работу у них, как консультант.

25. VII. 40.

...устал вчера в Ницце. Верно, старею, все слабость...

С Жировым доехали 23 мая до Макона. Оттуда ночью (в 1½ ч.) на поезде в Канн — ехали 12 часов (От Макона до Лиона в третьем классе — влезли в темноте — стоя, среди спящих в коридоре солдат, их мешков итп.). По приезде домой, с неделю мучились, хлопотали, отбивая Маргу от конц/ентрационного/ лагеря (у нее немецкий паспорт).

10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал до часу. В час открыл окно, высунился — один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде ни единого огня.

Дальше — неделя тревожных сборов к выезду из Грасса — думали, что, м/ожет/ б/ыть/, на неск/олько/ месяцев — я убрал все наше жалкое имущество. Боялся ехать — кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит

вся Франция, вшестером,¹ с 30 местами багажа... Уехали больше всего из-за Марги — ей в жандармерии приказали уехать из Альп Маритим «в 24 часа!» Помогли и алERTы, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алERT был у нас в воскр/есенье/ 2 июня, в 9-м часу утра). 3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: «Страшный налет на Париж, сброшено больше 5000 бомб». 5 июня прочитал... что убитых в Париже оказалось 254 ч., раненых 652. Утром узнал по радио, что началось огромн/ое/ сражение... 6-го был в Ницце... для знакомства с Еленой Александр/овной/ Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина — крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал — что-то непоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Н/иццу/ — барьеры, барикады...

Выехали мы... в воскр/есенье/ 16 июня, в 10 ч. утра, на наемном, до Нима, автомобиле. ...Прекрасный день. Завтрак в каком-то городке тотчас за Бриньолем. В Ним приехали на закате, с час ездили по отелям — нигде ни единого места! потом вокзал... — думали уехать дальше на поезде — невозможно, тьма народу — а как влезть с 30 вещами! Ходили в буфет, ели. Полное отчаяние — ночевать на мостовой возле вокзала! М/арга/ и Г/ая/ пошли искать такси, чтобы ехать дальше в ночь, — и наткнулись на рус/ского/ еврея таксиста. Ночевали у него. 17-го выехали опять в такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом в Ляфрансез, возле которого ферма Жирова, думали: в крайнем случае поселимся там, хотя знали, что там ни воды, ни огня, ни постелей. Плата за Ляфрансез, — 2300 фр. Сперва широкая дорога в платанах, тень и солнце, веселое утро. Милый городок Люпель. Остановки по дороге военными стражами, проверка документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка... подошел крестьянин лет 50 и со слезами сказал: «Вы можете ехать назад —армистис!» Но назад ехать было нельзя, пе имея проходного свидетельства. Завтрак под С. Этьен(?). Опять виноградники, виноградн/ая/ степь. За Нарбоном — Иудея, камни, опять виногр/адники/, ряды кипарисов, насажен/ных/ от ветра... Мерзкая Тулуза, огромная, вульгар-

¹ Двою Буниных, Г. Н. Кузнецова, М. А. Степун и Е. Н. Жирова с дочерью Олечкой.

ная, множество польских офицеров... (По всему пути сотни мчащихся в автомобилях беженцев). В Монтобане — ни единственного места. В сумерки Ляфрансез — тоже. И попали к Грязновым...

Когда в точности «беженцы» вернулись в Грасс, я не знаю. Очевидно, скоро, т.к. в записи от 22. VII. 40 о возвращении даже не упомянуто. Попытки уехать больше не возобновлялись и всю войну Бунины провели в Грассе, несмотря на то, что многие друзья, как, например, М. А. Алданов, уговаривали их уехать в Америку.

(Продолжение следует)

Публикация Милицы Грин

К БИОГРАФИИ М. А. БУЛГАКОВА

ПИСЬМА И. В. СТАЛИНУ, А. М. ГОРЬКОМУ,
В. В. ВЕРЕСАЕВУ, П. С. ПОПОВУ И ДРУГИМ

(ПУБЛИКАЦИЯ ЛЕСЛИ МИЛН)

Наша публикация предлагает здесь ряд документов, которые освещают отношение Булгакова к советским властям и, в особенности, к И. В. Сталину. Поскольку эти материалы нашлись не в архиве самого Сталина, а в личном архиве Булгакова, неизвестно, отправил ли он эти письма в те инстанции, куда они адресованы. Может быть, мы имеем здесь лишь наброски писем. (Это больше всего касается первого публикуемого письма, дата которого точно не указана, а только месяц и год — июль, 1929). Тем не менее, эти документы представляют собой ценный вклад в исследование жизни этого сугубо автобиографического писателя. Л. М.

Генеральному секретарю партии Сталину, Калинину, Свидерскому, А. М. Горькому¹

Заявление

Начало — не дословная копия, речь идет о бедственном положении М. А. Булгакова. Пьеса «Бег» принята МХАТом к постановке и в процессе работы театра над нею запрещена...² узнал о запрещении к представлению «Дней Турбиных» и «Багрового острова».³ «Зойкина квартира» была снята после 200-го представления по распоряжению властей в прошлом сезоне...⁴ все мои пьесы оказываются запрещенными... В 26 г. в день генеральной репетиции «Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ отправлен в ОГПУ, где подвергался допросу.⁵ Несколько месицами раньше представители ОГПУ

Письма М. А. Булгакова предоставлены нам г-жей Lesley M. Milne, Research Fellow of Girton College, Cambridge. Мы печатаем их с ее примечаниями. РЕД.

произвели обыск, были отобраны «Мой дневник» и единственный экземпляр сатирической повести «Собачье счастье».⁶

Ранее подверглись запрещению повесть «Записки на манжетах». Запрещен к переизданию сборник сатирических рассказов «Дьяволиада»,⁸ запрещен к изданию сборник фельетонов,⁹ запрещены в публичном выступлении «Похождения Чичикова». Роман «Белая гвардия» был прерван печатанием, так как запрещен был самий журнал.¹⁰

Дальше точно по тексту письма:

«По мере того, как я выпускал в свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все большее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса, не только никогда и нигде не получило ни одного одобрительного отзыва, но напротив чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростнее становились отзывы прессы, принявшие наконец характер неистовой (зачеркнуто: травли) брань.

Все мои произведения получили чудовищные неблагоприятные отзывы, мое имя было ошельмовано не только в периодической прессе, но и в таких изданиях, как Большая Советская Энциклопедия и Литературная Энциклопедия.¹¹

Бессильный защищаться, я подавал прошения о разрешении, хотя бы на короткий срок, отправиться за границу. Я получил отказ.

Мои произведения «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» были украдены и увезены за границу.¹² В г. Риге одно из издательств дописало мой роман «Белая гвардия», выпустив в свет под моей фамилией книгу с безграмотным концом.¹³ Гонорар мой заграницей стали расхищать.

Тогда жена моя Любовь Евгеньевна Булгакова¹⁴ вторично подала прошение о разрешении ей отправиться за границу одной для устройства моих дел, причем я предлагал остаться в качестве заложника. Мы получили отказ. Я подавал много раз прошение о возвращении мне рукописей из ГПУ и получал отказы или не получал ответа на заявления. Я просил разрешение отправить за границу пьесу «Бег», чтобы ее охранить от кражи за пределами СССР. Я получил отказ.

К концу десятого года¹⁵ силы мои надломились, не будучи в силах существовать, затравленный, зная, что ни печататься

и ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР вместе с женою моей Л. Е. Булгаковой, которая к прошению этому присоединяется.

« » июля 1929 г.

Секретарю ЦИК СССР — Енукидзе¹⁶

Ввиду того, что полная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, — ввиду того, что совершившееся полное запрещение моих произведений в СССР обрекает меня на гибель, — ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собой материальную катастрофу (отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог¹⁷ и невозможность жить, начиная со следующего месяца, могут быть документально доказаны) при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток — обращаюсь в верховный орган Союза — Центральный Исполнительный Комитет СССР и прошу разрешить мне вместе с женою моей Любовью Евгеньевной Булгаковой выехать заграницу на тот срок, который Правительство Союза найдет нужным назначить мне.

3. IX. 1929¹⁸

А. М. Горькому

Многоуважаемый Алексей Максимович!

3. IX. 1929 г.

Я подал Правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть пределы СССР на тот срок, какой мне будет назначен.¹⁹ Прошу Вас, Алексей Максимович, поддержать мое ходатайство. Я хотел в подробном письме изложить Вам все, что происходит со мною, но мое утомление, безнадежность безмерны. Не могу ничего писать.²⁰

Все запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня.

Уважающий Вас М. Булгаков

П. С. Убедительно прошу уведомить меня о получении этого письма.

Многоуважаемый Алексей Максимович! 28. IX. 1929.

Евгений Иванович Замятин сообщил мне, что Вы мое письмо получили, но что вам желательно иметь копию его. Копии у меня нет, письмо же мое было приблизительно такого содержания: «Я подал через Свидерского Правительству СССР Заявление, в котором прошу обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне с женой моей Любовью Евгения Булгаковой выехать в отпуск за границу на тот срок, который Правительству будет угодно мне назначить.²¹

Я хотел написать Вам подробно о том, что со мною происходит, но безмерная моя усталость уже не дает мне работать. Одно могу сказать: зачем задерживать в СССР писателя, произведения которого существовать в СССР не могут? Чтобы обречь его на гибель?

Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня. Вас убедительно прошу ходатайствовать за меня. Прошу не отказать в любезности сообщить, получено ли Вами это письмо».

К этому письму теперь мне хотелось бы добавить следующее: — все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строчки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает. Ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечают. Словом — все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось — меня самого.

Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня!

Уважающий Вас М. Булгаков

[Сюда приходится вставить известие «письмо-протест Советскому Правительству» от 28 марта, 1930 года. («Грани», 1967, № 66 стр. 155-161.)]

«Генеральному Секретарю ЦКВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Чем далее, тем более усиливается во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что изображая современность, нельзя находиться в том высоко настро-

енном и спокойном состоянии, какое необходимо для проведения большого и стройного труда.

Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; *перо писателя нечувствительно переходит в сатиру*. ...мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее... «я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».

Н. Гоголь

Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года. Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу правительство дать мне возможность их выполнить.

С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких. Причина болезни моей мне отчетливо известна: на широком поле словесности российской в СССР я был единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать. Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.

Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит был не настоящий. А если настоящий замолчал — погибнет. Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание.



За последний год я сделал следующее:

несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н. Гоголя «Мертвые души» в пьесу;²² работал в качестве режиссера МХТ на репетициях этой пьесы; работал в качестве актера, играя за заболевших актеров в этих же репетициях; был назначен в МХТ режиссером во все кампании и революционные празднества этого года; служил в ТРАМ'е²³ Московском, переключаясь с дневной работы МХТ-овской на вечернюю Трамовскую; ушел из ТРАМ'а 15. III. 31 года, когда почувствовал, что мозг отказывается служить, и что пользы ТРАМ'у не приношу; взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончил ее к июлю).²⁴

А по ночам стал писать. Но надорвался... Я переутомлен... Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным, я отправлен тоской и привычной иронией.

В годы моей писательской работы все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран.

Если это так — мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного.

Как воспою мою страну СССР?



Перед тем, как писать Вам, я взвесил все. Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом.

Сообщаю Вам, Иосиф Виссарионович, что я очень серьезно предупрежден большими деятелями искусства, ездившими за границу, о том, что там мне оставаться невозможно. Меня предупредили о том, что в случае, если Правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как-нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад, не получить бы беды похуже запрещения моих пьес. По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что 11 лет черпал из нее. К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от

моей побывавшей заграницей жены, заявившей мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год.²⁵

(Сам я никогда в жизни не был заграницей. Сведение о том, что я был за границей, помещенное в Большой Советской Энциклопедии — неверно).



«Такой Булгаков не нужен советскому театру», написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили. Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух.

Прошу Правительство СССР отпустить меня до осени и разрешить моей жене Любови Евгеньевне Булгаковой сопровождать меня. О последнем прошу потому, что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве.

Если нужны какие-нибудь дополнительные объяснения к этому письму, я их дам тому лицу, к которому меня вызовут. Но, заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.²⁶ Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.²⁷ Вы сказали: «Может быть Вам, действительно, нужно ехать заграницу». Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР.

30. V. 1931.

[*Весной 1934 года Булгаков опять обратился к Правительству с просьбой о заграничном паспорте и опять возложил надежды на поддержку Горького.*]

Многоуважаемый Алексей Максимович! 1. V. 1934 г.

Прилагаемый к этому письму экземпляр моего заявления А. Енукидзе объясняет Вам, что я прошу о разрешении мне двухмесячной заграничной поездки.

Хорошо помня очень ценные для меня Ваши одобритель-

ные отзывы о пьесах «Бег» и «Мольер»,²⁸ я позволяю себе беспокоить Вас просьбой поддержать меня в деле, которое имеет для меня действительно жизненный и писательский смысл. Собственно говоря, для моей поездки нужен был бы несколько больший срок, но я не прошу о нем, так как мне необходимо быть осенью в МХАТе, чтобы не срывать моей режиссерской работы в тех пьесах, где я занят (в частности, «Мольер»).

Я в такой мере переутомлен, что боюсь путешествовать один, почему и прошу о разрешении моей жене сопровождать меня. Я знаю, что это путешествие вернуло бы мне работоспособность и дало бы мне возможность, наряду с моей театральной работой, написать тему путевых очерков, мысль о которых манит меня. За границей я никогда не был. Вы меня крайне обязали бы Вашим ответом.

Уважающий Вас М. Булгаков

Москва, Нащокинский переулок, д. 3, кв. 44, тел. 58-67.

[*Булгаков получил отказ в своей просьбе. В начале следующего письма Стalinу он рассказывает об этом отказе, и продолжает:*]

Единственной причиной этого, как я предполагаю, может быть только одно: не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположение, что я останусь заграницей навсегда? Я не говорю уже о том, что для того, чтобы удалиться заграницу после обманного заявления, мне надлежит разлучить мою жену с ребенком,²⁹ ее самое поставить в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном Театре, ославить себя — и, главное, все это неизвестно зачем.

Здесь важно другое: я не могу постичь, зачем, замыслив что-нибудь одно, испрашивать другое? И тому, что я этого не понимаю, у меня есть доказательство. Именно я четыре года тому назад обращался к Правительству с заявлением, в котором испрашивал или разрешения выехать из Союза бессрочно или разрешения вступить на службу в МХАТ.³⁰ Задумав тогда бессрочный отъезд, под влиянием моих личных писательских обстоятельств, я не писал о двухмесячной поездке... У меня нет ни гарантий, ни поручителей...

11 июня 1934 г.

В Бюро драматургов ССП

[отвечает на запрос о пьесе к 20-летию Октября]

...С большим сожалением я должен уведомить бюро, что уже больше года я не занимаюсь сочинением пьес для драматических театров. Причиной этого явилось следующее обстоятельство. В начале 1936 года Театры внезапно сняли со сцен всю мою драматургическую продукцию последних лет.

Московский Художественный снял, после нескольких представлений, мою пьесу «Мольер», Московский Театр Сатиры, после первой генеральной, — мою комедию «Иван Васильевич», Вахтанговский — прекратил начинаяющуюся работу над пьесой моей «Александр Пушкин».³¹

Означенное снятие моих пьес разного жанра сопровождалось появлением в прессе статей такого характера, который показал мне с неоспоримой ясностью, что дальнейшее сочинение моих пьес и представление их в драматические театры является совершенно бесполезным.

Я вынужден был переключиться на другой вид работы и стать оперным либреттистом.³²

[Хотя в 30-ых годах Булгаков жил в постоянном страхе и тревоге, личный интерес к нему Сталина несомненно защищал его от бедствий более тяжелых. Булгаков сам это понимал, что доказывается следующим письмом.]

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана,³³ отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволяю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу.

Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана

возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения.

А. Н. Поскребышеву³⁴

Москва, 4 февраля 1938 г.

[Булгаков болен гипертонией и почти ослеп, испытывает невероятные физические страдания, дни сочтены, врачи это не скрывают. Дать надежду на спасение может к. и. сильное радостное потрясение, которое заставило бы его «захотеть жить». Дальше точный текст письма:]

Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычайной чуткости к нему, его поддержке, часто с сердечной благодарностью вспоминая о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону 10 лет тому назад, о разговоре, вдохнувшем тогда в него новые силы. Видя его умирающим, мы — друзья Булгакова — не можем не рассказать Вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдете возможным сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу.

В. Качалов, А. Тарасова, Н. Хмелеев³⁵

[Письма В. В. Вересаеву и П. С. Попову открывают нам более интимного Булгакова, его переживания в разных перипетиях его судьбы, впечатления, которые потом отображались в его произведениях. Первое знакомство Булгакова с Вересаевым относится к началу 20-ых годов, когда Булгаков был известен Вересаеву только как автор «Записок на манжетах». А. Л. Лесс в книге *Непрочитанные Страницы* (Москва, 1966, стр. 251-258) рассказывает об их первой встрече и о дальнейшем развитии дружбы между ними. Переписка Булгакова с Вересаевым на тему пьесы о Пушкине уже опубликована: «Вопросы литературы», 1965, № 3, стр. 151-171. Отрывки, которые мы предлагаем здесь, носят не-деловой характер, и в этом заключается их интерес.]

Из писем В. В. Вересаеву:

2. VIII. 1933 г.

...я ...просидел две ночи над Вашим Гоголем.³⁶ Боже! Какая фигура! Какая личность!

В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман.³⁷ Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это.

17/X 1933 г.

...Но так всегда бывает: когда мой литературный груз начинает давить слишком, часть сдаю Елене Сергеевне. Но женские плечи можно обременять лишь до известного предела. Тогда — к Вам.

Давно уже я не был так тревожен, как теперь. Бессонница. На рассвете начинаю глядеть в потолок и тараща глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь — кепка, платок, платок, кепка. Фу, какая скука!

Так в чем же дело? Квартира. С этого начинается. Итак на склоне лет я оказался на чужой площади. Эта сдана, а та еще не готова. Кислая физиономия лезет время от времени в квартиру и говорит: «Квартира моя». Советует ехать в гостиницу и прочие пошлости. Надоел нестерпимо. Дальше чепуха примет грандиозные размеры и о работе помышлять не придется.

Нарисовал себе картину выселений, судов, переселений и тому подобных прелестей.

6. III. 1934 г.

...Свое жилище я надеюсь Вам вскоре показать, лишь только устроюсь поуютнее.³⁸ Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху и снизу и сзади и спереди и сбоку. ...я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае!

26 апреля 1934 г. Москва.

[о решении на 2 месяца ехать заграницу]

«На болезнь не ссылайтесь». Хорошо, не буду. Ссыльаться можно, должно только на одно: я должен и я имею право видеть хотя бы кратко — свет. Проверяю себя, спрашиваю жену, имею ли я это право? Отвечает — имеешь...

Один человек сказал: обратитесь к Немировичу. Нет, не обращусь. Ни к Немировичу, ни к Станиславскому. Они не шевельнутся. Пусть обращается к ним Антон Чехов!... Пора,

пора съездить, Викентий Викентьевич! А то уж как-то странно — закат!

Москва, 26. VIII. 1935 г.³⁹

...В заграничной поездке мне отказали (Вы, конечно, всплеснете руками от изумления!), и я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну, что же, это тоже река.

Москва, 4 апрель 1937 г.

...Я очень утомлен и размышляю. Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим дон-кихотством с моей стороны.⁴⁰ И больше его я не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет. Я имею опыт, слишком много испытал...

[Письма Булгакова П. С. Попову являются не только биографическими но и литературно цепными документами. Здесь мы находим все свойства подлинно булгаковского стиля: искрящееся остроумие, блестящий язык, надрывная тоска.

П. С. Попов (1892-1964) был философом, профессором логики и психологии Московского университета — и одним из самых ранних поклонников Булгакова. Интерес Попова впервые вызвала постановка Дней Турбинных во МХАТе. Попов обратился к Булгакову с рядом вопросов, касающихся романа *Белая Гвардия*, прототипов действующих лиц, биографии самого писателя, и процесса обработки романа в пьесу. После обыска, о котором Булгаков пишет в первом нашем документе (от июля, 1929 г.), Михаил Афанасьевич перестал вести дневник. Тогда Попов, понимая исключительную важность всех событий в этой писательской судьбе, будто бы предложил Булгакову заменять дневник письмами к нему. Это, может быть, только легенда; но каково бы то ни было побуждение к переписке, в ней мы имеем один из самых достоверных источников для составления биографии писателя. Писем всего 17; приводим здесь некоторые отрывки.]

Из писем П. С. Попову:

26. X. 1931. Москва.

...Праведный Боже, до чего же я не нужен ни в каких комиссариатах. Надеюсь, впрочем, что станет ясно, что я

мыслим только на сцене и дадут мне чистую и отпустят вместе с моим больным телом и душу на покаяние!

25. I. 1932.

Вы уже знаете? Дошло к Вам в Ленинград и Тярлево? Нет? Извольте: 16-го января днем мне позвонили из Театра и сообщили, что «Дни Турбиных» срочно возобновляются.⁴¹ Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически не хорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!

У нас новая домработница, девица лет двадцати, похожая на глобус. С первых же дней обнаружилось, что она прочно по-крестьянски скрупультна и расчетлива, обладает дефектом речи и богатыми способностями по счетной части, считает излишним на свете существование домашних животных — собак и котов («кормить их еще чертей») и страдает при мысли, что она может опоздать с выходом замуж. Но кроме всего этого в девице заключался какой-то секрет мучительный. Наконец он открылся: сперва жена моя, а затем я с опозданием догадались — девица оказалась трагически глупа. Глупость выяснилась не простая, а, так сказать, экспортная, приводящая веселых знакомых в восторг. И при этом венце такого упрямства, какого я еще не видел. Краткие лекции по разным вопросам, чтение которых принял на себя я, дали блестящие результаты — в головах и у девицы и у меня сделалось исключительное месиво.

Курс драматургии я исключил, сождя по наивности девицу, стоящей вне театра. Но я упустил из виду, что кроме моего университета существует шесть кухонь в нашем доме с Марусями и Грушами и Нуши.

28. I.

Продолжаю: девица, если не полностью в курсе драматургии, то во всяком случае историю драматурга Михаила Булгакова в кухне прослушала. И это ей понравилось, ибо драматургия, как известно, родная сестра бухгалтерии.

...29. 1. Боюсь, что письмо длинно. Но в полном моем одиночестве давно уже ржавеет мое перо, ведь я не совсем еще умер, я хочу говорить настоящими моими словами. Итак: 15-го около полудня девица вошла в мою комнату и, без

какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твердо и пророчески:

— Трубная пьеса ваша пойдет. Заработаете тыщу.

И скрылась из дома. А через несколько минут — телефон. С уверенностью можно сказать, что из театра не звонили девице, да и телефонов в кухнях нету. Что же такое? Полагаю — волшебное происшествие (...)»

19. III. 1932

Глава I. Удар финским ножом

...Оказалось, что пьесу снял не государственный орган. Уничтожил Мольера совершенно неожиданный персонаж!⁴²

Убило Мольера частное, неответственное, не политическое, кустарное и скромное лицо и по соображениям совершенно не политическим. Лицо это по профессии драматург. Оно явилось в Театр и так напугало его, что он выронил пьесу. Первоначально, когда мне сообщили о появлении драматурга, я засмеялся. Но очень быстро смеяться я перестал. Сомнений, увы, нет. Собирают разные лица.

Что же это такое?

Это вот что: на Фонтанке, среди бела дня, меня ударили сзади финским ножом при молчаливо стоящей публике. Театр, впрочем, божится, что он кричал «караул», но никто не прибежал на помощь. Не смею сомневаться, что он кричал, но он тихо кричал, ему бы крикнуть по телеграфу в Москву хотя бы в Народный Комиссариат Просвещения.

Сейчас ко мне наклонилось два-три сочувствующих лица. Видят, плавает гражданин в своей крови. Говорят, «кричи!» Кричать лежа считаю неудобным. Это не драматургическое дело.

Просьба, Павел Сергеевич: может быть видели в ленинградских газетах след этого дела. Примета: какая-то карикатура, возможно, заметки. Сообщите! Зачем? Не знаю сам. Вероятно, просто горькое удовольствие еще раз взглянуть в лицо подковшему.

Когда сто лет назад командора нашего ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед

отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине. Меняется оружие!

Продолжение последует, если не возражаете. Пасмурно у меня на душе.

Ваш М. Булгаков

27. III. 1932.

Гл. II. Дорогой Павел Сергеевич!

...Похоронил же ее, как я Вам точно сообщаю, некий драматург, о коем мною уже получены многочисленные аттестации, и аттестации эти одна траурнее другой. Внешне: открытое лицо, работа «под братишку», в настоящее время курсирует в Москве. Меня уверяют, что есть надежда, что его догонит в один прекрасный момент государственный корвет, идущий под военным флагом, и тогда флибустьер пойдет ко дну в два счета. Но у меня этой надежды нисколько нет (...)

24. IV. 1932. Москва

Дорогой Павел Сергеевич,
итак, мои заметки. Я полагаю, что лучше всего будет, если прочитав, Вы бросите их в огонь. Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией. Мне нравится она за то, что она, ничего не бракуя, одинаково охотно поглощает и квитанции из прачечной и начала писем и даже, о позор, позор, стихи! С детства я терпеть не мог стихов (не о Пушкине говорю, Пушкин — не стихи!) и, если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая возмущение тетки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы ее сыновья стали инженерами путей сообщения.

Мне неизвестно, знает ли покойная, что младший стал солистом-балалаечником во Франции, средний ученым-бактериологом все в той же Франции, а старший никем стать не пожелал.⁴³

Я полагаю, что она знает. И временами, когда в горьких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и ее (а вижу я ее во сне в последние дни вот уже третий раз. Зачем меня она тревожит?) мне хочется сказать — «поедемте со мною в Художественный театр, покажу Вам пьесу. И это все, что могу предъявить. Мир, мама?»⁴⁴

Пьеса [Дни Турбинных] эта была показана 18 февраля. От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически «нет ли лишнего билетика?» То же было и со стороны Дмитровки.

В зале я не был. Я был за кулисами и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит во софитах, то вдруг, как в шахте, тьма и загораются фонарики помощников и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света и в темноте вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит... Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии и ослабевшими руками расстегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии. (Топорков играет Мышилеваского первоклассно). Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были замученные, настороженные, высматривающие.

Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера и этим мгновенно привел меня в себя.

На кругу стало просторно, появилось пианино и мальчик-баритон запел эпитеталаму.

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне. Повидимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже.

Словом, я знаю, что мне скажут и плохо то, что я знаю, что ничего нового не скажут. Ничего неожиданного не будет, все — известно. Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал — будет просить не выходить...

Гонец сказал, что Ка-Эс⁴⁵ звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую? Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на вызовы не пойду.

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение.

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень

простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вовсе ничего не хочется кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое, чтобы я мог брать горячие ванны и не думать каждый день о том, что мне делать с своей собакой, когда в июне кончится квартирный контракт.

Вообще мне ничего решительно не хочется.

Занавес давали двадцать раз. Потом актеры и знакомые истязали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходит так: выйдешь — демонстрация, не выйдешь — тоже демонстрация. Не знаю, как быть.

До следующего письма.

Ваш М.

Анне Ильинишне привет!⁴⁶

30. IV. 1932.

Вс. Вишневский был единственным, кто отмечал в печати возобновление:... «...все смотрят пьесу, покачивая головами, и вспоминают рамзинское дело».⁴⁷ ...Мне хочется сказать только одно, что в последний год на поле отечественной драматургии вырос в виде Вишневского такой цветок, которого даже такой ботаник как я еще не видел.

13 апреля 1933 г.

Дорогой Павел!

...Ну-с, у меня начались мольеровские дни. Открылись они рецензией Т.⁴⁸ В ней, дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой, который ведет биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками и, что хуже всего, склонен к роялизму. Но этого мало. В сочинении моем, по мнению Т., «довольно прозрачно пропадают намеки на нашу советскую действительность»!

...Очень обдумав дело, счел за благо боя не принимать. Оскалился только по поводу формы рецензии, но не кусал. А по существу сделал так: Т. пишет, что мне, вместо моего рассказчика, надлежит поставить «серьезного советского историка». Я сообщил, что я не историк и книгу переделывать отказался.

28 апреля 1934 г., Москва.

Дорогой Павел!... Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август-сентябрь. Давно мне уже грезилась Средиземная волна и парижские музеи, и тихий отель, и никаких знакомых, и фонтан Мольера и, словом, возможность всё это видеть. Давно уж с Люсей⁴⁹ разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать! И вспомнил незабвенный фрегат Паллада, и как Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! Тогда уж готовь новую главу — самую интересную.

Видел, однако, литератора как-то побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем этот берет купил и приехал. Ни строки, ни фразы, ни мысли! О, незабвенный Гончаров! Где ты!

...Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать! А, приехав осенью, обниму, но короткий хвостик покупать себе не буду. А равно также и короткие штаны до колен. А равно также и клетчатые чулки...

[Из письма от 26 июня 1934 года:]

...Люся прозвала меня капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, что она первоклассна.

[Из письма от 5 октября 1936 года:]

Сегодня у меня праздник. Ровно десять лет тому назад совершилась премьера «Турбинах...» Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные или погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они, Станиславский и Немирович, мне доставили за десять лет в Проезде Художественного театра. Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной тою самою кровью, которую они выпили из меня за десять лет.

Из письма от 24 марта 1937 года:

...Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительно

елейные голоса: «ничего, после вашей смерти все будет напечатано!» Я им очень благодарен, конечно.

М. Булгаков — А. Гдешинскому.

28. XII. 1939 [после возвращения из санатория].⁵⁰

...Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать. Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канитально и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется...

От всего сердца желаю тебе здоровья — видеть солнце, слышать море, слушать музыку.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Все фамилии, кроме Горького, написаны без инициалов. Это поддерживает гипотезу, что письмо только черновик.

² Пьеса написана в 1926-1928 г.г. Принята к постановке в МХТ в начале января 1928 г. («Вечерняя Москва» от 3-го января, 1928 «Новые пьесы»). Репетировалась в МХАТ'е с 10-го октября, 1928 г. по 25-е января, 1929 г. (Протокол репетиций).

Все это время шла свирепая кампания в прессе против *Bega*, — и вообще против «булгаковщины». Не исключается, что убийство Я. А. Слащева, 11 января, 1919 г., тоже сыграло роль в окончательном запрещении постановки. Биография Слащева явно во многом совпадала с биографией Хлудова в пьесе, и современники признавали, что «аналогия с генералом Слащевым вполне естественная». («Новая пьеса Булгакова *Beg*»: в журнале «Искусство», 1929, № 3-4, стр. 74). Но решающим моментом в судьбе *Bega* наверное было личное мнение Сталина, что «*Beg* в том виде, в каком он есть, представляет собой антисоветское явление». (Ответ Биллю-Белоцерковскому, 2 февраля, 1929 г. Собр. Соч. И. Сталина, Том XI, Москва 1949, стр. 327). Stalin, в этом же письме, допускает возможность переработки пьесы, чтобы придать ей приемлемый вид. В 1933-34 г.г. опять встал вопрос о постановке *Bega*, возобновились репетиции, и Булгаков взялся за переделку некоторых сцен.

³ «Театры освобождаются от пьес Булгакова» ликующе сообщила «Вечерняя Москва» от 6 марта, 1929. Премьера *Дней Турбиных* в МХАТ'е состоялась 5 октября, 1926 г., и до снятия с репертуара пьеса прошла 289 раз. *Багровый Остров* шел в Камерном Театре с 11 декабря, 1928 г.

⁴ *Зойкина Квартира* — написана в 1925-26 гг. Премьера 28

октября, 1926 г. в тогдашней Третьей Студии МХАТа, позднее — театр имени Вахтангова.

⁵ Было три «генеральных репетиции» *Дней Турбиных*. Протокол репетиций отмечает: «17 сентября — полная генеральная репетиция с публикой. По окончании — объединенное Заседание Главреперткома с Режиссерской коллегией. Главрепертком считает, пьесу в таком виде выпускать нельзя. Вопрос о разрешении остается открытым». 23 сентября был организован закрытый общественный просмотр. Пьеса была разрешена к постановке в МХАТе с некоторыми изменениями: была отменена сцена с истязанием и убийством еврея петлюровцами; и «переделали 'интернационал' — не утихает, а усиливается». «27 сентября — Полная генеральная с публикой... Смотрят представители правительства, прессы, представители Главреперткома, Константин Сергеевич [Станиславский], Высший Совет и Режиссерское Управление.

⁶ Первоначальное заглавие *Собачьего Сердца*.

⁷ *Записки на манжетах* — публиковались отрывками в разных журналах: в литературном приложении № 8 к берлинской газете «Накануне» от 18 июня, 1922; в альманахе «Возрождение», Москва, 1923 № 2; в «России», 1923, № 5.

⁸ *Дьяволиада* — издательство «Недра», Москва, 1925.

⁹ Сборник фельетонов вышел на самом деле, в юмористической иллюстрированной библиотеке журнала «Смехач», Ленинград, 1926. Может быть, Булгаков пишет здесь о втором сборнике, им запланированном.

¹⁰ Журнал «Россия» — основан в 1922 г. И. Г. Лежневым, [Рудольфи в *Театральном Романе*], сначала под заглавием «Новая Россия». Когда «Новая Россия» закрылась, Лежнев просто переменил заглавие на «Россию». После закрытия «России» в 1925 г., Лежнев попытался возродить журнал под первым заглавием, но весной 1926 г. был выслан за границу. Там он пересмотрел свои взгляды и, вернувшись в Советский Союз в 1930 г., написал книгу *Записки Современника*, в результате чего его приняли в партию. В 1935-1939 гг. он заведовал отделом литературы и искусства в «Правде», умер в 1955 году. 26 октября 1925 г., Булгаков подал заявление в Конфликтную Комиссию Всероссийского Союза Писателей: «Редактор журнала «Россия» Исаи Григорьевич Лежнев, после того, как издательство «Россия» закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа *Белая Гвардия* и не возвращает мне его». (ЦГАЛИ Ф. 341 оп. № 1 ед. хр. 257).

¹¹ *Большая Советская Энциклопедия* (Том 8, 1927) ошибочно утверждает, что Булгаков жил за границей с 1921 г. по 1923 г. *Литературная Энциклопедия* (Том 1, 1930) пишет, что Булгаков

«классововраждебный советской действительности человек» и «внутренний эмигрант».

¹² *Дни Турбиных* появились в немецком переводе: *Die Tage der Geschwister Turbin — Die Weisse Garde*, Berlin-Charlottenburg, 1927. Текст переведен со второй редакции пьесы. Этот вариант сильно отличается от окончательного, опубликованного текста и, в литературном отношении, намного превосходит третью, последнюю редакцию.

¹³ *Белая Гвардия* (*Дни Турбиных*), Рига, 1927: вступительная статья Петра Пильского.

¹⁴ Вторая жена Булгакова — Любовь Евгеньевна Белозерская.

¹⁵ Т. е. десятый год литературной деятельности. Литературная карьера Булгакова началась «как-то ночью в 1919 году, глухой осенью». «Автобиография» в кн. *Советские Писатели. Том III*, Москва, 1966, стр. 85.

¹⁶ Опять без инициалов: (см. примечание 21).

¹⁷ В собрании документов, после этого письма Енукидзе, помещена справка (без даты): «Дана члену Драмсоюза для представления фининспекции в том, что его пьесы: 1) *Дни Турбиных*, 2) *Зойкина Квартира*, 3) *Багровый Остров*, 4) *Бег* — запрещены к публичному исполнению».

¹⁸ Люди, близкие Булгакову в это время, утверждают, что он никакого длинного послания в Кремль тогда не отправил. Его друзья будто бы советовали ему подать лишь короткое, деловое заявление. Может быть, мы имеем здесь, в письме Енукидзе, тот документ, который Булгаков действительно послал, а в первом письме, без точной даты, тот черновик, который друзья советовали не посыпать.

¹⁹ Речь наверное идет о письме Енукидзе, поскольку оно тоже было написано 3 сентября, 1929.

²⁰ Как будто бы подтверждает гипотезу, что Булгаков своего письма от июля, 1929 не послал. Оно адресовано Горькому, между другими, и если бы Булгаков действительно его послал, то не было бы нужды еще в одном «подробном письме», которое излагает «все, что происходит». Но, как видно из заключительных слов письма Горькому, Булгаков не очень-то уверен, что письма Горькому на самом деле адресату доставляются.

²¹ Может быть, Булгаков подал заявление Енукидзе через Свидерского, а может быть переадресовал письмо. В таком случае, в письме Енукидзе, мы имеем опять-таки только набросок. Но ясно одно — в сентябре, 1929 г. Булгаков обратился к Правительству с просьбой выехать за границу на неопределенный срок. А. И. Свидерский, в апреле 1928 г., был назначен начальником нового органа при Наркомпросе — Главискусство. Но уже в феврале 1929 г., Свидерский заменен Л. Л. Оболенским: (см. статью «Положить конец

Дням Турбинных, «Известия», 16. 2. 29). Поскольку положение Свидерского к сентябрю 1929 г., уже пошатнулось, обращаться лично к нему было бы нецелесообразно. Скорее всего Булгаков только подал свое заявление через него.

²² Премьера состоялась в декабре, 1932 года, в МХАТ'е.

²³ Театр рабочей молодежи.

²⁴ Очевидно, театр санитарного просвещения; но что это была за постановка — неизвестно.

²⁵ Любовь Евгеньевна Белозерская выехала за границу со своим первым мужем, известным фельетонистом И. М. Василевским (Не — Буква). Она побывала и в Константинополе, и в Париже, и в Берлине, и вернулась в Советский Союз в 1924 году. Это ее воспоминания служили Булгакову «реалиями» для изображения эмигрантской жизни в *Begе*.

²⁶ Эта встреча, надо полагать, никогда не состоялась. Но безудержная фантазия Булгакова сочиняла рассказы о ней: см. К. Паустовский — *Повесть о жизни*, Москва, 1966, стр. 560-562. Паустовский здесь раскрывает нам ту большую иронию, с которой Булгаков относился к этим своим посланиям Сталину. «Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Тарзан».

²⁷ См. С. Ляндрес — «Русский писатель не может жить без Родины...» — «Вопросы литературы», 1966, № 9, стр. 134-139.

²⁸ Горький принимал активное участие в спорах вокруг этих двух пьес, предсказывая *Begу* «триумф, анафемский успех». (Примечания к сборнику «Пьесы», Москва, 1962, стр. 470). Хотя *Beg* все-таки поставлен не был, Булгаков понимал, какую роль сыграла поддержка Горького в судьбе пьесы *Мольер*: «Зная какое значение для разрешения пьесы имел Ваш хороший отзыв о ней, я от души хочу поблагодарить Вас». (Письмо Грькому от 21 декабря, 1931. Цит. в статье А. М. Альтшулера «А. М. Горький о М. А. Булгакове»: «Ученые Записки Горьковского университета», серия филологич. вып. 118, Горький, 1970, стр. 166).

²⁹ Третья жена Булгакова — Елена Сергеевна. Ребенок не от Булгакова — у него детей не было — а от первого мужа Елены Сергеевны.

³⁰ Письмо от 28 марта, 1930 г. («Границы», цит. соч.)

³¹ Пьеса *Мольер* была закончена в 1929 г. и принята к постановке МХАТ'ом в конце 1931 г. Пьеса репетировалась в театре с 1932 года, но с большими перерывами. В 1935 г. в работу над спектаклем включился Станиславский, что повлекло за собой еще осложнение, поскольку он булгаковскую пьесу не понимал, не принимал, и на репетициях упорно пытался ее изменять. (см. К. Л. Рудницкий «Мольер, «Тартюф» и Булгаков» — «Наука и Религия», 1972, № 1,

стр. 84-90; и Н. Горчаков — *Режиссерские уроки К. С. Станиславского*, Москва, 1951, стр. 532-555). Премьера состоялась 11-го февраля, 1936 г., но пьеса прошла всего 7 раз. 9-го марта в «Правде» появилась разгромная статья с заглавием «Внешний блеск и фальшивое содержание», и *Мольер* сразу исчез с репертуара. Прекращение работы над постановками пьес *Иван Васильевич и Пушкин* было прямым последствием этой статьи. Постановка *Пушкина* осуществилась только после смерти Булгакова, в 1943 г., в МХАТ'е. Шла война против Германии, и пьеса о национальном гении представляла собой подходящую тему.

³² В 1936 г., после распрай вокруг *Мольера*, Булгаков ушел из МХАТ'а и был принят на службу Большим Театром, где работал либреттистом и литературным консультантом. Он сочинил для ГБАТ четыре оперных либеретто, — надо сказать, весьма посредственного качества.

³³ Литературная судьба талантливого драматурга Николая Эрдмана во многом сходна с судьбой Булгакова. Комедия Эрдмана *Мандат* шла с большим успехом в Театре имени Мейерхольда в 1932 г. взялись за репетиции, и в ГОСТИМ'е и во МХАТ'е, второй комедии Эрдмана, *Самоубийца*. Пьеса, однако же, разрешения не получила. Премьера состоялась в Цюрихе незадолго до смерти Эрдмана, — он умер в Москве в 60-ых годах. В пределах СССР пьеса никогда не ставилась.

³⁴ Начальник личного секретариата Сталина.

³⁵ АРтисты МХАТ'а.

³⁶ В. В. Вересаев, *Гоголь в жизни*, Ленинград, 1933.

³⁷ *Мастер и Маргарита*. см. Письмо Советскому Правительству от 28 марта, 1930: «Границ» № 66, 1967, стр. 159.

³⁸ Дом в Нащокинском переулке — см. адрес в конце письма Горькому от 1. 5. 34 г.

³⁹ Этот отрывок уже опубликован, («Вопросы литературы» 1965, № 3, стр. 162). Включаем его здесь для полноты картины.

⁴⁰ Речь явно идет о *Мольере*.

⁴¹ *Дни Турбинных* сняли с репертуара в конце сезона 1928-1929 гг. Постановка возобновилась 18 февраля, 1932 г. — несомненно по инициативе Сталина. Пьеса была одна из его самых любимых, поскольку он считал, что она была «демонстрация всесокрушающей силы большевизма». (Письмо Биллю-Белоцерковскому, цит. соч.) За-протоколировано, что Сталин смотрел спектакль 15 раз. (В Петелин, «Огонек», 1969, том XI, стр. 27.)

⁴² Судя по всему, лицо это — драматург Вс. Вишневский. Обстоятельства, в которых драматург «убил Мольера», остаются загадкой.

⁴³ Младший брат Булгакова — Иван; средний — Николай. Черты

обоих братьев вошли в изображение Николки в романе *Белая Гвардия*.

⁴⁴ Мать Булгакова, Варвара Михайловна (1869-1921) была женщина высокой культуры, неустанной энергии, острой и живой речи. Булгаков сам свидетельствует о том большом значении, которое имела она в его воспитании: «Мать умерла в 1921 г. Это был неизгладимый, громадный толчок. Задумал роман (*Белая Гвардия*) в 1922 г. Мать мне служила стимулом для создания романа...» (ответы на вопросы Попова).

⁴⁵ Ка-Эс — К. С. Станиславский.

⁴⁶ Анна Ильинищна Толстая — внучка Льва Николаевича и жена Попова.

⁴⁷ Рамзинское дело — первый «процесс вредителей», в 1931 году.

⁴⁸ А. Н. Тихонов, редактор серии «Жизнь замечательных людей», которому Булгаков сдал рукопись своей биографии о Мольере. Горький, основатель серии, согласился с Тихоновым: — «Дорогой А. Н. — с Вашей вполне обоснованной оценкой работы М. А. Булгакова совершенно согласен. Нужно не только дополнить ее историческим материалом и придать ей социальную значимость, — нужно изменить ее «игривый» стиль, в данном виде это — не серьезная работа и Вы правильно указываете — она будет резко осуждена». (28. IV. 1933). В частном разговоре с Тихоновым, Горький будто бы выразился свободнее: «Конечно, талантливо, но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет».

⁴⁹ Елена Сергеевна.

⁵⁰ А. Гдешинский — друг юности Булгакова в Киеве.

Кембридж

Лесли Милн

ПИСЬМА М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Монографии о всем творчестве М. В. Добужинского еще нет. Ранним его работам были посвящены отдельные статьи в журналах, а также книга Э. Голлербаха «Рисунки М. Добужинского», 1923 г. и книга С. Маковского и Ф. Нотгафта «Графика Добужинского», 1924 г. О всей последующей деятельности художника можно узнать только по отдельным заметкам и статьям в газетах и журналах. Помещаемые письма М. В. Добужинского относятся к последним годам его жизни и являются материалом, который может служить будущему исследователю творчества М. В. Добужинского ценным первоисточником. Эти письма написаны к Е. К. и Е. И. Сомовым.

О Елене Константиновне и Евгении Ивановице Сомовых надо сказать следующее: Е. К. Сомова родилась в Баку в 1889 году, училась затем в Москве, окончила Бестужевские Высшие женские курсы. Отличалась необычайным радушием и гостеприимством. Е. И. Сомов родился в 1881 году и был родственником художника К. Сомова; по образованию инженер. Будучи еще студентом Московского университета, часто бывал в доме Сатиных, где был одним из участников любительского хора, которым управлял С. В. Рахманинов. Давнишнее знакомство с Рахманиновым возобновилось, когда Е. И. Сомов оказался в Америке. Е. И. Сомов много лет был секретарем Рахманинова и принимал большое участие в устройстве выставки картин русских художников в Америке в 1924 году.

Е. И. Сомов помогал также М. А. Чехову в устройстве Новой Театральной Школы в штате Конекиут; принимал горячее участие в издании книги «Памяти Рахманинова», редактором которой был М. В. Добужинский.

В семье Сомовых в Нью-Йорке бывали художники, музыканты, ученые. Одним из близких друзей четы Сомовых был

Эти письма Мстислава Валерьевича Добужинского, с разрешения его наследников, переданы нам для печатания Е. Е. Клиновым и печатаются с вступлением и примечаниями Е. Е. Клинова. РЕД.

М. В. Добужинский. Его письма к Сомовым написаны в период с 1952 по 1959 гг., когда в связи с театральными работами М. В. Добужинский жил в Италии, Лондоне и Париже.

Е. И. Сомов скончался в 1962 году, Е. К. Сомова скончалась в 1969 году.

Е. Климов

25 июня 1952 г.

11, rue Ernest Кresson, Париж, 14

Милые друзья, уже идет второй месяц, как мы в Париже, угар уже начинает проходить, наступают будни, но и они приятнее нью-йоркских. Все таки видим, какой это неудобный и утомительный город Париж! Это — почти повсюду отсутствие лифтов (они только в новых домах) и бесконечные лестницы в метро — великое неудобство, ибо от этого мы совсем отвыкли в Нью-Йорке. Вначале я без конца шагал по городу, теперь же сдал. Хорошо, что все время стояла прохладная погода. Живем в отеле, и это накладно и очень неудобно в смысле питания — это берет ненужно много времени, и большей частью нам доступные рестораны очень плохи, совсем не вкусно. Где прежний Париж? Мы ищем мебл/ированную/ комнату, но достать, говорят, невозможно.

До 15 июля мы никуда не собираемся двигаться, сезон же богатый и чреватый встречами. Встретили очень многих старых друзей и знакомых, часто видим Бенуа, внешне он очень постарел, но такой же живой духом. Он живет один, и его обе дочери каждый день приходят, и всегда у него кто-нибудь.

Мы довольно много раз бывали в театрах, но еще не собрался на выставки, их много, очень интересных.

По приезде я виделся с Мясиным¹ и сразу же стал делать то, чего не хватало для «Мадемузель Анго», и то, что он хотел сделать по-другому (спектакль предложен был на осень). Виделся и с директором Оперá и Оперá Комик, все было одобрено, мы сговорились и о гонораре (или ждать контракта), и вдруг — катастрофа: Мясин уехал во Флоренцию, и в его отсутствие произошло событие — балетная труппа Оперá Комик распущена и «Анго» отменена! Таким образом и я с носом, и Мясин с носом. Не знаю, как он реагировал. Была целая цепь интриг, говорят...

...на выставке в музее Гранд Оперá «10 лет балетов в

Оперá» — читай: балеты Лифаря. Там выставлены 4 моих эскиза декораций и костюмов для Половецких плясок, сделанных 2 года назад, что мне приятно.

Вчера же был на огромнейшем представлении в Оперá: «Les indes galantes», муз/ыка/ Рамо (1-й раз было поставлено в 1735 г.!) — это гвоздь сезона и очевидно затеяно в противовес «фестивалю», где фигурируют и организовывают американцы: Н. Набоков и Баланчин! Потрачено на это чуть не 70 миллионов франков. Это и опера, и балет, и в общем феерия, и хотя роскошь и технич/еские/ трюки невероятны — в конечном итоге — бесвкусица... На сцене кажется, что 1000 человек, там и кораблекрушение, и землетрясение, и извержение вулкана, и с облаков спускающиеся толпы амуротов, индейцы, африканцы, турки, рыцари корсары, обезьяны (с хвостами на голове), и все цветы, какие существуют, словом «чорт в стуле» и тошнит, как после обжорства. Танцы ставили три балетмейстера (в том числе Лифарь), а декорации и костюмы делали семь художников! Я думаю, Дягилев перевернулся в гробу — так тут нарушена всякая мера. Так это странно! Руководил всем этим г-н Леман, сам директор Оперá (съевший «Анго»), который был раньше режиссером в Шателэ. Он и насадил стиль «ревю». Но, конечно, это представление — сенсация и огромный успех, на деле же очень страшное падение вкуса.

Сюда прилетел и на днях снова будет в Париже м-р Бинг, директор оперы Метрополитэн, и мы с ним разговаривали о «Борисе Годунове»: — весной 1953 г. он предполагает поставить сию оперу. Все это хорошо, и я жду контракта, но ужасно то, что они хотят переделать на «Бориса» — «Хованщину»... иначе сказать, приходится уничтожать моими руками мое детище, а новых декораций только 4. Костюмы применить не так болезненно, но все же мне предложено 6 новых эскизов для главных персонажей «Бориса». Мне уже прислали Working Framings² «Хованщины»... но до контракта я не хочу ничего начинать, столько раз обжигался.

На днях идем к Татьяне Сергеевне.³ Как здоровье Ирины?⁴ Что у Вас? Где Вы? Откликнитесь! Вы же самые наши дорогие друзья в Нью Иорке, и мы скучаем без Вас. Е. О.⁵ и я мы обнимаем.

Ваш М. Добужинский

Мой сын Стива и его жена Лида не покладая рук работают — для театра тоже, тут появился невероятный богач (и невероятный скупердяй) В., который, как Вы можете быть слышали, в прошлом году устроил фантастический по роскоши карнавал в Венеции. Теперь он затеял в театре Марини какие-то живые картины, и для этого именно и работают Стива и Лида, и даже я им помогал писать «таписсери» с Единорогом по образцам дивных gobеленов в Клюни...

Милан, 19.II.1953

Дорогие, милые друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович!

Пишу, только что вернувшись из Флоренции, где мы провели два дня. Вот куда занесла нас судьба. Там не были с 1911 г., т.е. 42 года — и она совсем прежняя. Когда я ночью очутился на площади Синьории — совершенно безлюдной и увидел всю эту прелесть — огромную башню, Лоджию, фонтан с нептуном и Давида Микель Анджело — это было как сновидение! А Mercato Nuovo,⁶ где сидит 300 лет бронзовый вепрь, окруженный лягушками и ящерицами, все так же стоят лавочки со всяkim товаром, и удивительно, как эта современная жизнь и быт не портят старины, и на каждом шагу сюрпризы. Мы ходили по закоулкам, наткнулись на маленький рынок, который приютился около памятника-фонтана одному из Медичей. Быт совсем не умер в Италии, по-прежнему ослики и всякие разносчики, видел раз, как на веревке с верхнего этажа спустили корзиночку такому разносчику, и тот положил сдачу. Каким-то чудом Флоренция мало потерпела от воды, только мосты разрушены и стоят какие-то уродливые, — временно? Но Ponte Vecchio все тот же с маленькими лавочками ювелиров и с бюстом Бенвенуто Челлини посреди моста. — Вы понимаете, какое было наслаждение увидеть снова такие любимые места, узнавать все знакомое. Невероятно!

Конечно, за два дня можно было бы увидеть очень много, но не было времени: я приезжал по делу!

Не помню, писал ли я Вам, что мне, когда мы были еще в Лондоне, было сделано предложение поставить «Хованщину» в театре Сан Карло в Неаполе. Это была затея Добровейна, дирижера и режиссера (мы с ним ставили вместе «Евгения Онегина» в Дрездене в 1923 г., а теперь встретились в Париже

у Татьяны Серг. Конюс!). Но пришлось отказаться, был невероятно короткий срок и, как я увидел, пришлось бы все переиначить, а многое сделать и заново по планам Д/обровейна/.

Взяться было бы просто недобросовестно, т.к. тут еще предстояла «Анго» в Скала... Но, отказавшись, я предложил театру несколько моих рисунков костюмов (я как раз все взял с собой в Европу!). Они долго тянули и вдруг — ряд писем и телеграмм и телефонов (тут на сцену появилась Ada Finzi, агент, у которой все нити — она и вела переговоры). И вот меня т.с. «командировали» во Флоренцию — где огромные костюмерные мастерские (Peruzzi) и склад театральных костюмов, обслуживающих множество итальянских театров, чтобы выбрать подходящие или заказать новые для «Хованщины».

Занят в сущности фантастикой, т.к. совершенно непонятно, как можно справиться со всем этим в несколько дней, оставшихся до премьеры в Неаполе (хотя говорят /что/ итальянцы, когда захотят, делают просто чудеса в одну ночь!).

Я со своей стороны сделал все возможное, отобрал, что поприличнее, для хора из оказавшихся у Peruzzi костюмов «Бориса Годунова»! (Вот тоже курьез: в Н. И. для «моего» Бориса, кот/орый/ должен пойти в марте — отбирают (по моим заочным указаниям) костюмы из «Хованщины»!!!). Я просто побоялся бы приехать и быть на спектакле. Как все выйдет — загадка. Хотел я все сделать точно, как никогда не делал эскизов, но боюсь, что всунут клюкву. Дункель, кот/орый/ исполняет декорации, пишет впрочем, что они работают «с любовью...»

Все это я добросовестно проделал во Флоренции и оставил там очень много (35!) рис/унков/ костюмов для солистов и некоторые для толпы.

В заключение Добровейн заболел и в Неаполь не поедет! Я же проверить шитье костюмов не смогу — сейчас у меня самое горячее время в Скала!

Обидно, если будет конфуз и халтура. Я думаю своего имени не давать, а сохранить инкогнито. Надо все таки надеяться, что господа в Неаполе образумятся и спектакль отложат.

Я очень, очень рад, что оказался в Скале, и о театре и об общей атмосфере я еще напишу. Работаю сейчас над разра-

боткой эскизов декораций (это новая версия Мясина, и по сравнению с «Ангом» 43 года много перемен). С ним я вожусь каждый день, а для работы мне Кока Бенуа⁷ предоставил в самом театре, рядом со своим кабинетом, отдельную комнату — студию, где я блаженствуя, — так удачно!

Костюмы уже шьются.

Мы живем в 10 минутах от Скалы в итальянском пансионе, хотя называется «пенсионе интернационале», и тут очень уютно и по-домашнему, мы уже обжились, понемногу, взапуски с Ел. Ос. учимся по-итальянски.

Город нам очень нравится. Все — первого сорта, и нельзя и сравнивать с бедным опустившимся Парижем и полу-городом Лондоном. Какое богатство во всем и изобилие всего, и как все налажено, и какое благоустройство. Очевидно побежденные — выигрывают...

В общем жизнь, конечно, здесь дешевле, чем в Париже во всяком случае. Между прочим, нигде нет такой дешевки проезда (на трамваях), и в пансионе ничего не берут за телефон...

Но я расписался, и пора кончать. Так будем рады, если напишете. Не забывайте нас. Как Ваши здоровья? Тут все больны (все время холодно, а вокруг Флоренции лежали снега), я тоже схватили грипп, Е. О., слава Богу, избежала. Она вообще бодра, только трудно почему-то ходить, и ходит с палочкой.

Напишите о себе и о наших друзьях. Пожалуйста, Ирине поклонитесь и Капустины.⁸ Мы очень соскучились, хотя, как видите, столько замечательных впечатлений — по нашему кругу в Н. И. и по нашему дорогому потомству (редко пишут).

Всего, всего хорошего. Сердечно оба целуем Вас обоих.

Ваш М. Добужинский

Никак не соберусь написать Мише Чехову.⁹ Будете писать — пошлите наши сердечные приветы им обоим.

13. III. 953

Дорогие наши Елена Константиновна и Евгений Иванович! Как здоровье Ваше Ев. Ив.? Я получил письмо от Тани Конюс, которая со слов Ирины пишет, что Вы были больны воспалением легких и еще не поправились. Мы беспокоимся и очень просим написать поскорее.

Получили ли Вы мое письмо после посещения Флоренции?

Мы все время в Милане но на днях собираемся на Итальянскую Ривьеру, что советует здешний доктор. Я очень утомился, и давление увеличилось, и Ел. Ос. тоже должна отдохнуть на свежем воздухе; уже начинаются теплые дни, и в Милане душно и пыльно. Но Милан нам продолжает нравиться. На днях мы целый день провели в Бергамо — это в часе езды на автобусе. Какой это очаровательный городок полный старины! От тесного нагромождения церквей (раннего ренессанса — преимущественно!), от этих аркад колонн, мраморных львов веяло настоящим театром! Узенькие улицы совсем не испорчены / дальнейшее неразборчиво. Е. К./... одно только коробит — повсюду расклеены были афиши, извещающие о смерти Ст/алина/ — и туда забрался! (Зато в одном киоске в Милане видели итальянский журнал, где на I странице большими буквами: «Stalin — allinferno!»)¹⁰

6-го марта была в опере Метрополитэн премьера «Бориса Годунова» с моими декорациями. Мы уже читали N. Y. Times; Ollin Dawnes, критик, ни словом о декорациях не упомянул, что не удивительно после того щелчка, который он получил от моих друзей после его критики «Хованщины».

Хотя я послал очень точные эскизы, но не уверен, хорошо ли выполнены декорации у Дункеля.¹¹ Он мне впрочем писал, что работал над моим «Борисом» с «любовью...»

Как бы мне хотелось, чтобы именно Вы оба видели «Бориса». Мне из оперы Метрополитэн сообщили, что он пойдет в этом сезоне 5 раз и что после Н. И. театр едет в Филадельфию и Кливленд. Я выцарапал из театра 2 билета для сына, они скучные, и у меня мало надежд, что они получат еще 2; на 1-м же спектакле были наши внучки, но еще не получили письма с их впечатлениями. Были ли еще какие-нибудь отголоски в прессе, не знаю. О. Даунс пишет какие-то несуразности, и по его статье ничего не могу понять. Поэтому мне так хочется знать мнение тех из друзей, которые были на спектакле. Не была ли Ирина Серг/? см. 4/. Напишите, пожалуйста, если сами Вы не попали на «Бориса», о впечатлении «свидетелей», которых Вы знаете.

Я делал моего «Бориса» без энтузиазма, с самого начала все было отравлено принесением для него в жертву моей «Хованщины», в которую я действительно вложил свои чув-

ства, а эта постановка была скорей результатом «ума холодных наблюдений». Но старания я приложил много.

Не помню, писал ли я Вам, что «Анго», ради которой я приехал в Милан, переложена на след/ующий/ сезон. Я впрочем все решительно тут закончил в смысле эскизов, и они только сложены в долгий ящик. Это все меняет планы, но со Скала у меня завязались хорошие отношения и мне очень бы не хотелось расстаться с Италией. В мае, во всяком случае, надо снова быть в Милане при начале писания декораций и шитья костюмов и может быть еще месяц провести тут. А как сложится лето — Бог знает. Буду Вам писать.

Пожалуйста, откликнитесь и успокойте насчет здоровья Е. И. Где Вы летом? Напишите о друзьях и о Н. И. жизни. Сердечно оба мы Вас обнимаем. Наши приветы Фед. Ник., Ирине (а что Софа?)¹² и всем, кто вокруг Вас. Все не соберусь написать Мише Чехову. Я здесь видел совсем недурной итальянский спектакль «3-х сестер», отличные актеры и, конечно, /неразборчиво. Е. К./... МХТ-ом, даже недурные декорации и костюмы, кроме офицеров — тут уже клюква — тоже хорошо.

Ваш М. Добужинский

Виа Овидио 26, Рим.

21/IX 953

Наконец пишу Вам, дорогие друзья, Елена Константиновна и Евгений Иванович, обещанное письмо. После 2-х месячного (чудного) пребывания во Фраскати, мы снова в Риме и кажется нашли нечто подходящее, чтобы пока никуда отсюда не двигаться. Но если в Риме ничего не заварится, вероятно поедем в Париж. Планы все были построены на Миланской Скале, театру я сдал все эскизы и за оные получил, что полагается (сделал много нового, т.к. это новая версия «Анго») и оставалась: supervision.¹³ Но произошел разлад у Мясина с дирекцией, и тот уехал, не закончив репетиций. Все остановилось, и мы тогда поехали на Ривьеру (я был болен и надо было подправиться). В Милан меня так и не вызвали, и неопределенное положение тянулся и по сей день! Т.к. в Милане нечего было делать, мы и удалились в Рим (собственно неизвестно, на что рассчитывая). Но не раскаиваемся, т.к. Рим есть Рим и может быть это лучшее место на свете, чтобы жить... Но, конечно, есть и множество «но...»

Мы очень, очень часто вспоминаем наших ньюиоркских друзей. Посмотрев да посравнив и Лондон, и Париж, и вот теперь Рим, находим, что, конечно, именно в Америке собрались самые нам близкие, да и именно там, извините за громкое выражение — действительно «сливки» и элита русских изгнанников (я не люблю слова «эмигрант»). В Лондоне процветает снобизм, а про Рим нечего и говорить, и все ссорятся, и только в Париже больше положительного и отрадного, но и то... видели ли Вы альманах, напечатанный в Париже к юбилею С.-Петербурга? Что за пошлость и ужас! И порой мы очень скучаем без американских друзей и больше всего — без Вас! (не говоря, конечно, о сыне и внучках!..).

Будь все нормально с моей работой для Скала, мы, пожалуй, и продолжали бы жить в Милане, город необыкновенно благородный (красоты в нем тоже замечательные), миланезцы в общем очень приятный народ, вежливый, и на улицах публика на удивление дисциплинирована (уважают красные и зеленые огни, и даже очереди при посадке в трамваи) — не то, что римляне — тут царит анархия (а говорят в Неаполе еще пуще), и чтоб влезть в вагон, надо орудовать локтями (каково нам после Лондона!). В Милане, правда, было очень мало знакомых — Кока Бенуа (который ко мне относится как к родному отцу) и Шильтаян¹⁴ (замечательный натюрмортист, которого давно знаю). Но потом кой с кем еще познакомились. В Риме же оказалось несколько давнишних знакомых, а теперь уже с новыми чуть не 20 домов. Оказались и компатриоты — литовцы. Как ни курьезно, на своих постах остались посланник и представитель Литвы при Ватикане! Тут живет мой большой приятель архитектор/ Белобородов, который в Риме уже 20 лет, он же и художник. Тут в самом Риме он построил одну великолепную виллу и очень много раз выставлял свои архитектурные фантазии, последнюю выставку его я тут застал. Делает много интересного. Рим и Италию он знает как редко кто, и я очень люблю ходить с ним по Риму и ездить по окрестностям.

Здесь я нашел Шарова — он бывший артист МХТ и давно режиссерствует. С ним мы ставили в Дюссельдорфе в 1927 г. «Ревизора» и «Натана Мудрого». Он уже «итальянец» — сейчас его пригласили в Амстердам. Он очень милый человек, хотя болтун и отличный имитатор.

Нашел я также и Тат/ьяну/ Мих/айловну/, ур. Сухотину (внучку Льва Толстого), она замужем за Альбертини, ее и ее мать Тат/ьяну/ Львовну я знал в Париже. Муж ее богатейший итальянец, ему принадлежит, между прочим, Teatro Elisei — самый большой в Риме. Она очень мила и благорасположена, обещала меня «лансировать...»

Из итальянцев я знаком с професс/ором/ Lo Gatto, кот/орый/ написал оч/ень/ хорошо иллюстрированную историю русского театра (где много обо мне), но больше никого не знаю.

Рим я еще мало знаю — только самое главное, но есть области в нем, которые я должен еще исследовать. Было страшно жарко, я просто не мог. Но до чего Рим богат и великолепен! и по-моему самое замечательное в нем — Колизей и купол Св. Петра — это настоящие «чудеса света». Я не знаю, были ли Вы в Риме — Вы должны согласиться, что это так, если были. (На эту тему можно много сказать и скажу, когда увидимся.) Я часто проезжал (по дороге во Фраскати) мимо Колизея и каждый раз поражался этой феноменальной его грандиозностью, простотой и массивностью (построен руками пленных иудеев после разрушения Иерусалима Титом в 70 г.!), которую ничто не берет — ни время, ни землетрясения (которые были!), ни злая воля к разрушению — дырки, пробоины его только хороши! И я только теперь понял, какая *красота* купола Св. Петра («красота» слово старомодное, но иначе не выразишь), и я просто наслаждаюсь, глядя на эти *божественные скаты*. Гений Микель Анджело...

Рим чудесен и своими «Castelli Romani» — в окрестностях ряд прелестных городов: не говоря о Тиволи и Фраскати — такая прелесть Rocca di Pape, Albano, Marino, Grotta Ferrata, Castel-Gandolfo — (летняя резиденция Папы), всюду мы были и неоднократно. Я радуюсь бодрости Елиз./ Ос./, она недавно одна поехала в Кастель Гандольфо после того, как я рассказал, какое это очарование (там совершенно круглое озеро Альбано — бывший кратер), и ей повезло: видела самого Папу! Пришла на площадь, когда к толпе на балкон своего дворца вышел Папа и всех благословил (и ее в том числе), а толпа ему *аплодировала*.

Повсюду замечательно удобное сообщение на отличных автобусах, которые называют «пульманы» и очень дешевые.

Вообще сообщение в Италии удивляет дешевизной (напр. трамвай в Риме стоит на огромное расстояние 15 лир: 1 долл. — 600 лир).

За эти 7 месяцев мы узнали итальянцев: в общем очень милый народ, любезны, даже поражает, до какой степени услужливы и внимательны (Елене Осиповне при ее седых волосах всегда обеспечено сидячее место в вагоне). Они очень трогательные и нежные отцы, очень ласковы со своими детьми, которые, нужно сказать, прелесть. Народ веселый и добродушный, но — жулики, и вероятно это у них в крови, ничего не поделаешь. Что в них раздражает, это их бестолковость и несообразительность (Моей фамилии, напр., они никак не могут прочитать, а имя — тем более, и на почте приходится сердиться). Неприятно и то, что они не особенно чистоплотны...

В деловом отношении (я могу судить только по Скале) они не формалисты и не мелочны, но все решается всюду у них лишь в самый последний момент. Так, вероятно, будет и с злополучной «Анго», приходится терпеть. Никто ничего не знает вперед.

Рисовал я в Италии, к моему сожалению, немного (болели глаза, потом жара), только последний месяц во Фраскати сделал немало и гораздо больше писал пером, и сделал и сократил очень много в своих воспоминаниях. Какая трудная задача писать *книгу*... Чувствую себя в общем так себе, очень устаю — годá, годá... Хотя Ел. Ос. говорит, что она очень чувствует свои годы, я этого у нее не нахожу.

Мы с ужасом читали, какая страшная жара стояла в Н. И. Жарко было и у нас, но что хорошо в Риме (во Фраскати тоже самое), что с 5 час. *всегда* прохладно. Как радовались за Вас, что Вы гостили у Ирины Сергеевны. Но какой маленький отпуск у Вас был, Евгений Иванович.

Наверное сейчас уже начались все сезоны, и наверное много интересного и по части музыки и лекций. Напишите нам, что именно интересно. Об опере Метрополитэн и о моем «Борисе» я не хочу и думать, я слышал только отрицательные вещи и очень боюсь, что эта «оклюквенная» режиссером постановка очень повредила моему имени.

На вопросы Ваш и Ваших друзей — «когда Д/обужинские/ приедут в Н. И.?» — ничего сказать не могу, мы очень много думаем об этом, и это м.ск. решение подобно решению

уравнения с очень многими неизвестными — мы остаемся на «мертвой точке...»

Кланяйтесь пожалуйста от нас Ирине Серг., Соф/ье/ Алекс/андровне/¹⁵ (с Тат. Сер. мы переписываемся), Федору Николаевичу, Шнитниковой¹⁶ и всем с чадами и домочадцами Вашим друзьям. Что слышно о Чехове (у меня на душе написать им), что слышно о /неразборчиво. Е. К./, им тоже всем сердечный привет!

Целую ручку Елены Константиновны и Вас обнимаю, Е. Ив. Ел/ена/ Осип/овна/ целует Е. К. и шлет сердечный привет Вам обоим, дорогие друзья. Напишите!

Ваш М. Добужинский

Мы сейчас устроились в приятном месте, за Тибром, и очень близко от чудной Пьяцца дель Пополо, у нас садик! и полнейшая тишина ночью, что большая редкость. Вообще Италия полна адских шумов, даже /неразборчиво. Е. К./ хуже Н. И., и особенно досаждают проклятые мотоциклы.

21. IX. 953

П. С. Еще два слова о самом Риме: Муссолини его расчистил и украсил, но Форум похож на хорошо содержимое кладбище, и поэзии, которую я в 1911 г. еще застал — когда вольно росли травы и кусты на Форуме — уже нет. Он сделал еще одну, по-моему непростительную, вещь: на месте узких улочек и старых домов-квартал/ов/, за которыми высыпался Св. Петр, он провел широкое авеню с обелисками-фонарями, и это худо. Не говоря о том, что по сравнению с храмом и колоннадой это не совпадает по стилю, дешево, пропорции этих новых домов, очень больших, убивают величие Св. Петра. Все таки Палатинум, превращенный в парк, — это красиво. Очень хорош Рим ночью, когда самые замечательные здания, как тот же Св. Петр, Капитолий, Колизей и Форум и многие церкви освещаются прожекторами.

Вообще уличное освещение необыкновенно светлое, куда Парижу, а Н. И. просто тьма кромешная! Рим замечательно чистый город, армия чистильщиков и убирателей бумажек целыми днями возится на улицах; то же надо сказать и про Милан.

С Белобородовым или «Барбабианкой», как я его называю, мы дня два назад сделали чудную прогулку в окрестные

уложки Пьяцца Навона. Вряд ли я мог бы без него найти такие шедевры барокко и ренессанса, которые прячутся в этих закоулках. И сама Пьяцца Навона с этим дивным фонтаном Бернини — обелиск с голубем мира наверху, водруженный на фантастической скале с пещерой, где ютится пьющий воду лев и красавица-лошадка, а вокруг разные боги и нимфы!

Но довольно, а то мое письмо уже превращается в Бедекер.

Еще раз обнимаю.

Ваш М. Д.

Виа Овидио, 26, Рим.

8. X. 953

Дорогие друзья. Вы совсем нас забыли... Я написал большое письмо Вам из чудного Рима и послал 21 сент., получили ли Вы? Мы живем позади сего замка св. Ангела, в 10 минутах ходьбы от него и стало быть столь же близко от св. Петра. Я рад, что тут мой приятель архит. Белобородов, с ним часто ходим по Риму, и я узнал замечательные места благодаря ему. Ел. Ос. вместе со мной сердечно целует Вас обоих и скучает по Вам, как и я! Напишите пожалуйста и поклонитесь Ир/и-не/ Сергеевне/, Капуст/ину/, Шнитник/овой/ и нашим общим знакомым.

Ваш М. Добужинский

/На обороте этой открытки изображение замка св. Ангела, Рим/

/Январь 1954 г./

Дорогие друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Ради Бога не сердитесь за непростительное молчание, но Вы так тронули нас Вашим дружеским письмом к Рождеству. А мы все время странствуем, и теперь пишу из Парижа накануне отъезда... в Милан. А после Н/ового/ Года я еще побывал в Копенгагене, моем издавна любимом городе. Что предстоит в Милане, как мы там устроимся и сколько пробудем — неизвестно. Меня туда зовет Мясин, которому Скала предложила поставить «Анго». Но еду, не имея не только контракта, но и официального предложения! Однако М/ясин/ и Кока Бенуа советуют приехать для упрощения вопроса на месте, а Ал. Н. Бенуа «утешает» тем, что итальянцы всегда все решают в последний момент.

Кстати, Бенуа, после ужасного своего состояния... /не хватает в оригинале четырех страниц. *E. K.*/

...когда вся жизнь замерла, а в театре дирижер не видел своих музыкантов, на выставке же (я был как раз в один из таких дней на огромной голландской) картины можно было смотреть лишь вплотную!

Конечно, было много интересных впечатлений, особенно от музеев, в театре же были мало. Но самое интересное было посещение чудного города — Bath, где мы провели три дня в гостях у одной старой дамы, г-жи Хешел, в совершенно замечательном доме, полном прелестных вещей и картин, среди коих много Бенуа, есть Бакст и я. Сам город — северная Пальмира № 2, по его архитектурным ансамблям он напоминает С. Петербург (большой/ ч/частью/ постройки середины XVIII в., когда началась классика), но совсем иной, стоит на холме, построен террасами весь в *circus'ах* и *crescend'ах*)¹⁷ и великолепен своими колоннадами (на одном доме я колонн насчитал 100). При этом все построено из белого камня. Я рассказал Бенуа, он немного знает это чудо и мне завидует!

Напишите побольше о Вас, дорогие друзья. Знаем от Т. С. Конюс. Я узнал лишь, что Евг. Ив. остался на прежней службе и что заключен контракт, несмотря на «Old Age», который есть один предрассудок, конечно, и удивительно, что американцы этого не хотят понять! От нее же и то, что косвенно и из Вашего письма, дорогая Елена Константиновна, можно заключить, что Ирина С/ергеевна/ воскресла, слава Богу (результат операции?).

Ну и разболтался! Кончуя. Вам всего хорошего от меня и Ел. Ос. в Новом Году. Сердечно Вас обоих мы оба целуем.

Ваш М. Добужинский

П. С. Что знаете о Мише Чехове? Когда будете писать, поклонитесь пожалуйста от нас им. Я сам не знаю, когда успею написать. Если будете так милы, что соберетесь написать — мой постоянный адрес: 11, rue Ernest Кresson, Париж, 14, сын всегда, всюду, где я буду, будет знать. Писать просто мне. Консьержка знает меня.

Еще раз обнимаю и целую.

Ваш М. Д.

5. III. 954

Корсо Триесте 93, Рим

Дорогие, дорогие наши друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Ради Бога простите молчание. Оно оправдывается страшной кутерьмой и передрягой, в которых я увяз с «Евгением Онегиным» для театра Сан Карло. Я не мог себе представить, как трудно иметь дело с итальянцами, какие они «коекаки» и все решают в последнюю минуту. Между тем размах необыкновенный: для Неаполя мобилизованы силы Рима, Милана и Флоренции! Костюмы шьют во *Флоренции*, и для сдачи некоторых рисунков в работу и для *выбора* (что самое ужасное) костюмов пришлось поехать во Флоренцию на два дня (на свой счет, между прочим; неаполитанцы отчаянно скупердяи, и я опрометчиво подписал вовсе не блестящий контракт). В Риме же пишутся декорации, которые отправят (конечно, перед самым спектаклем) в Неаполь, а в *Милане* — склад мебели, и хотя в Риме есть отделение этого Ранкати, но /неразборчиво. *E. K.*/ вещи и оттуда. Была весьма неприятная работа поисков в римском складе нужных вещей, и, конечно, пришлось взять не то, что хотелось, и, как говорят, «войти в сделку с собственной совестью». Ужас же главный в том, что хоть пишут декорации в самом лучшем ателье, какое есть, но пишут по старинке и совсем не умеют копировать, делают «отсебятину», и получаются совсем не мои декорации. Я ходил вначале и пытался поправлять, но получилась обида и целая история, так что я больше не посещал мастерской. Она помещается на крыше упраздненной церкви, в замечательном месте старого Рима, около Пьяцца Венеция и Театро Марчелло, но подниматься надо по 65 ступеням ужасно кривой и темной лестницы, и я изнемогал. Мне же строго запрещается теперь делать такие упражнения... Что из всего этого выйдет — не знаю, полагаюсь на Николая Чудотворца.

Спектакль назначен был на 21 марта, но вдруг телеграмма: вместо 21-го, «Евгений/ Онегин» пойдет 13-го, и это просто катастрофа... Шаров, Петр Федорович (бывший актер МХТ, а раньше театра Комиссаржевской, теперь Пьетро Шиароф, итальянский весьма известный здесь режиссер) не сколько/ дней назад поехал в Неаполь режиссером — вчера пишет, что до сих пор не начали никаких репетиций (сегодня уже 5-е, и до генеральной/ репетиции остается 6 дней!!!), а оркестр еще не видел дирижера (известного Серафини).

О какой же художественности вообще можно думать. Вот Вам Италия. У меня *страшнейшее разочарование*.

Я хотел поехать (с Ел. Ос., конечно) *сегодня*, но тот же Шаров пишет «экспресс», что мне там нечего будет делать до 8-9-го. Костюмы пришлют только 10-го, холсты же держат, только теперь начинают прибывать, и их только что наколачивать стали на деревяшки.

А многие мои знакомые еще хотят из Рима поехать в Неаполь на премьеру! Я всех отговариваю и сам с удовольствием бы поступил как Подколесин и представляю себе, как меня будет бесить и волновать эта халтура.

Глупо еще и то, что единственno, что остается «*моего*», — мои эскизы (я очень многое сделал по-новому, чем в Дрездене), и эти эскизы по дурацкому контракту я должен дать театру, а 7 больших гуашей это маленький (хоть и мертвый) капитал...

Нет, кажется баста. *Такого* театра я больше не хочу. После Неаполя, т.е. в конце марта, предполагаю вернуться в Рим — комнату оставил за собой, пишите в Рим.

Вот как-то ухитрился между делом написать Вам такое большое и нудное письмо. Вы теперь понимаете, каково было время. Рима самого я почти не видел, и некогда было куда-либо ходить. Отрадно лишь было побывать на огромной Голландской выставке с чудными Вермерами, Гальсами и Рембрандтами. О выставке своей я еще не думаю, пропустил возможность ее сделать в клубе иностранной прессы, где предлагали бесплатное помещение, что большая редкость, но вообще в Риме не советуют выставляться — будто бы тут никто ничего не понимает, а лучше в Милане. Но посмотрим. У меня за лето все-таки кое-что накопилось (этюды Бордигер; маленьких городков возле Рима и Фраскати). Я бы теперь с большим удовольствием взялся бы за «картинки», чем за декорации.

Между делом как-то расширяются знакомства, но б.ч. среди русских, и наших литовцев тоже не забываем (в Риме до сих пор не упразднены литовские дипломаты! с ними приятно). С итальянцами же мало общения. По-прежнему дружу с ми-лейшим А. Я. Белобородовым, архитектором, которого мы называли еще в П/етербурге/ Барбабианка, у него уютно, чудные книги, и сам он неустанно делает свои картины, архитек-

турные композиции, очень искусные, и нам с ним есть что вспомнить. Он меня очень просвещает по части Рима.

Надо кончать, приходит фотограф делать снимки с моих эскизов для неаполитанской программы...

Обнимаю Вас сердечно обоих, так же, как и Ел. Ос. Она хоть и жалуется часто на усталость и годы, но иногда бывает бодрее меня и в лучшем настроении, чем я. Нас утешают сыновья своими письмами и внучки. Старшая девочка пишет как совсем взрослая особа (ей 16 лет). Утешают и далекие друзья, нас не забывают, не забывайте и Вы!

Всего Вам хорошего! Ваш М. Добужинский

8. III Сейчас едем в Неаполь, пожелайте нам ни пера, ни пуха. Что же Миша Ч/ехов/? У меня на душе все время то, что совсем давно ему не писал. Передайте ему и Кс. К. ¹⁰ нашу неизменную любовь. От Шнитниковой было тоже милое приветствие в стихах к Н/овому/Году. Передайте привет Ирине Серг. и Фед. Ник. самый сердечный. Всем кланяемся. М. Д.

28. III. 954

Корсо Триесте, 93. Рим.

Дорогие милые друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Я не писал Вам давно только потому, что весь с головой ушел в «Евгения Онегина». Спектакль в Неаполе в знаменитом и великолепном театре Сан Карло шел 17-го марта, и наконец Вам могу написать.

Премьера имела неожиданный для меня «успех», былиaplодисменты по адресу певцов и певиц во время действия и хлопали и на премьере и на последующих спектаклях декорациям Петербургского бала... Но мой первый контакт с итальянским театром доставил мне много огорчений и разочарований. Не так началось дело в Миланской Скала, вероятно благодаря Коке Бенуа, который там Art Director; начало было самое симпатичное, и очень жаль, что «Анго» из-за каких-то недоразумений между Мясиным и дирекцией заснула непробудным сном. Прежде всего я был крайне недоволен, как написаны декорации в Римской студии Парравичини (холсты были посланы в Неаполь для «подделки»). Сам он неплохой театральный/художник, по-видимому не касался своей кистью декораций, отвлеченный какой-то другой работой, и все было в руках старика Гарibольди, который развел невероятную отсебятину и приблизительность, и я увидел, что *копировать* (а этого я

только и просил) тут *абсолютно* не умеют. Хоть студия эта находится в чудном месте старого Рима, но утешения от этого мало. Помещается на крыше упраздненной церкви, и там чертовская темная лестница с 67 ступенями. Все-таки, несмотря на то, что это вредно, я там был 4 раза, но потом прекратил, не так благодаря этому неудобству, как оттого, что увидел, как мои поправки обижали этого Гарибольди, и даже вышла целая история. Между тем надо было следить решительно за всем, недобросовестность меня возмущает, а тут, кроме всяких неправильностей в рисунке и пропусков (напр. не была нарисована, неизвестно почему, в пейзаже сельская церковка на горизонте, — а я дал отдельный и точный ее рисунок — которая придала бы пейзажу уют, хотя ее и нет у Пушкина) — появились разные сюрпризы — дополнения, не существующие на эскизах (для курьеза я записал такой список этих отсебя-тин). Чтобы «украсить» мой пейзаж в усадьбе Лариних, он же фон сада — появился на горизонте даже чудный городок, освещенный солнцем — Москва?!! Но все это увидел лишь на сцене в Неаполе, многое постарался поправить и уничтожить самолично, но многое так и осталось непоправимым, несмотря на усиленные и неоднократные просьбы, обращение к заведующему сценой С. Карло. Так и осталось в окне последней картины Петропавловская крепость с 2-мя (!) колокольнями, несмотря опять же на точный рисунок силуэта (впрочем, этого никто повидимому не заметил...). Каково это все было терпеть! Непоправимыми остались, конечно, почти всюду неверные пропорции и архитектурные погрешности, а о тонкостях стиля (какой там «Гваренги», которого я стремился передать в сцене ПБ/Петербургского/ бала!) — нечего и говорить. Нельзя было поправить и краски, непохожие на мои, как ни пульвериз/иро/вали бал у Лариних и комнату Татьяны. Я с благодарностью вспоминаю и сравниваю Н. И.-скую студию Дункеля и особенно студию Альянс, где писал «Бал-маскарад»¹⁹ и «Воццек»²⁰ где превосходные исполнители. Вероятно, если бы декорации написаны были в Неаполе, у Кристини в чудной мастерской в самом театре С. Карло (с лифтом!), все было бы иначе: там очень хорошо именно *копируют*, и не получилось бы того налета какой-то старомодности и даже пошловатости, который меня до крайности угнетает.

К счастью на сцене многое скрасилось освещением (до-

вольно хорошим), да и публика, очевидно, не замечала того, что меня так коробило. И по-настоящему *всё* надо было бы переписать заново (я, конечно, становлюсь все более и более требовательным, впрочем и к себе тоже...). Вначале я был так зол и расстроен, увидев все эти гадости и небрежности (теперь я знаю, что небрежность, «коекакство», приблизительность, все это типичные черты современных итальянцев, увы!), что сгоряча написал в дирекцию С. Карло, чтобы сняли мое имя с программ (чему не вняли). Под конец я впал в полное равнодушие.

Не меньше страданий доставили и костюмы. Дирекция из экономии решила подобрать костюмы из склада Перуччи во Флоренции и вначале согласилась сделать новые только для главных персонажей. Но постепенно так вышло, что по моим рисункам удалось сделать довольно много. Для этого подбора я должен был поехать (за свой счет!) во Флоренцию и был в ужасе от тех костюмов, кот/орые/ мне предложили для «Евг. Он.» Особенно безобразны русские пейзане, для мужиков рубашки куцые а-ля хор Жарова, а не длинные почти до колен, как следовало бы, а бабы «Венециановскими», как я хотел, не вышли, а были просто «Матрешки», и то хорошо. Новые же костюмы, хотя сшиты неважно, однако были приличны, но на примерку я поехать уже не мог и был занят в театре. Все же белый ансамбль костюмов на ПБ балу с разными цветными оттенками платьев и с группой 10 кавалеров-пажей, в белых коротких лосинах и длинных чулках — удалось (все эти костюмы были сшиты заново по моим эскизам, и еще подобраны были 10 гусар/ских/, вполне «точных»), как и костюм Татьяны на этом балу («малиновый берет» по Пушкину с белыми страусовыми перьями, желтой юбкой с бело-серебряной отделкой, черным бархатным корсажем и белым шарфом с малинового цвета турецкими бобами и черной бахромой). К удивлению у Перуччи нашлись и подлинные того времени расшитые серебром и золотом фраки для группы дипломатов...

Оперу ставил Шаров, Петр Фед/орович/, б. артист у В. Ф. Комиссаржевской и МХТ, а потом директор «Пражской Группы». С ним я в 1927-28 г. ставил в Амстердаме Гамсуну и в Дюссельдорфе «Ревизора» и «Натана Мудрого». С ним работать было приятно. Он в Италии 25 лет и тут очень популя-

рен, но ненавидит современный итальянский театр и больше работает в Голландии и 3 раза ездил в Тель Авив. Ему пришлось не меньше моего намучиться с этой постановкой. Хористы бездарны, вампукисты, актеры и актрисы неинтеллигентны, упрямы, безвкусны. Никакой дисциплины, и если Шарова, как режиссера, слушались, со мной совсем почти не считались (кстати сказать, к удивлению, престиж художника тут стойт не на высоте, и мелочь, но характерная: фамилия стоит позади всех других, не то, что в Америке, где по правилам юниона она помещается непосредственно за режиссером и печатается тем же шрифтом...). Дура — «Татьяна» (впрочем оч/ень/ хорошая певица, красивая, молодая, тонкая — редкость для Татьяны) вздумала надеть бриллиантовые серьги для сцены письма, и мы с Ш/аровым/ еле успели их снять с нее. Она же не захотела носить тот красивый шарф (часть ее к/остюма!), т.к. он «тяжелый», но все-таки после слез она послушалась. Ольга (как всегда толстая и уродливая), конечно, ходила на высоких модных каблуках. Онегин, и без того толстый, еще больше подчеркивал свою тучность, выпячивая какие-то огромные галстуки (мои советы не действовали!). Няня, на удивление «русская», совсем хорошая Филиппевна, вдруг попросила (хорошо еще, что предупредила, а не /неразборчиво. Е. К./ сама) — в сцене бала у Лариных, куда ее Шаров тоже выпустил — попросила дать ей лорнетку!!! Но хорош и скромен был Ленский, чудный тенор, и получилась /также/ удачная статная фигура Гремина. Ему тоже сшили по моему рисунку однобортный мундирный фрак с белыми панталонами и длинными белыми чулками, даже нашли приличные ордена и даже звезды, и Шаров (т.к. Гремин «в сраженьях изувечен и нас за то ласкает двор») посоветовал ему носить на одном глазу черную круглую нашлепку (так ходил князь Орлов, российский по-сланник в Париже). Но палкой, которую ему Шаров тоже дал, чтоб он, слегка прихрамывая, на нее опирался, — он ею играл (на балу!) как тросточкой, тоже, значит болван...

Спектакль прошел всего *три* раза, хотя театр все время был полон. Но это такое у них правило, на носу была новая премьера /неразборчиво. Е. К./ — что весьма глупо, конечно. И вряд ли «Евг. Он.» будет в будущем сезоне возобновлен. К Чайковскому отношение безразличное, и старый дирижер Серафини (все время сцеплявшийся с Шаровым) оказался не

на высоте. Пресса была так себе, Шарова и меня цитировали, впрочем, в каждой газете, но писали общие места. В программе спектакля были помещены репродукции всех моих 7-ми эскизов (неважно напечатанные), и один критик усмотрел такие разницу между эскизами и декорациями. На спектаклях все программы были распроданы, у меня есть только одна, и к сожалению не могу Вам послать, а мне так хотелось прислать многим друзьям.

Неаполь мы почти не видели, погода стояла холодная, только под конец повеяло весной, да и времени не было, и остаться не могли — накладно, так что и в Помпею не попали... Был только в чудном музее. В Неаполе мы были в 1911 г., и воспоминания до сих пор живы.

С театром я расстался холодно. Во главе С. Карло стоит синьор Pasquale *di Costanzo* “Sovrintendente”,²¹ бывший обойщик, но замечательный, говорят, организатор, с искусством ничего общего, конечно, не имеющий и мною, как художником, не заинтересовавшийся, при прощании он только буркнул — «поздравляю». Мне пришлось иметь дело лишь с секретарем дирекции маркизом Паризи, очень воспитанным молодым человеком. Организаторская же доблесть дирекции выразилась в том, что премьера была перенесена на 7 дней раньше, чем была назначена (с 23-го на 17-ое), и всех заставили сделать невероятный «тур де форс» из-за дурацкой спешки, но успели таки к сроку! А сколько можно было исправить за эти дни. Вознаградили меня скучно (раза в 3 меньше, чем я бы получил за подобную работу в Америке), да и все 7 эскизов я должен был дать театру, не считая многочисленных рисунков/костюмов, что в Америке не полагается. Но я все-таки рад, что этот мой первый дебют оказался удачным и, главное, что мои силы и нервы выдержали экзамен. Но я давно так не злился и не страдал, как этот раз, и премьера была как «вырванный зуб». На премьеру приехало неск/олько/ знакомых из Рима, приехали бы гораздо больше, но я и Шаров многих отговаривали — мы боялись вначале, что будет провал. Я все-таки забыл, что «il y a un dieu au theatre» и что в последний момент иногда случаются чудеса.

Но не чудо ли, что судьба меня привела в Неаполь? И на премьере в С. Карло, сидя в партере рядом с Ел. Ос., мы толкали друг друга: «где же это мы?» И когда я выходил на вы-

зовы публики, я кланялся со сцены и тем близким и дорогим, кто отсутствовал и был далеко.

Ел. Ос. и я сердечно обнимаем Вас обоих.

Теперь Вы понимаете, как трудно было написать раньше. И только теперь, в Риме, в наших уютных комнатах, я «отхожу», но после непрерывного подъема в течение более 2-х недель, естественно, разбит. Все же продолжаю «постскрипту» к моему «Ев. Онегину»: начал делать повторение эскизов, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Планов пока нет.

Напишите подробно о Вашей жизни и о дорогих друзьях. Если им интересно узнать про эту эпопею в Неаполе — дайте прочесть это письмо. Всем кланяемся дружески /следуют имена, но неразборчиво. Е. К.) Перед Мишой и Кс. Карл. я так виноват, не помню, когда и писал.

Всего, всего хорошего.

Ваш М. Добужинский

Я слышал, что Чехов пользуется теперь в Холливуде необыкновенным престижем и что его советов и указаний ищут самые прославленные актеры. Верю этому.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

Все письма печатаются по новой орфографии. Круглые скобки принадлежат самому М. В. Добужинскому. В прямые скобки вставлены недостающие места текста. Подчеркнутые слова выделены самим автором писем.

1. Л. Ф. Мясин — известный балетмейстер.
2. План сценической постановки.
3. Татьяна Сергеевна Конюс — дочь С. В. Рахманинова.
4. Ирина Сергеевна Волконская — дочь С. В. Рахманинова.
5. Елизавета Осиповна Добужинская — жена М. В. Добужинского.
6. Новый рынок во Флоренции.
7. Николай Александрович Бенуа, сын А. Н. Бенуа (род. 1901 г.), главный декоратор миланского театра Скала.
8. Ф. И. Капустин, инженер, один из близких друзей Сомовых.
9. Михаил А. Чехов — знаменитый артист МХТ.
10. «Сталина — к черту».
11. Художник Е. Б. Дункель, под руководством которого исполнялись декорации.
12. Софья — дочь Ирины Сергеевны Волконской.
13. Наблюдение за выполнением работы.
14. Шильтиян — художник.
15. Софья Александровна Сатина — сестра жены С. В. Рахманинова.
16. Людмила Евгеньевна Шнитникова, дочь писателя Е. И. Чирикова, художница.
17. В кругах и полукругах.
18. Ксения Карловна — жена Мих. Чехова.
19. «Бал-маскарад», опера Верди.
20. «Воццек» — опера Альбана Берга.
21. Главный администратор.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В США И В СССР

В апреле 1973 года американские газеты опубликовали сообщение о том, что при переписи населения США в 1970 году «недосчитались» примерно от 4,8 до 5,8 млн. человек. Две трети из упущенных переписью были белое население, а одна треть — негритянское. Но в процентах недоучтенные белые составляли 1,9 процента, а негры — 7,7 процента.

В СССР, где существует административный контроль проживания всего населения, где перепись ведется не самоисчислением, самозаписью переписных данных, а опросом населения специальными переписчиками, все же какая то доля населения выпадает из переписного учета. Советский демограф А. Боярский отмечает, что «итоги переписи публикуются с точностью до одного человека, а ошибки в пределах 0,5-1 процента здесь довольно обычные. Для страны таких масштабов как наша, это значит допуск порядка миллиона человек» (Вест. АН СССР, 1972, 9, стр. 64). Если власти надо показать более высокий рост населения, то возможный недоучет, легкими манипуляциями превращается в «переучет». Этому способствует охват переписью как наличного, так и постоянного населения. Наличное население на данной территории — это люди, оказавшиеся на ней в момент переписи независимо от того сколько времени они здесь проживают и числятся ли в списках. К постоянному же населению относят тех, кто все время живет в данной местности и независимо от того, присутствовал ли он здесь в момент переписи.

После признания переписи 1937 года «вредительской» (по некоторым причинам, главная из которых заключалась в том, что численность населения оказалась на много миллионов ниже, чем считалось и чем хотелось показать) была проведена повторная перепись в 1939 году. И тут путем манипулирования с численностью постоянного и наличного населения удалось

осуществить двойной счет в ряде случаев, и тем самым показать количество жителей Советского Союза на 5-10 процентов выше фактической численности.

В послевоенных переписях, осуществленных уже после смерти Сталина, особой надобности в искажении фактической картины демографических процессов в сторону завышения численности населения СССР не было и поэтому переучет, неизбежный при советской системе переписи, был не очень велик, если верить официальным сообщениям. По сообщению упомянутого нами Боярского, в переписи 1959 года расхождение между данными наличного и постоянного населения... составило 580 тысяч человек, то есть около 0,3 процента. Автор, к сожалению, не упоминает каким образом была избегнута ошибка учета.

При рассмотрении демографических процессов и в США и в СССР мы не будем вносить поправки в официальные данные переписи, поскольку этого не делают демографы этих стран. К тому же такие поправки никакого влияния не оказывают на общую картину развития демографических процессов в обоих этих государствах.

Необходимость сравнения и сопоставления демографических процессов в Соединенных Штатах и в Советском Союзе важна не только потому, что сейчас меняется внешний политический курс СССР и США и пропагандируется усиление экономических, торговых и научно-технических связей и контактов, и это диктует более тщательное изучение человеческих и материальных ресурсов, которыми обладают эти самые мощные государства мира. Необходимость такого двухстороннего изучения диктуется и тем, что так называемое мирное сосуществование в Советском Союзе трактуется как экономическое соревнование, в котором победа должна обязательно оставаться за советской социально-экономической системой.

Мирное экономическое соревнование СССР с США — главный лозунг советской пропаганды на протяжении десятилетий. Советскому народу победа тут была обещана еще в шестидесятых годах, как это отмечено в программе партии, утвержденной на двадцать втором съезде КПСС. В программе черным по белому сказано, что «в ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на

душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США...» (XXII съезд КПСС, стенограф. отчет, т. 3, стр. 276).

Но эта программа — одновременно прогноз и закон — на поверку временем оказалась блефом. Не только на душу населения, но и по всему объему промышленного и сельскохозяйственного производства Советский Союз еще продолжает отставать (и весьма значительно) от Соединенных Штатов. В 1971 году даже по советским завышенным данным продукция советской промышленности составила три четверти американской, выработка электроэнергии — 44 процента, продукция сельского хозяйства — 85-90 процентов.

Еще большее отставание — по самому главному показателю, которым по Марксу и Ленину является производительность труда, как фактор превосходства новой социально-политической системы над старой. Тут СССР отстает от США на несколько десятилетий. Производительность труда в советской промышленности в 1971 году была немногим более половины достигнутого в американской промышленности. В сельскохозяйственном производстве положение еще хуже: в расчете на одного занятого в сельском хозяйстве советский колхозник производит всего около одной четверти или одной пятой того, что вырабатывает американский фермер.

Для выполнения плана девятой пятилетки необходимо не только достичнуть заданный уровень производительности труда, но и иметь дополнительные трудовые кадры. А это большое место советской демографической экономики, тем более, что международная ситуация, как пишет К. Вермишев, требует, чтобы потенциал СССР в мировом балансе населения и в трудовых ресурсах не снижался. Автор подчеркивает, что «в экономическом соревновании с капитализмом потребуется еще в течение многих лет развивать производство темпами, значительно превосходящими темпы роста населения». А для этого «одного повышения производительности труда, видимо, пока недостаточно» (План. X-во, 1972, 12, стр. 102).

Каково же реальное положение с ростом численности населения Советского Союза в настоящее время, и каковы прогнозы роста к началу двадцать первого века? Рассмотрим имеющиеся данные.

К началу 1972 года в стране числилось 246,3 млн. жителей, а к первому января нынешнего года еще добавилось 2 млн. 300 тысяч человек. Прирост за 1972 год составил около 0,93 процента. За последние пять лет прирост составлял ежегодно менее одного процента. Такое положение уже не на шутку тревожит правительство. Растет опасение, что вместо расширенного воспроизводства населения, на что рассчитывало государство, не будет обеспечено и простое воспроизводство. Все идет к нулевому приросту населения, которое для Соединенных Штатов предлагают многие социологи, встревоженные тем, что растущий расход природных ресурсов ведет к кризису, и — к необратимому, неустранимому загрязнению окружающей среды.

По данным Бюро переписей (переписи) к началу нынешнего года население США считается — 210 млн. 194 тысячи человек. За прошлый год чистый прирост населения Америки составил всего полтора миллиона человек, один из самых низких за послевоенные годы. Соотношение между численностью населения СССР и США сохраняется примерно на одном уровне. Население США составляет 85 процентов населения СССР.

Если взять общий прирост населения обеих стран за более или менее длительный срок, то окажется, что темпы роста численности населения примерно одинаковы. По американским данным, за период 1963-1971 гг. среднегодовой прирост населения составлял в обеих странах — 1,1 процента.

Каковы же прогнозы роста населения обеих стран на три ближайших десятилетия? Оправдались ли ранее сделанные предположения в реальности последних лет? В Советском Союзе первые прогнозы роста населения были сделаны ЦСУ СССР к двадцать второму съезду партии в 1961 году. Согласно им — к концу 1970 года население СССР должно было возрасти до 25 млн. человек, а в 1980 году составить около 280 млн. человек (цит. по стат. сборнику «Нар. Х-во СССР в 1963 году»).

Фактически в конце 1970 года в стране насчитывалось на 6 млн. человек меньше, чем прогнозировалось. Дело в том, что при составлении наметок на будущее учитывалось предстоящее изменение возрастного и полового состава населения, дальнейшее сокращение повозрастной смертности, некоторые увеличения рождаемости и роста городского населения.

В действительности же демографические процессы развивались не так как ожидалось. Вместо увеличения рождаемости произошло ее снижение. Падение смертности прекратилось; после минимума в 1969 году, когда смертность составила 6,9 на тысячу человек населения, смертность начала медленно возрастать и остановилась на уровне 8,2 в 1970-71 гг. Еще хуже оказалось положение с рождаемостью и с суммарным показателем — естественным приростом (как разницей между рождаемостью и смертностью за тот же период).

Так называемый повозрастный показатель рождаемости (число родившихся на тысячу женщин соответствующей возрастной группы) свидетельствует о падении рождаемости во всех без исключения возрастных группах женщин в 1969-1970 гг. по сравнению с 1960-1961 гг. Аналогичное положение с повозрастной смертностью. Если в 1969-1970 гг. по сравнению с 1958-1959 гг. число умерших в возрасте до 24 лет несколько снизилось, то начиная с 30-летнего возраста и выше смертность выросла во всех возрастных группах, как и в целом для всего населения страны (с 7,4 до 8,2).

Очень характерно для развития демографических процессов в СССР, что число родившихся с пятидесятых годов стало систематически снижаться на протяжении почти двух десятилетий. В 1969 году был минимум рождаемости — 17,0 на тысячу человек населения. Сейчас рождаемость чуть повысилась и составила 17,8 в 1971 году. Но некоторое увеличение рождаемости за последние два-три года не говорит об изменении общей тенденции. Сейчас, как отмечает Д. Валентей, стали вступать в брак большие по численности контингенты молодежи периода повышенной рождаемости первых послевоенных лет. Больше браков — больше детей (Правда 16 авг. 1972). «Такое положение, — пишет Валентей, — может продлиться до конца текущего десятилетия, но уже в 80-х годах в возраст наивысшей интенсивности заключения браков (а он исчисляется в интервале 20-24 года) начнет вступать меньше молодежи, что, вполне возможно, вызовет падение рождаемости».

По мнению А. Востриковой, значительное уменьшение численности населения в двух возрастных группах, охватывающих возраст с 20 до 29 лет, и падение их удельного веса в населении СССР не могли не сказаться уменьшением числа

браков на тысячу жителей (Вестн. Статистики, 1972, 2, стр. 36).

Вместе с снижением удельного веса молодых людей в брачном возрасте падает и число заключенных браков. Так, за десять лет после 1960 года из расчета на тысячу человека населения число заключенных браков снизилось на двадцать процентов (с 12,1 до 9,7).

У меня нет под рукой данных прогноза о количестве населения СССР в двухтысячном году, сделанных советскими демографами. Как будто предполагалось, что население СССР к концу нынешнего столетия возрастет до 400-450 млн. человек. Бюро экономических анализов Министерства торговли США опубликовало в мае 1973 г. доклад — «Оценка и проект возрастно-полового состава населения СССР с 1950 по 2000-й год». Авторы анализа предполагают, что население СССР составит в 2000 г. от 292 млн. человек по минимальному варианту и до 348 млн. человек по максимальному.

Кстати можно напомнить читателям, что французский ученый Эдмонд Тери, в книге «Экономическая трансформация России», изданной в 1914 году на французском языке, считал, что в 1948 году население России достигнет численности в 344 млн. человек, если будут сохранены темпы роста начала двадцатого века (и конечно, при тех же государственных границах, прим. автора).

Еще раньше французского исследователя о будущем России писал знаменитый Д. Менделеев. В своей работе — «К познанию России» ученый предполагал, что при сохранении среднего для того времени прироста населения в полтора процента в год население России в двухтысячном году достигнет 594 млн. человек («К познанию России», переиздано в Буэнос Айресе в 1952 году, стр. 11).

С оценкой численности населения США в будущем происходит такой же пересмотр, как и с будущим населения Советского Союза. И также приходится менять прежние оценки в сторону более низких показателей численности. Авторы известного и переведенного в 1965 году на русский язык труда — «Ресурсы США будущего» (Г. Ландсберг, И. Фишман и Дж. Фишер) свои расчеты будущего Соединенных Штатов вели с учетом трех вариантов численности населения Америки. За

основу расчета экономического развития страны взята средняя численность населения США в двухтысячном году — 331 млн. человек. Минимальный прогноз — 268 млн. и максимальный — 433 млн. человек (см. т. 1, стр. 44). Сейчас Бюро цензов считает, что на рубеже двадцать первого века число жителей США вряд ли будет выше 251 млн. человек.

Падение рождаемости и снижение естественного прироста за последние годы одинаково характерно для США и СССР. Это направление развития демографических процессов в Америке вызвало даже некоторое одобрение со стороны общественности и научных кругов. Сейчас в США усиленно пропагандируется «нулевой рост населения». В СССР аналогичная ситуация снижения биологической активности населения вызывает серьезную и при этом обоснованную тревогу во всех слоях общества. Б. Урланис, автор многих серьезных и популярных статей по демографии, в одной из работ подчеркивает особенную важность сейчас для СССР вопроса рождаемости, уровень которой значительно снизился. Он пишет следующее: «Подавляющая часть населения СССР перешла к системе внутрисемейного планирования числа детей, что в общем обозначает ориентацию на малодетную семью. Брачная пара в нашей стране, за исключением средне-азиатских республик и Азербайджана ограничивается одним, двумя, реже тремя детьми». — «...для простого возобновления поколений каждый брак должен давать 2,65 ребенка (иначе говоря, половина браков должна давать двух детей, половина — трех). В действительности же брачные пары производят на свет в среднем двух детей. Таким образом простое возобновление населения в *большинстве районов страны* (подчеркнуто нами, автор) оказывается не обеспеченным» (Вест. АН СССР, 1972, 9 стр. 60).

В настоящее время 80 процентов советского населения ограничивается, как правило, двумя или одним ребенком (Валентей, «Правда», 16 авг. 1972). В трех республиках с коренным славянским населением — в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, — за последние годы особенно понизилась рождаемость, как это показывают итоги всесоюзной переписи населения 1970 г. В 1969-1970 гг. валовой коэффициент возобновления населения составил в РСФСР — 0,96, на Украине — 0,99 и в БССР — 1,11. А ведь, коэффициент рождаемости в 1,4

уже заставляет серьезно заняться направлением демографической политики в нужную для государства сторону.

Советские демографы объясняют падение рождаемости естественным следствием роста урбанизации, повышения культурного уровня людей, повышения их потребностей, широкого распространения женского труда. Меняются времена. Еще недавно выдвигался пресловутый закон социалистического народонаселения, согласно которому с ростом материального благополучия в социалистических странах рождаемость должна повышаться и увеличиваться естественный прирост. Сейчас приходится утверждать обратное.

Советские авторы, обращаясь к демографическим процессам, происходящим в США не то сочувственно, не то с злорадством пишут о «скудеющей колыбели Америки», упуская из виду или сознательно игнорируя факт, что и колыбель СССР так же сильно оскудела. Автор статьи под подобным названием, Г. Герасимов, подробно цитирует доклад Президентской комиссии, созданной для рассмотрения вопроса о росте населения и о будущем США. Упоминается им и то, что авторы доклада считают с экономической стороны сокращение темпов прироста населения, которое определилось в последние годы не только не угрожающим национальной безопасности, но, что оно даже сулит существенные выгоды для страны («Новое Время», 1973, 9, стр. 25). Далее Герасимов пишет в соответствии с фактами, что «рекомендации президентской комиссии совпадают по направлению с нынешней демографической тенденцией снижения рождаемости в США...»

Мода на детей в Америке, действительно, как будто проходит. Но и советским демографам приходится признавать, что одной из причин снижения рождаемости в Советском Союзе: — не в моде многодетные семьи.

В 1971 г. рождаемость в США упала до самого низкого в истории страны уровня. В 1957 г. в годы «бэбибума» в США число родившихся составило свыше 4,3 млн., а в 1971 г. — около 3,6 млн., а в 1972 г. еще на десять процентов меньше. По сравнению с годом «бума» детей рождается на одну четверть меньше.

Примерно та же картина падения рождаемости и в Советском Союзе, хотя такого резко выраженного скачка послево-

енного «бума» деторождений, как в Америке, не было. В 1960 году в СССР появилось на свет 5,3 млн. детей, а в 1969 г. всего 4,1 млн., т.е. почти на 23 процента меньше. Как видим, та же тенденция и тот же размер снижения рождаемости как и в США. В обеих странах «скудеют колыбели».

Если сравним с прошлым, то падение рождаемости в СССР покажется еще более разительным, чем тенденция проявившаяся в послевоенные годы. В 1940 году при значительно меньшей численности населения родилось 6 млн. младенцев. А ведь до революции, в последнем предвоенном году, в 1913 г. число родившихся в России превышало семь миллионов.

Несмотря на одинаковое направление демографических процессов, проблема дальнейшего развития страны стоит по-разному в США и в СССР. В США замедление роста численности населения скорее вызывает одобрение, чем опасение. Американцам нет никаких оснований беспокоиться за будущее их страны, даже если прекратится рост численности населения. Экономическое и научно-техническое развитие Америки обеспечивает дальнейший рост самого высокого в мире стандарта жизни, быструю и своевременную реализацию достижений научно-технического прогресса. И нет никакой необходимости все социально-экономическое и культурно-бытовое развитие строить на экстенсивном, количественном увеличении населения.

Другое дело в Советском Союзе, где решение всех стоящих перед государством задач требует дальнейшего роста численности населения высокими темпами. Недаром советские авторы пишут о том, что международная обстановка требует, чтобы доля советского населения в мире никоим образом не снижалась, чтобы росла численность трудовых кадров и военнообязанного населения.

Какое соотношение в численности населения обеих стран предполагается в начале будущего столетия? Американские демографы считают, что в расчет надо принимать минимальные варианты роста населения в обеих странах, как это показывает нынешняя демографическая ситуация в обоих государствах. По минимальной оценке в двухтысячном году численность населения СССР достигнет 292 млн. человек, а населения США — 250 млн. человек, разрыв — 42 млн. человек в пользу численно-

сти населения СССР. Разница не столь уж велика, так как в настоящее время в Советском Союзе проживает на 38,5 млн. человек больше, чем в США. Подобное мало заметное изменение соотношения в численности населения обеих стран не создает никаких дополнительных преимуществ для СССР перед Америкой. В то же время перед советской экономикой встанут в будущем очень серьезные проблемы резкого повышения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, основательного улучшения транспорта и жилищно-бытовых условий возросшего населения.

А. Иванов

ВОЗМОЖНО ЛИ СБЛИЖЕНИЕ?

Обоснованно или нет, но в широких кругах (в том числе и политических) создается впечатление, что отношения между великими державами, входят в какую то новую, неизведенную стадию. Мир будто бы как то стабилизовался; борьба военными средствами стала немыслима, кое где еще слышны разрывы снарядов, где то еще «бомбят», но это только на периферии.

Такое впечатление о «сближении» создается не досужими домыслами каких-то фантазеров, оно подкрепляется договорами, кредитами, гарантиями, дипломатическими встречами и т.д. С другой стороны, усиление традиционных средств вооружения не отброшено а даже усилено. Вероятно, никогда страны столько не тратили на вооружение, на создание орудий, ракет и бомб как в этом 1973 году, когда некоторым кажется, что мир переходит из стадии «конфронтации» в стадию «дипломатических переговоров».

Итак, мир, как будто, развивается в двух, на первый взгляд, противоположных направлениях. С одной стороны, стабилизация, улучшение отношений, колоссальные торговые операции; с другой — усиленное вооружение, создание новых арсеналов; производство оружия стало для некоторых стран (США, Франция, повидимому, СССР и, в скором времени, Израиль) даже главным предметом экспорта.

Скажем сразу: ничего странного в этой антиномии нет. Она только подтверждает старую истину: «если хочешь мира, готовься к войне»; мир держится на равновесии. Стабилизация и переговоры, вооружение и конфронтация, (мирными средствами, разумеется) себя только дополняют. Но ни у Запада, ни у Сов. Союза, ни у Китая нет никаких оснований верить в долговечность и даже в длительную прочность новой намечающейся «стадии». Похожее было уже в прошлом и те, кто тогда в длительность этого поверили, были обмануты.

Однако, следует ли мировую политическую обстановку сегодняшнего дня всегда анализировать только с точки зрения

прошлого, т.е. всегда ссылаясь на прошлые надежды и разочарования? Другими словами, если что то похожее уже было вчера, значит ли это, что «сегодняшнее» должно непременно закончиться тем же? Безапелляционно утвердительный ответ свидетельствовал бы о «догматическом» мышлении; уверенно-отрицательный — о слепоте, политической наивности и непонимании истинной природы коммунизма. Поэтому для понимания действительной сути происходящих процессов и перемен, следует, во первых, разобраться в причинах, заставивших контрагентов пойти на этот путь, а во вторых, надо ясно определить нашу тему. Мы не говорим здесь ни о возможности эволюции советского режима, ни о социально-политической конвергенции между Западом и СССР, а лишь о возможности длительного экономического и политического сближения.

На причинах, заставивших великие державы и Сов. Союз попытаться избрать новый путь, придется остановиться подробнее, хотя причины эти не новы. Начнем со, ставшего уже трюизмом, тезиса о том, что настоящая атомная война была бы самоубийством для обоих противников и тем самым она становится невозможной. «Нормальные» или неатомные войны могут происходить на периферии с косвенным участием великих держав путем военно-экономической помощи и политически-дипломатической поддержки; они, однако, едва ли могут происходить между великими державами *непосредственно*, ибо «нормальная» война может всегда «сползти» и превратиться в атомную.

Второй, может быть не менее важной, причиной способствующей предотвращению войны является раскол в коммунистическом лагере. В годы сталинского монолита мир держался или на атомном равновесии или на военно-атомном пре-восходстве неагрессивного Запада. Теперь мир, в большой степени, держится и на разобщенности и слабости потенциальных агрессоров. Конечно, и Советский Союз и коммунистический блок по своей природе и доктрине — потенциально агрессивны. В этом смысл их существования. Китай даже не связан доктриной мирного сосуществования с другими социальными системами, ибо он такой доктрины не придерживался. Советский Союз этой доктриной — которую Запад, кстати сказать, перестал принимать всерьез — начинает пользоваться, когда натыкается на трудности внешнего и внутреннего порядка.

Я думаю, что у Советского Союза сейчас только одна *военная* трудность, одна *военная* проблема — это Китай. Тоже самое можно сказать о Китае. У него только одна серьезная военная проблема: Советский Союз. Раскол парализовал инициативность (в широком масштабе) обеих коммунистических сверхдержав. Острота их агрессивности в отношении Запада несколько притупилась, ибо сама их агрессивность несколько переменила или намерена переменить направление. Разумеется, никто не в состоянии предугадать будущее. Однако, в 1973 году — в эпоху больших перемен и «перестроек» — раскол (надо было бы писать это слово с большой буквы) представляется нам, наравне с невозможностью атомной грядущей войны, исключительным и невольным фактором мира. СССР не может бороться на двух фронтах одновременно или даже не может оголить один фронт в ущерб второму. То, что верно в отношении СССР, верно, в *данное время* и в отношении Китая. Конечно, можно предположить, что СССР пытается сейчас (и м.б. не без успеха) «умиротворить» Запад для того, чтобы получить свободные руки на Востоке. Но для такого заключения или даже предположения нет, как нам кажется, больших оснований.

Давно известно, что ключ к международным осложнениям или к международному успокоению всегда лежал после войны в Москве. Другими словами, напряженность или успокоение зависели всецело от политики и желания Москвы. В известной степени, он и сейчас находится там, ибо истинные намерения руководителей СССР, продолжают оставаться непроницаемы. Кое-что на этот счет просачивается в печать как завуалированные предостережения. Повидимому (об этом свидетельствует и «дело Шелеста») в руководстве появились разногласия по разным вопросам; политбюро, возможно, больше не является безгласным штемпелем, подтверждающим — всегда единогласно — решения генерального или первого секретаря. Дело тут, конечно, не в Шелесте, а в самих разногласиях, их характере, если они вообще имеют место.

Оговоримся сразу. Об этих «разногласиях» известно очень мало; теперешние кремлинологи ничего о них не знают и не предугадывают. Шелеста обвиняют, помимо прочего, в «лирическом» национализме. Новый термин, звучащий приятнее чем общеизвестный «буржуазный» национализм.

Действительно, цитаты, которые нам удалось прочесть из его книги, свидетельствуют не только о националистических уклонах их автора. Он что то там лепетал о песнях, лесах, птичках, мягкости, которая, дескать облагораживает человека. Такому «лирику» действительно не место в твердокаменном политбюро, где сидят уцелевшие от чисток могикане сталинской когорты. Подразумевается, что за «лирикой» скрывается едва прикрытый «контр-революционный» национализм; однако, судя по этим отрывкам, если скрывается, то очень неудачно. Любой провинциальный кагебист разглядел бы его в два счета. Трудно даже подумать, что человек, будто бы отличающийся такой мягкостью, мог проявить такую жесткость в отношении Чехословакии. Но говорят, что сентиментальность и жестокость часто уживаются.

«Национализм» повидимому, стал одной из наиболее трудно-разрешимых проблем (если он вообще разрешим) в социалистической империи, где, казалось, он вообще не должен был иметь места. Он проявляется, правда, пока еще в потенции, не только там где имеет традиционные исторические корни, как в Прибалтике, отчасти в Закавказье и на Украине, но также и там (как в Центральной Азии), где до революции он был едва заметен. Его носителем является, преимущественно, вынужденная «братским интернационализмом» новая советская интеллигенция, причем очень часто наиболее активная ее часть имеет в кармане партийный билет.

Другой трудно-разрешимой (опять таки, если вообще разрешимой) внутренней проблемой является так наз. идеологический вакуум или маразм. Советский коммунизм живет идеями и представлениями, которые были выработаны более чем сто лет тому назад. Коммунистический манифест и дореволюционные писания Ленина до сих пор — идеологический компас для стран и движений, которые претендуют «обновить» мир. Разумеется, в своей практической деятельности ЦК и политбюро КПСС не так уж оглядывается на высказывания основоположников коммунизма, — однако, в идеологической и теоретической «сокровищнице большевизма», нововведениям и обновлениям путь уже очень давно заказан.

Только террором, демагогией и обманом власти удалось сохранить несокрушимость и «чистоту» официальной идеологии. Однако, и тут, если дамба не окончательно прорвалась,

то дала трещины. На Западе, в особенности среди молодежи, леваки (троцкисты, маоисты, марксисты и анархисты) оттесняют ортодоксальных коммунистов, которые, пытаясь создать народнофронтовское правительство и атмосферу, не гнушаются называть себя реформистами и даже либералами (см. речь Жоржа Маршэ, Генсека Французской компартии в Тулузе, в начале мая с.г.). В СССР, где все эти «измы» потеряли свою притягательную силу, та часть молодежи и интеллигенции, которая не разучилась мыслить, увлекается идеями свободы, права, гласности, а подчас углубляется в религию и нередко в свое национальное прошлое не без оттенка национализма и великодержавности. Кстати, национализм одних (т.е. в данном случае, нацменов) вызывает великодержавные отклики у других (в данном случае, у некоторых литераторов и художников — великокорссов). Вакуум необходимо как-то заполнить. Пути к его заполнению различны, но все они ведут к расшатыванию и в конечном счёте к сокрушению официальной доктрины. О том, что именно в такой форме рассматривает эту проблему руководство СССР, свидетельствует известная, огромная, многократно-цитируемая статья А. Яковлева *Об Историзме*, появившаяся в «Правде» 15 ноября 1972 г.

Следует иметь в виду (и это чрезвычайно важно), что идеологический вакуум в Сов. Союзе вовсе не ограничивается одной только идеологией. Самой идеологией — ее возвеличением или критикой — интересуется в СССР и вне его весьма ограниченное число лиц. Однако, в такой «идеологической» или «идеократической» стране как СССР, идеология перебрасывается в сферу каждодневной жизни, воспринимается или отталкивается «массами», т.е. той рабочей силой, которая призвана создавать необходимые материальные ценности. При таких обстоятельствах, разрыв или отталкивание от идеологии может привести к тяжелым последствиям для руководства.

Эту мысль следует иллюстрировать некоторыми аналогиями. В неидеологических, т.е. капиталистических, странах, идеология является частным делом гражданина. В большинстве случаев, он не приемлет никакой идеологии, а живет и работает потому, что жить и работать нужно.

Предполагается, что в «идеологической» стране стимулы должны быть иные. Человек здесь является прежде всего рабочей единицей, и рабочая единица «идеологического» об-

щества должна трудиться в первую очередь во имя убеждения, идеи, будущего, общественного долга, справедливости, создания более совершенного общественного строя и т.п. Бывшие уже взрослыми, во время первых пятилеток, многие советские люди утверждают, что в те годы действительно проявлялся особенно у партийцев и комсомольцев, пафос стройки и труда. Может быть это и так, хотя возможно, что и тогда он проявлялся больше в печати, радио и отчетах, чем в действительности. Но тогда, при всей звериной жестокости чисток и «ликвидаций», все же не было сегодняшнего идеологического вакуума. Теперь Комсомольск на Амуре не построишь, даже тогдашними средствами. Таких строителей теперь уже нет. А принуждение? В тридцатых годах оно было почти беспримерным в истории. Сейчас такого принуждения нет и создать его очень трудно. Для этого нужно было бы опять «перепахать» всю страну.

Теперь многое изменилось. Идеологический стимул играет весьма подчиненную роль. Главную роль все больше играет материальная заинтересованность. При низкой зарплате, удовлетворить ее во всех секторах производства невозможно. В прошлом — в сталинские годы, преобладающим фактором в экономике был, одновременно с идеологическим фактором, принудительный труд; он был принудительным не только в лагерях, но и на воле. За невыполнение плана, за обман грозил расстрел. Люди были скованы страхом.

Теперь в советском хозяйственном организме царствуют несколько иные порядки и иная атмосфера. Люди научились выполнять план на бумаге. Пользуясь всяческими лазейками — а их много, они обманывают и себя и власти. При всеобщем обмане трудно, даже при желании, что то изменить; приходится поэтому смотреть на это сквозь пальцы. «Нет хозяина, никто не заинтересован, можно всегда доказать, что план выполнен...» Отсутствие хозяина, который может применить меры принуждения (увольнение, снижение зарплаты), отсутствие заинтересованности в результате мизерной зарплаты и исчезновение идеологического стимула — все это превращает Сов. Союз в хозяйственном уязвимое предприятие и тем самым в уязвимую страну.

Есть все основания полагать, что именно это наиболее уязвимое место, помимо указанных выше причин внешнего

и военного характера, заставило советское руководство идти на некоторые уступки и на сближение с Западом. Нужен не только хлеб; нужно модернизировать сов. хозяйство. Уступки, на которые руководство вынуждено было пойти, повидимому, не только экономического порядка. Есть все основания полагать, что «мир во Вьетнаме» был достигнут, в большой степени, благодаря давлению Москвы, которая, повидимому, «посоветовала» своим азиатским друзьям большую сговорчивость.

Ничто, мне кажется, не иллюстрирует так советскую заинтересованность во временном успокоении и в развитии торговых отношений между Западом (в первую очередь США) и СССР, как капитуляция в вопросе об «академическом» налоге на уезжающих в Израиль евреев. Как это ни странно, но случилось так, что от этого частного вопроса, зависит успех или неуспех всей этой большой задуманной политико-экономической операции. Эту операцию нельзя провести без согласия американского сената, а в последнем образовалось большинство, которое требует отмены этого налога. Советы пока пошли на «гнилой компромисс». Формально постановление об уплате налога остается в силе, но фактически оно, как будто, не применяется. Однако, в сенате стоят начеку и за выполнением «гнилого компромисса» следят такие люди как сенатор Джексон, которых, повидимому, обмануть трудно. Развеется, не следует думать, что в этой торговле или товарообмене заинтересован только Сов. Союз. Западу, а особенно США, тоже нужны советская нефть и природный газ. Однако, кредиты советам для этого товарообмена должны дать США или Зап. Германия.

Итак, я постараюсь суммировать. Перемены в международной обстановке являются результатом совокупности многих факторов. Угроза атомной войны, которая «осуждает» великие державы на сохранение мира, даже если он худой; раскол в мировом коммунистическом лагере, который парализовал присущие коммунизму экспансионистские тенденции; экономические, идеологические и прочие трудности в коммунистическом мире. К этим причинам можно еще причислить вхождение в клуб великих держав Японии и завтра быть может Объединенной Европы — держав с колоссальным экономическим и технологическим потенциалом. Ни СССР, ни Китай не могут игнорировать эти факты, ибо они меняют обстановку

и нарушают равновесие сил. Наконец, не следует также игнорировать и личный фактор, который особенно проявил себя за последние несколько лет. Никсон рассчитывает, повидимому, на далеко идущие планы и амбиции. Они касаются организации, а в более дальней перспективе, координации и даже объединения некоммунистического мира: США, Объединенная Европа, Япония. На пути к осуществлению этих амбициозных планов, однако, лежит множество препятствий. «Планы» эти, надо думать, не лишены и опасностей. Объединенный *свободный* мир может, по логике и реакции, вызвать сближение и объединение *коммунистического* мира. Союз бесчисленного китайского человеческого потенциала и советской военной технологии мог бы свести на нет все достижения Запада за последнее десятилетие.

Итак, из вышесказанного, мне думается, вытекает, что экономическое и отчасти политическое сближение представляется возможным. Но не следует, повторяю, смешивать «сближение» с к.н. положительным изменением внутреннего режима в Сов. Союзе. СССР может торговать с Западом, сохраняя или даже усиливая режим однопартийной диктатуры. В этом отношении, исторические прецеденты красноречивы. Народный фронт и военный союз с Францией в 1936-7 г.г. шел параллельно с ежовщиной внутри страны.

Д. АНИН

ВЕЧНЫЙ МИКОЯН

ПАРТИЙНЫЙ НАМЕСТИК НА ВОЛГЕ И ЮГО-ВОСТОКЕ
РОССИИ
(1920-1926)

Губернским секретарем партии Микоян стал за четыре года до смерти Ленина, за два года до назначения Сталина генеральным секретарем ЦК. Тогда, как и теперь, секретари губкомов и обкомов выбирались только формально, фактически же они назначались аппаратом ЦК партии, а аппаратом ЦК руководила коллегия секретарей, созданная по предложению Ленина после смерти секретаря ЦК Свердлова. Эта коллегия, имевшая только чисто исполнительно-организационную функцию, потом получила название всесильного «Секретариата ЦК». В 1920 г., туда входили Н. Крестинский, Л. Серебряков, Е. Стасова. В Политбюро, высший орган партии по большой политике, входили Ленин, Троцкий, Stalin, Каменев и Крестинский как члены и Н. Бухарин, Г. Зиновьев и М. Калинин как кандидаты. Кроме того, существовало еще Оргбюро для направления и руководства организационной работой партии. Сюда входили Крестинский, Stalin, Серебряков, Стасова, Белобородов.

Назначение Микояна совпало с возникновением ряда внутрипартийных оппозиций Ленину. В этой новой «гражданской войне» внутри партии уже опытный конспиратор и тактик Микоян ориентировался не на звонкие имена и звонкие фразы, а на носителей реальной власти. При всем своем преклонении перед Лениным, он изменил бы и ему, если бы Ленину изменило счастье, то-есть власть.

Если гражданская война красных против белых внутри России продолжалась три года (1918-1920), то «гражданская война» красных против красных внутри большевицкой партии продолжалась целых двадцать лет (1920-1939). Конечно, во

См. кн. 107, 108 «Н. Ж.».

внутрипартийной «гражданской войне» бывали периоды перемирия и затишья, но как бы только для того, чтобы произвести новую рекогносцировку и новые наступления и контрнаступления. Если же говорить о драматизме событий и количестве человеческих жертв, то внутрипартийная война превзошла и жестокости и масштаб жертв гражданской краснобелой войны. По расчетам, сделанным из официальных данных, жертв в гражданской войне с обеих сторон было 550.000, тогда как жертв одних лишь сталинских чисток было 1.220.000 коммунистов, сосланных и расстрелянных, а среди беспартийного населения жертв было во много раз больше. Но точные данные на этот счет все еще являются тайной Кремля.

Все оппозиции при власти Ленина (их было четыре — «левые коммунисты», «военная оппозиция», «демократические централисты» и «рабочая оппозиция») и все оппозиции при Сталине (их было тоже четыре — «левая оппозиция» Троцкого, «новая оппозиция» Зиновьева, «правая оппозиция» Бухарина, «право-левакий блок» Сырикова-Ломинадзе) ставили один и тот же главный вопрос всякой политики — вопрос о власти. Конкретнее: что понимать под «диктатурой пролетариата» — есть ли она диктатура целого класса (рабочих), диктатура одной партии (большевицкой) или даже диктатура ее вождей (ЦК и Политбюро)? Что означает знаменитая ленинская формула «демократический централизм» на языке практической политики? Где надо поставить ударение на «демократии» или на «централизме»? Что такое «диктатура пролетариата»? Где надо поставить ударение на «диктатуре» или на «пролетариате»?

Внутри партии дискуссия по этим вопросам была в разгаре, когда Микоян получал назначение в Нижний Новгород. Назначение сюда Микояна не было случайностью. В бакинском подполье Микоян великолепно выдержал испытание тех качеств партийного работника, которые Ленин на X съезде определил в формуле «хороший коммунист должен быть в то же время и хорошим чекистом». Жестокие законы гражданской войны, когда стороны не брали в плен, а расстреливали на месте, еще более жестокие нравы подполья, когда провалившихся конспираторов вешали на телеграфных столбах в назидание живым, создали в партии тот тип «коммунистов-чекистов», у которых атрофия человеческих чувств была их сильнейшей

стороной. Такие интеллигентные лидеры большевизма, как Ленин, Каменев, Бухарин и Луначарский были способны подписывать декреты об уничтожении тысяч и тысяч «классовых врагов», но едва ли согласились бы присутствовать и лично руководить убийством даже такого их «классового врага» как царь Николай II и его семья, убийство которых было произведено по их же приказу. Там руководили убийством такие известные партийные работники, будущие члены ЦК, как Белобородов, Голощекин, будущий посол в Польше Войков. Вот к такому типу партработников-чекистов принадлежали секретарь Донецкого губкома партии Молотов, секретарь Семипалатинского губкома партии Ежов, секретарь ЦК компартии Грузии Берия, секретарь ЦК компартии Азербайджана Багиров, секретарь Нижегородского губкома Микоян, секретарь ЦК партии Украины Каганович, сам генеральный секретарь ЦК КПСС Сталин. Вот по этим, известным впоследствии именам, мы можем судить, каких партийных работников Ленин вербовал в партаппарат, чтобы в зародыше убить всякую внутрипартийную оппозицию. Микоян, получил назначение в Нижний Новгород именно в то время, когда там начали складываться первые и довольно сильные ячейки оппозиционных групп «демократического централизма» и «рабочей оппозиции». Нижний Новгород — один из важнейших тогда экономических районов страны (сормовские заводы транспортного машиностроения, важный центр железнодорожного и водного путей на Волге) грозил стать крепостью коммунистического «свободомыслия» в лице упомянутых групп. Главная задача, которую аппарат ЦК партии поставил перед Микояном (в подчинении которому находился тогда и председатель Нижегородского губисполкома В. Молотов!), сводилась к тому, чтобы разрушить эту крепость оппозиции. Основные директивы по борьбе с ней были выработаны на IX и X съездах партии.

На IX съезде Ленин изложил сущность своей доктрины о природе и рамках «демократического централизма» как раз в борьбе с той оппозицией, которая по-ленински называла себя группой «демократического централизма». Главное требование группы «демократического централизма», куда входили делегаты съезда Осинский, Сапронов и Максимовский, сводилось к тому, чтобы в основу государственного и хозяйственного управления страны был положен принцип коллегиальности

вместо единоначалия — «коллегиальность составляет необходимую основу системы демократического централизма», — писали они в тезисах, опубликованных накануне IX съезда. Ленин подверг эту интерпретацию его формулы уничтожающей критике. Он заявил «демократическим централистам»: «советский социалистический централизм единоначалию и диктатуре нисколько не противоречит, волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более делает и часто более необходим». На X съезде Ленину пришлось защищаться от атак как группы «демократического централизма», так и «рабочей оппозиции». По существу Ленину приходилось бороться с последователями того пункта программы партии (1919), в котором он сам записал: «Профсоюзы должны прийти к фактическому сосредоточению в своих руках **всего управления** всем народным хозяйством, как единым хозяйственным целым».

Ленин это писал по тактическим соображениям в условиях, когда гражданская война была в разгаре, в условиях, когда всё надо было писать и говорить в интересах победы. Но одержав победу над белыми и укрепившись у власти, Ленин изменил свое мнение и по данному пункту. Между тем его противники толковали старую установку в программе партии о профсоюзах не как тактику, а именно как программу. Оппозиции требовали также ликвидации методов военного коммунизма внутри партии (демилитаризация партии), ликвидации, как «декисты» выражались, «диктатуры партийного чиновничества», восстановления внутрипартийной демократии. С исключительной силой развернулась дискуссия по этим вопросам как раз на X съезде. Это был первый съезд партии, где Микоян присутствовал, возглавляя нижегородскую делегацию, слушал доклады Ленина, участвовал в прениях. Серьезную борьбу пришлось выдержать Ленину на этом съезде против «рабочей оппозиции» (Шляпников, Коллонтай, Медведев и др.). Оппозиция декларировала: «Организация управления всем народным хозяйством принадлежит Всероссийскому съезду производителей, объединенных в профессиональные производственные союзы, которые избирают центральный орган, управляющий всем народным хозяйством республики». «Рабочая оппозиция» требовала создания выборных «рабочих комитетов» для руководства предприятиями, она требовала от-

мены оплаты пайков и предметов домашнего обихода, отмены оплаты обедов для рабочих и их семей, отмены оплаты бани, трамваев, театров, отмены оплаты за квартиры и т. д.

Всю эту платформу Ленин назвал «уклоном к анархосиндикализму». Ленин с возмущением спрашивал: «Если профсоюзы, т. е. на 9/10 беспартийные рабочие назначают управление промышленностью, то к чему партия?» Однако за эту платформу на съезде проголосовало 45 чел., за почти аналогичную же платформу группы «демократического централизма» проголосовало еще 47 человек (всех делегатов 694 чел.). Вот тогда по предложению Ленина съезд и принял две резолюции — одну — «о единстве партии», которая может быть названа «исключительным законом» против коммунистов-уклонистов, другую — о «рабочей оппозиции».

Резолюция «о единстве партии» запрещала создание каких-либо групп и фракций, ограничивала свободу дискуссии и запрещала проповедь платформ, расходящихся с решениями ЦК партии. «Неисполнение этого постановления съезда должно вести за собою немедленное исключение из партии», — говорилось в этой резолюции. Впоследствии Stalin щедро и всегда со ссылкой на Ленина пользовался этой резолюцией в борьбе с своими противниками в руководстве партии. Микоян тогда голосовал за этот «исключительный закон». В резолюции, посвященной «рабочей оппозиции», говорилось, что пропаганда идей «рабочей оппозиции» «несовместима с принадлежностью к российской коммунистической партии». Микоян голосовал и за это. Однако как раз на X съезде Микояну в первый и, кажется, последний раз изменил его столь безошибочный инстинкт: по национальному вопросу он выступил с критикой доклада Сталина! Микоян заявил, что Stalin не дал ответа на те главные вопросы строительства органов власти, с которыми национальные работники встречаются на окраинах — «какие нужны изменения в системе, какой тип советской системы надо создать на окраинах, Stalin упустил это из виду». Микоян пошел и дальше — он засвидетельствовал невежество Сталина как раз в делах самого Кавказа! Критикуя стalinскую классификацию народов советской России на «передовых» и «отсталых», Микоян сказал, что Stalin относит Азербайджан к странам отсталым, тогда как Азербайджан стоит в индустриальном развитии куда выше, чем русские провинции.

Сталин, который у Ленина начал карьеру именно в качестве эксперта по национальному вопросу вообще и по кавказскому вопросу в особенности, был дисквалифицирован как знаток национального вопроса его же учеником Микояном! И это на съезде партии, в присутствии Ленина, на глазах злорадствующих соперников...

Что же случилось с Микояном? Либо он лезет в соратники самого Ленина, либо он уже стал соратником сталинских соперников? При всех условиях ответ Сталина может быть только один: продемонстрировать тут же историческое невежество и политическую нездачливость самого Микояна. Сталин это и делает в своем заключительном слове: «тov. Микоян неправ, говоря, что Азербайджан в некотором отношении выше русских провинций. Он очевидно смешивает Баку с Азербайджаном. Баку вырос не из недр Азербайджана, а надстроен сверху... Поэтому Азербайджан в целом я отношу к той группе окраин, которые не прошли капитализма и к которым необходимо применить своеобразные методы втягивания этих окраин в русло советского хозяйства».

Однако Сталин не убедил съезд, что Микоян невежда и его критика несправедлива. Большинство съезда высказалось за то, чтобы включить Микояна в состав комиссии для выработки резолюции по национальному вопросу. Это была страшная моральная победа Микояна над Сталиным, да, страшная, даже ужасающая победа, за которую он, может быть, себя всю жизнь проклинал. Ведь Сталин любил напоминать своим ученикам «грехи юности». Впрочем, Микоян потом докажет Сталину, с каким энтузиазмом он умеет отмаливать «грехи юности».

Надо заметить, что Микоян не столько высказывал свое мнение, сколько выражал общую атмосферу, царившую среди кавказских коммунистов против великодержавной политики Сталина. Микоян не прочь был заработать политический капитал даже на критике своего учителя Сталина! Л. Троцкий, который близко наблюдал первое партийное «крещение» Микояна на этом съезде, не без удивления заметил впоследствии, что «даже Микоян, уже один из ближайших политических союзников Сталина, следовательно, один из его наиболее преданных оруженосцев» нашел нужным включиться на съезде в хор критиков доклада Сталина.

Первое действие, которое предпринял Микоян после своего возвращения со съезда в Нижний Новгород, свелось к назначению чистки как в партийном, так и в государственном аппарате не только тех, кто входил в группы «демократического централизма» и «рабочей оппозиции», но также и тех, кто им сочувствовал. Задача борьбы против внутрипартийных оппозиций стала особенно актуальна в связи с Кронштадтским восстанием матросов (1921 г.), выбросивших лозунг «За советы без коммунистов». Ленин увидел в этом восстании, как и в этом с его точки зрения тактически удачно выбранном лозунге, смертельную опасность своему режиму. Он говорил на том же X съезде, что это локальное кронштадтское восстание именно из-за своей социальной направленности и динамизма куда опаснее для коммунистов, «чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые». Поэтому делегатам съезда, местным партийным губернаторам давалась директива систематически очищать партию и государственный аппарат от всех оппозиционеров, партийных или беспартийных.

В деле выполнения этой директивы Микоян продемонстрировал похвальное усердие исполнителя, изворотливость тактика, много чекистской страсти и мало сентиментальности. Его официальный биограф из БСЭ так подводит итог деятельности Микояна в Нижнем Новгороде: «В Нижегородском губкому было засилье местных представителей так называемой «Рабочей оппозиции» и троцкизма, для борьбы против которых Микоян организовал рабочих большевиков, в первую очередь сормовских, и при их помощи через несколько месяцев удалось разгромить засевших в губкому, губисполкому (у Молотова!) и губпрофсоюзе анархо-синдикалистских и троцкистских врагов партии, в **ожесточенной борьбе** с ними сплотить нижегородских большевиков... В дискуссии 1921 г., как и на всех последующих этапах борьбы с врагами партии, Микоян до конца настойчиво и непримиримо отстаивал и отстаивает ленинско-сталинскую линию партии».

После выполнения этой задачи Микоян получил новое назначение, где те же самые его качества должны были проявить себя уже в масштабе более широком и в условиях более сложных — его назначили весной 1922 г. секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). Теперь он был не выборным, хотя бы формально как в Нижнем Новгороде, но назначенным чрезвы-

чайным партийным наместником Кремля над обширнейшей территорией. Его чрезвычайная власть распространялась на Донскую область, Кубанскую область, Терскую область, Ставропольский край, национальные республики и области — Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда, Балкарья, Каратай, Черкесия, Адыгея. Это был край, где донское и кубанское казачество впервые подняли знамя антибольшевицкой борьбы и откуда двинулась на красную Москву знаменитая Белая армия. Белая армия уже два года как была разбита, но ее дух жил во все еще бунтующем вольном казачестве Кубани, Дона, Терека, в антисоветских крестьянах Ставрополья.

Антисоветские настроения начали проникать и в среду национального населения Кавказа, хотя оно до самого начала коллективизации в целом активно поддерживало советскую власть именно из-за эластичной национальной политики большевиков. Все это имел ввиду Ленин, когда на IX съезде сказал: «Чем больше нас окружают крестьяне и кубанские казаки, тем труднее наше положение с пролетарской диктатурой. Поэтому нужно выпрямить линию и делать ее **стальной** во что бы то ни стало». Задача Микояна и состояла в том, чтобы сделать на Юго-Востоке России эту линию диктатуры «стальной».

Назначение Микояна секретарем Юго-Восточного бюро ЦК партии последовало весной 1922 г., то-есть после того, как Stalin занял пост генерального секретаря ЦК. Вспомним, что это было время, когда Ленин тяжело заболел и в Политбюро шла скрытая, но ожесточенная борьба за ленинское наследство. Заболевшего Ленина фактически заменила образовавшаяся внутри Политбюро «тройка» — Зиновьев, Каменев и Stalin. Все вопросы, подлежащие решению Политбюро, предрешались «тройкой», тем самым исключалось влияние Троцкого. Формально вождем «тройки» считался председатель Коминтерна Зиновьев, Каменев заменял Ленина на посту председателя правительства, а Stalin, как крот, зарылся в партаппарат, без шума работая в подполье, стараясь не бросаться в глаза. Но как раз подпольная работа Stalina по созданию в низах совершенно нового партийного аппарата на новых внеуставных принципах (назначенство сверху вместо выборов снизу) предрешила судьбу ленинского наследства. Бюрократическая иерархия партии, которую сумел создать Stalin, обходя не только больного Ленина, не только Устав партии, но

и своих коллег по «тройке», стала настолько внушительной силой, что даже всесильные до сих пор «наркомы» оказались в ее стальных щупальцах.

Новая иерархия чиновников над государственным аппаратом — назначаемые сверху партийные бюрократы, управляющие государством от имени партии, но ему неподконтрольные («партаапаратчики»), — была тем замечательным изобретением Сталина, которое собственно и решило исход борьбы за власть между Сталиным и многочисленными оппозициями внутри партии. Здесь Сталин, хотя и против воли Ленина, шел все-таки по ленинским стопам.

В своей классической работе «Что делать?» (1902) Ленин писал: «Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию». Еще при жизни Сталина газета «Правда» сформулировала сталинскую доктрину власти так: «товарищ Сталин указывает, что актив при умелом его использовании может составить **величайшую силу, способную на чудеса**». Да и сам Сталин говорил то же самое, хотя и в других выражениях. На XVII съезде партии, где уже завершилось установление его единоличной диктатуры — «ЦК руководствовался при этом, — говорил он, — гениальной мыслью Ленина о том, что главное в организационной работе — **подбор людей** и проверка исполнения». Первые жалобы Троцкого на Сталина как раз были связаны с этой его практикой. Само политическое «завещание» Ленина о снятии Сталина тоже было связано с ней же.

Сталин провел в ЦК решение, которое расширило права отдела ЦК по распределению кадров на всех уровнях партии и во всех отраслях управления государством. Во главе этого отдела Сталин поставил своего ученика Лазаря Кагановича, над Кагановичем поставил другого своего ученика — В. Молотова, как второго секретаря ЦК. Первым опытным участком проведения своего плана на местах Сталин выбрал Юго-Восток России, а человеком для его осуществления, третьего своего ученика — Микояна. Этот выбор не был случайным. Stalin в самом начале заметил в Микояне не просто партийного бюрократа, а «творческого» исполнителя, который умеет читать в письменных директивах то, что в них не написано, а в устных приказах то, что в них не сказано.

Троцкий засвидетельствовал нам, что еще тогда, когда

Сталин не был даже генеральным секретарем, Микоян сделал свой выбор между Троцким, Зиновьевым и Сталиным в пользу Сталина. Троцкий писал, что Микоян к X съезду партии (1921), являлся «уже одним из ближайших политических союзников Сталина, и следовательно одним из его наиболее преданных оруженосцев». Однако как это случилось, что из всех соратников и учеников Сталина, как раз Микоян пользовался еще при жизни диктатора репутацией «либерала», сомнительного сталинца, почему даже в самой партии было широко распространено мнение, что Микоян сталинец не за совесть, а за страх, что Микоян всю жизнь двурушничал перед Сталиным, чтобы сохранить достигнутую власть? Из окружения Берия говорили еще хуже: Микоян был большевиком среди армянских попов и остался армянским попом среди большевиков.

Все такие суждения о Микояне основаны либо на незнании его действительной роли в партии, либо являются наговором на него со стороны его личных врагов. Но за эти наговоры определенную вину несет и сам Микоян — это его удивительная способность воплощаться в добродетель при исполнении самых страшных заданий Сталина. Более того — его столь же удивительная способность оставаться в тени даже при тех жестокостях диктатуры, которые совершены по его же инициативе.

Обратимся к его практике на юго-востоке России, которая покажет насколько Микоян справился с задачами «опытного участка» Сталина. Главные задачи, которые поставил Сталин перед Микояном, были: 1) очистить партию, а также государственный и профсоюзный аппарат края от внутрипартийных оппозиционеров, а также от так называемых «чуждых элементов», 2) произвести полицейско-чекистскую операцию среди гражданского населения края, чтобы изъять бывших белогвардейцев, бывших членов и сторонников былых антикоммунистических партий — эсеров, меньшевиков, националистов, монархистов и т. д...., 3) поставить вновь созданный партаппарат всюду над государственным аппаратом так же, как партаппарат ЦК поставил себя над правительственным аппаратом в Москве.

Если мы вспомним, что Микоян был теперь не просто губернатором, а губернатором над 13 губерниями, если вспомним всю национальную пестроту, и особенно сложные политические условия края, являвшегося во время революции колы-

белью русской Белой армии и казачьей Вандеи, то легко можно себе представить как трудны были эти задачи и как велика была ответственность Микояна по их осуществлению.

Но, как указывалось, полномочия Микояна были чрезвычайные. Это означало, что вся местная партийная и государственная власть, в том числе военная и полицейская, непосредственно подчинялись ему и от него получали директивы. Но так как Микоян фактически правил своим краем в условиях военного положения и опираясь на военно-полицейский аппарат, то он был произведен в самый высший тогдашний чин Красной армии — в чин командира с четырьмя ромбами, что значит по нынешним понятиям генерал армии или даже маршал. И этому «маршалу» было всего 26 лет. Его ближайшими соратниками и подчиненными были — командующий Северо-кавказским военным округом К. Е. Ворошилов и его помощник будущий маршал С. Буденный, полномочный представитель ОГПУ, единственный кавалер четырех орденов «Красного знамени» среди чекистов Е. Г. Евдокимов, председатель крайисполкома Н. В. Эйсмонт, секретарь Юго-восточного ЦК бюро комсомола, а потом первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. И. Мильчаков.

Резиденция Микояна находилась в Ростове-на-Дону. В одной из своих речей он заявил, что в крае его правления имеются «три вышки», по которым советская власть должна равняться в деле проведения своей политики: первая вышка — казачья — Кубань, вторая вышка крестьянская — Ставрополь, третья вышка национальная — Чечня. Но так как политику делают партийные и советские чиновники, то сначала Микоян решил провести чистку среди чиновников этих «вышек», заменяя их такими работниками, «которые могут понять и проводить директивы» партийного аппарата, как об этом говорил Сталин. Какие были общие итоги этой чистки неизвестно, но на том же XII съезде, воздавая должное стараниям Микояна и Ворошилова, Сталин огласил одну цифру, которая проливает свет на общую деятельность Микояна. Сталин сказал:

«Есть у нас такое учреждение, называемое Промбюро на Юго-востоке. В этом аппарате состояло около 2000 человек. Этот аппарат призван был руководить промышленностью Юго-востока... тов. Ворошилов с отчаянием говорил мне, что не легко было **управиться** с этим аппаратом... Нашлись добрые

люди: Ворошилов, Эйсмонт и Микоян, которые взялись за дело по настоящему». «Добрые люди» оставили после проверки из этих двух тысяч служащих только 170 человек «социально-близких» и «преданных», а всех остальных вычистили. А новый набор производился с точки зрения тех требований, которые Сталин огласил на XII съезде.

Правда, на том же съезде, по докладу того же Сталина, раздавались и критические голоса против узурпации аппаратом ЦК «суворенитета» национальных республик, назначая чистки сверху. Особенно протестовали против диктатуры партаппаратчиков грузинские ученики Ленина, доказывая, что жестокие и малоразборчивые методы расправы Сталина не только с беспартийными, но и с инакомыслящими коммунистами противоречат учению Ленина о «коммунистической морали». Убедительный для коммуниста ответ на эти возражения на съезде дал не Сталин и не Микоян, а личный друг Микояна — старый большевик Стуруа. Стуруа был вместе с Микояном в бакинском подполье, вместе с Микояном избег участи «26 бакинских комиссаров» в ашхабадской тюрьме; вместе с Микояном сидел в тифлисской тюрьме, откуда Микоян выкупил себя и его в 1919 г. Вместе с Микояном он участвовал теперь и на XII съезде, где в защиту доктрины Сталина и практики Микояна сказал буквально следующее: «Запомним слова т. Ленина, который наивным товарищам, когда они задали вопрос: «что такая коммунистическая мораль?», — сказал: — **убивать, уничтожать, камня на камне не оставлять, когда это в пользу революции;** но в другом случае гладьте по голове, называйте Александром Македонским, если это в пользу революции».

Сносить головы одним, гладить по голове других, если это нужно и «камня на камне не оставлять», если речь идет о Советах, как органах действительной власти, — такова собственно и была программа партийного аппарата. Узурпация власти Советов в пользу партаппарата происходила незаметно и по видимости в вполне легальной форме: создавались так называемые «комфракции» в Советах на всех уровнях (село, район, город, область, край, центр), которые были прямо подчинены партийным органам каждого уровня. Такие коммунистические фракции, как на съездах Советов, так и в выборных ими исполнительных органах власти — в исполкомах, предварительно обсуждали и решали все без исключения вопросы, подлежащие

рассмотрению советских органов. Таким путем принятые «комфракцией» и утвержденные соответствующим партийным комитетом решения поступали на формальное утверждение советских органов. Сегодня такой порядок в СССР считается само собою разумеющимся, но в то время, когда Советы «пришли к власти» под лозунгом самого Ленина «Вся власть Советам!», такая бесцеремонная узурпация власти Советов, этих якобы — народных парламентов — партаппаратчиками считалась кощунством (сейчас «комфракции» переименовали в «партгруппы»).

Однако ни одна губерния, ни один край, включая даже Москву и Петроград, столько не преуспели в этом деле, как край, подвластный Микояну. Stalin, который, как указывалось, рассматривал Юго-Восток России, как «опытный участок» применения на практике его доктрины власти партаппаратчиков имел все основания быть довольным работой Микояна.

Микоян создавал новый партаппарат из новых людей, подготовленных самой партией. Это стало возможно благодаря огромной сети партийно-политических школ, которые открылись в городах, областных центрах и в самом краевом центре по подготовке новых партийных кадров (совпартшколы, краевые курсы партийных работников, областные и краевые «курсы горянок» и т. д.). Кроме того производился ежегодно массовый набор молодежи из национальных областей в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ им. Сталина) в Москве. Студенты во все эти школы набирались по строгому «классовому принципу». Материальная обеспеченность их была отличная.

Преподавание велось исходя из двух установок: во-первых, привить слушателям «пролетарское классовое самосознание», во-вторых, научить их управлять партией, государством и хозяйством. Соответственно были и главные академические дисциплины, общие: «Обществоведение», «История классовой борьбы», «История партии», специальные: «Партстрой» («партийное строительство» — наука, как управлять партией), «Госстрой» («Государственное строительство» — наука, как управлять государством), «Хозстрой» («хозяйственное строительство» — наука, как управлять хозяйством). Теперь в пар-

тийных школах все эти специальные дисциплины об управлении объединены в один предмет — «Партийное строительство».

Но управлять, конечно, надо, руководствуясь законами «классовой борьбы». Однако, что это значит? В основе большевицкой исторической концепции лежит марксистский тезис, что движущей силой исторического развития является борьба классов. В одной из своих речей против оппозиции в 1925 г. Сталин заявил: «Наше развитие идет не в порядке планового подъема вверх... Наше продвижение протекает в порядке классовой борьбы, в порядке развития противоречий, в порядке выявления и ликвидации этих противоречий».

Догма классовой борьбы делается универсальным ключом к распознанию всех явлений в стране, а «классовый подход» единственным методом управления над людьми. Исходя из этой догмы самих людей тоже делят на два класса — первый: «классово-близкие элементы» (пролетариат и крестьянская беднота) и второй: «классово-чуждые элементы» (остатки бывших имущих классов, духовенство, кулаки, нэпманы, «буржуазные специалисты»), а как промежуточный, «межклассовый» между ними слой — среднее крестьянство, кустари одиночки, низшие служащие. «Классовый подход» означал, что представители первого класса — это «правители», «пролетарские диктаторы», а представители второго класса, исключая «спецов», лишались всех политических и гражданских прав, они не могли работать в органах власти даже техническими служащими, их дети не допускались в средние и высшие школы, трудовые и материальные повинности перед государством они несли в несколько раз выше, чем представители «межклассового слоя», не говоря уже о представителях «классово-близких» групп.

Но в этой политике еще хуже было другое: бесконечное, настойчивое и методическое культивирование атмосферы всеобщей ненависти людей друг к другу под лозунгом «классовой борьбы». Если партаппаратчикам указывали на нелогичность их «классовой» догмы, они вытаскивали очередную цитату из Маркса: — «Можно быть выразителем идеологии крупной буржуазии, не будучи самому даже мелким лавочником»!

Находчивый Микоян перевел эту формулу на язык «классовой борьбы»: «Ренегатом может быть только свой человек», — повторил он слова Ленина на XV съезде. Для удобства партийной догмы впоследствии все же решили переименовать

«классовых врагов» просто во «врагов народа». Пять лет, проведенные Микояном во главе Юго-восточного бюро ЦК партии, переименованном в 1926 г. в Северокавказский крайком партии, были годами проверки на практике принципов доктрины власти Сталина. Во всем этом сложном процессе Микоян постоянно руководился лозунгом Сталина: «кадры решают все». Это означало, что кадры, овладевшие техникой власти, решают судьбу режима.

Уже через год после назначения Микояна на Северный Кавказ были сняты все старые подпольщики-большевики, партийные руководители Дона, Кубани, Терека и заменены людьми, присланными Распредотделом ЦК партии, по согласованию с Микояном; это были преимущественно молодые коммунисты, вступившие в партию после революции. Люди местного происхождения, хотя бы и вполне доверенные, на руководящую работу не назначались. В основе такой организационной практики лежало политическое соображение: люди местные склонны к сепаратизму, свои местные интересы ставят выше интересов диктатуры, в проведении московских директив не проявят достаточно жестокости, будучи связаны с местным населением. Поэтому их откомандировывали в распоряжение ЦК для назначения в другие области.

Но у Микояна (Сталина) было еще и другое, для дела даже более важное соображение: старые кадры, вступившие в партию еще до революции и проделавшие революцию и гражданскую войну, были слишком своенравны, самостоятельны, независимы. В старых революционерах всё еще сидели **нигилисты**, отрицатели, антибюрократы. Они даже на свою собственную власть смотрели, в полном согласии с политической философией марксизма, как на средство уничтожения всякой власти!

Такие старые большевики не только не подходили со-здавшемуся новому сталинскому режиму, они просто были вредны ему. Дорога к абсолютной власти партапаратчиков лежала через политические трупы этих старо-большевицких утопистов. Микоян и был тем первым провинциальным секретарем партии, который доказал и показал Сталину, как легко и без шума можно изъять из политической жизни таких старых большевиков.

Именно эта практика Микояна и его соратников имелась

в виду в «Платформе оппозиции» Троцкого, в которой говорилось: «Внутри партии происходит процесс оттирания старых партийцев, прошедших через подполье или, по крайней мере, через гражданскую войну, более самостоятельных, способных постоять за свои взгляды, и замены их новыми элементами, проявляющими главным образом безоговорочное послушание».

Даже в национальных областях Северного Кавказа, где кадры партии из националов были весьма ограничены, Микоян провел ту же самую чистку — все те северокавказцы, которые помогли большевикам организовать в деникинском подполье партизанское движение, а потом оказались во главе тамошних национальных «автономий», — без исключения были сняты и переведены на «повышения» в Ростов, Москву и в другие национальные республики (Коркмасов, Габиев — Дагестан; Мансуров, Такоев — Осетия; Эльдарханов, Курбанов, Зязиков — Чечено-Ингушетия; Катханов, Знаев — Кабардино-Балкария и др.).

Параллельно с чисткой аппарата власти от старых кадров шла чистка края и от остатков «враждебных классов». Все взрослое мужское население края было взято на официальный учет и разбито на две категории: 1) «непорочный элемент», 2) «порочный элемент».

Списки тех и других лежали в горсоветах, сельсоветах, в ГПУ и милициях. Если кто-нибудь хотел устроиться на работу или открыть свое маленьконое предприятие (это было время НЭПа), тот должен был представить справку от милиции или сельсовета, что он не числится в списке «порочных элементов». В списки «порочных элементов» заносились бывшие белогвардейцы, эсеры, меньшевики, бандиты, а потом туда начали заносить и всяких оппозиционеров (троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев). Было ли это личным изобретением Микояна, сказать трудно, но пользуясь такими списками Микоян уже к 1926 г. провел массовые депортации в Сибирь казачества Терека, Кубани и Дона, в некоторых случаях депортировались целые станицы и районы, которые наиболее активно участвовали в гражданской войне на стороне белых. Таких депортаций среди северокавказских горских национальностей тогда еще не было.

Однако и среди северокавказских народов Микоян провел одну большую военинополицейскую операцию, — это всеобщее разоружение северокавказцев в 1925 г. Дело в том, что после

окончания гражданской войны у северокавказцев осталось их партизанское оружие — винтовки и наганы. Новая власть не осмеливалась их разоружить. Но вскоре выяснилось, что вооруженный народ — плохой подданный, он не проявляет достаточного понимания духа «диктатуры пролетариата». Самое же опасное — он начинает дискутировать с властью при помощи того же аргумента, что и власть — при помощи винтовки (вооруженные восстания в Чечне, Дагестане).

В этих условиях Микояну было трудно убедить Кремль, что дальнейшее затягивание разоружения горцев может привести ко второй Кавказской войне (первая Кавказская война продолжалась 25 лет, временами требовалось участие около 250 тысяч солдат русской армии и кончилась пленением знаменитого имама Чечни и Дагестана Шамиля в 1859 г.). План разоружения Микояна оказался настолько хитро разработанным, что пока горцы поняли в чем дело, они уже оказались разоруженными. В Чечено-Ингушетии он был проведен так.

Несколько дней подряд, во всех чечено-ингушских аулах происходили многочисленные митинги, на которых партийные пропагандисты говорили о том, что Красная армия решила провести свои летние маневры этого года в национальных областях Северного Кавказа для массового «братьянья» с горцами. Начали прибывать и армейские части. Действительно, куда бы армия не пришла — массовое «братьянье»: совместные игры, скачки, спортивная стрельба, военная и национальная музыка, русские и кавказские танцы, торжественные речи командиров и дорогие подарки кавказцев этим командирам. Это в первый день, а во второй — в один и тот же час — все аулы оказались окружены войсками, и на рассвете началась оглушительная пальба артиллерии военных «братьев» по аулам с предъявлением ультиматума: — к 12 часам дня сдать с каждого «дымка» по одной винтовке и по одному револьверу. Артиллерийский огонь прекращается на час в ожидании ответа. Аульским старшинам комиссары Красной армии объявляли условия ультиматума и угрожали снесением с лица земли каждого аула, если эти условия не будут во время выполнены. Комиссары были исключительно грубы, в них нельзя было узнать вчераших «братьев».

Приглашенные в штаб войск под видом ведения переговоров «почетные лица» аулов (муллы, хаджи и старики) были

объявлены заложниками. Было официально сообщено, что если аул уклонится от выполнения ультиматума, то в первую очередь будут расстреляны заложники. Однако чеченцы молчат. Это было грозное молчание. Комиссары хорошо знают из истории этого народа, что стоит кому-нибудь из «почетных лиц» бросить старый лозунг мюридов Шамиля — «Чеченцы, на Газават!», как возгорится пожар священной войны этих фанатиков свободы, какими их рисуют и русские исторические исследования, и классики русской литературы — Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой.

Микоян не мог не знать, что первая Кавказская война вспыхнула именно в результате ультиматума царского правительства чеченцам о сдаче оружия. Теперь же Микоян, сам кавказец, с несвойственной ему легкомысленностью, прибег к дешевому трюку «братаанья», который чеченцы и ингуши не могут толковать иначе, как самое низкое вероломство (то-есть самое тяжкое преступление согласно их обычаям). Пока Микоян тщетно ждал капитуляции чеченцев, одно из сельских обществ ответило на ультиматум коротко, но довольно дерзко, истинно по-чеченски — «сообщаем сардарю Микояну, что чеченцев никто никогда не разоружал — разоружали только их трупы». Это было плохое предзнаменование. Крайне напряженное положение спасло вмешательство самого национального правительства «Автономной Чечни» — чеченский «падишах», бывший член Государственной Думы, потом «национал-коммунист» Таштемир Эльдарханов убедил Микояна, что он играет с огнем, разговаривая с народом на непонятном и оскорбительном для него языке. Недаром чеченцы говорят: «рану кинжалом вылечит врач, но рану словом вылечит лишь кинжал». Личный престиж для Микояна играл мало роли, если им нужно было пожертвовать в интересах режима и карьеры. Но когда его убедили, что престиж его, может быть, и будет сохранен, но «сардарем» он перестанет быть если вспыхнет всеобщее восстание, то последовал новый приказ: оскорбительный для чеченцев и ингушей ультиматум снимается, заложники возвращаются в свои аулы, но уже в качестве «аульских комиссий по сбору оружия» и что сдает оружие не каждый «дым», а лишь тот, кто его фактически имеет. Как же доказать — кто имеет или не имеет оружие? Но тут было найдено самое безошибочное средство: от сдачи оружия освобождался только

тот, кто перед комиссией и представителем власти торжественно клялся на Коране, что у него нет оружия. Микоян знал, что лжеприсяга на Коране у чеченцев и ингушей совершенно исключена (впоследствии и этой «находкой» Микояна НКВД широко пользовался против чеченцев и ингушей).

Таковы главные итоги одной части пятилетней работы Микояна на Северном Кавказе по созданию новой сталинской иерархии власти партаппаратчиков. Методы Микояна: — «комбинирование чистки» — чистка партии, чистка аппарата, чистка народа, были очень жестоки, но это были бескровные чистки — политически ненадежных людей просто снимали с работы или ссылали на «вольное поселение» в Сибирь под надзор местной полиции. Расстреливались только так называемые «социально-опасные элементы» из бывших «враждебных классов». К тому же была возможность избежать того и другого — для этого надо было просто выехать из края Микояна, из «опытного участка» Сталина в другой край, где, правда, была та же советская власть, но без Микояна.

Каждый советский биограф Микояна сталинских времен обязательно отмечал именно микояновские чистки на Северном Кавказе как образец и прообраз будущих сталинских чисток (в послесталинских биографиях Микояна исчезли начисто всякие чистки!).

Так биограф Микояна из БСЭ пишет, что «Микоян вместе с Ворошиловым провел большую работу по очищению партийных организаций Северокавказского края от всяких меньшевиствующих и кулацко-анархистских элементов, захвативших было тогда руководство в партийных организациях Ростова, Кубани и Терека» и что Микоян не менее успешно «очистил» и краевой народ, «в котором тогда особенно много было белогвардейского казачества и кулачества. Микоян успешно справился с задачами, поставленными перед ним товарищем Сталиным». Оговорка о задачах, «поставленных товарищем Сталиным», которые Микоян якобы лишь механически выполнял, сделана с явной целью оспорить у Микояна «оригинальное право» на метод «комбинированных чисток». Конечно, Сталин сделал свое имя бессмертным как раз по части чисток, конечно, доктрину этих чисток разработал он, но едва ли правильно говорить о тогдашнем Микояне как об исполни-

теле чужой воли, в справедливости которой он не был убежден, в организации которой он творчески не участвовал.

Микоян чистит партию, государственный аппарат, народ не потому что такова воля Сталина, а потому что **он убежден вместе со Сталиным**, что это — единственный метод удержания коммунистического режима в явно антикоммунистической, крестьянской стране! Бывали даже случаи, как это ни покажется парадоксальным, когда в борьбе с «врагами народа» Микоян проявлял куда большую последовательность и беспощадность чем сам Stalin! Такие поступки Микояна Stalin вовсе не одобрял, называл их «левыми загибами», а в душе, вероятно, думал, что Микоян, проповедуя крайности, хитрит, чтобы спровоцировать срыв его, Stalina, скрытых планов. Stalinец больше, чем Stalin — таких вещей не любил даже Stalin. Однако в решающие моменты схваток Stalina с соперниками выяснялось, что Stalin не имеет никаких причин сомневаться в верности ему Микояна.

Stalin был наиболее последовательным архитектором коммунистической тирании. Микоян был ее классическим представителем. Микоян вполне мог бы перефразировать поэта: «Я не Stalin, но в Staline и я». Поэтому Микоян изменил Stalina только тогда, когда это было Stalину безразлично, а Микояну безопасно — после смерти Stalina.

А. Авторханов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Б. Г. УНБЕГАУН

Мы все чаще теряем выдающихся представителей старой русской культуры, которых некем заменить. Болезненная утрата постигла нас с уходом Бориса Генриховича Унбегауна, скончавшегося 4 марта 1973 года в Нью-Йорке, похороненного 15 марта в Оксфорде (Англия).

Борис Генрихович переехал из Оксфорда в Нью-Йорк в 1965 году, когда вышел в отставку со званием заслуженного профессора Оксфордского университета. Он стал заведывать кафедрой славянского языковедения при Нью-Йоркском университете, где у него было много аспирантов. Он читал преимущественно по-русски лекции и семинары по фонетике, морфологии и синтаксису русского языка, по истории русского и польского языков, по сравнительной истории всех славянских языков, по русскому стихосложению, русской лексикологии и по истории русского литературного языка. В последнее время он писал книгу по истории русского литературного языка, в которой хотел обосновать и развить свой взгляд на церковнославянскую природу русского литературного языка. Этот взгляд высказывался Борисом Генриховичем неоднократно (см. например, его статью в 100 кн. *Нового журнала*), но не успел получить его окончательной обработки. Тяжело сознавать, что эта книга уже не будет им написана, несмотря на то, что он оставил свыше четырехсот научных работ на четырех языках, главным образом на английском и французском, которые, надо надеяться, появятся когда-нибудь и на русском языке.

В этих трудах Борис Генрихович с прозорливостью крупного ученого обращался к малоисследованным темам, ускользнувшим от внимания других исследователей. Колossalная эрудиция и всесторонняя культура сочетались в них с краткостью и точностью изложения, вопросы лингвистики вели в другие сферы, очерчивая широкий круг интересов Бориса

Генриховича. (Библиография профессора Унбегауна напечатана в брюссельском юбилейном сборнике, вышедшем к его 70-тилетию в 1968 г. и в моей статье «Б. Г. Унбегаун» в 94-ой кн. *Нового журнала*.)

Самым крупным трудом Бориса Генриховича, не вошедшим еще в библиографию, следует считать его книгу о русских фамилиях на английском языке, изданную Оксфордским университетским издательством весной 1972 года. В книге 529 страниц. Индекс содержит более десяти тысяч не только чисто русских фамилий, но также русифицированных фамилий славянского и неславянского происхождения, например, украинского, белорусского, польского, западно-европейского, балтийского, финского, еврейского, армянского, грузинского и др. Этот труд, равного которому нет ни на одном языке, был совершенно справедливо назван одним профессором «библией фамилий». Сам Борис Генрихович с присущей ему скромностью рассматривал эту книгу лишь как «первую попытку укрощения русских фамилий» (в дарственной надписи). Особую ценность книги представляет приложенная к ней выборочная библиография, так как Борис Генрихович был одним из лучших библиографов по славистике.

Много труда вложил Борис Генрихович и в оксфордский русско-английский словарь, составленный М. Уилером, но под главным редакторством Б. Г. Словарь вышел в 1972 г. и уже распродан, но будет скоро переиздан.

Оксфордское университетское издательство печатало все главные труды Б. Г., так как с 1953 года он занимал в Оксфорде специально для него учрежденную кафедру сравнительной славянской филологии. Б. Г. очень любил Англию и весь неторопливый уклад английской жизни. В 1956 г. он отказался от предложенной ему кафедры славяноведения (созданной некогда для Адама Мицкевича) в Коллеж де Франс. Б. Г. еще при жизни завещал Оксфордскому университету свою замечательную библиотеку с многочисленными автографами известных славистов и писателей. В Оксфорде был устроен 19 мая с.г. специальный «Мемориал дэй», чтобы почтить память Бориса Генриховича. Другой день, посвященный памяти Б. Г. будет вскоре устроен в Брюссельском университете, где Б. Г. был профессором с 1936 по 1953 год, т.е. сразу после того, как он удостоился степени доктора филологических наук в

Сорбонне (1935). В 1968 году, к 70-тилетнему юбилею Б. Г. ему было присвоено звание заслуженного профессора Брюссельского университета и поднесена университетская медаль. Б. Г. был также заслуженным профессором Страсбургского университета, где занимал кафедру с 1937 по 1953 год.

Б. Г. жил в Париже с 1924 по 1937 год, переехав туда из Любляны и сменив Люблянский университет на Сорбонну. В Люблянский университет он поступил после эвакуации из Крыма Белой Армии, в которой служил офицером и был дважды ранен. Б. Г. был москвич, хотя его обруссевшие предки были родом из Курляндии. Дед его служил главным цензором иностранной литературы (как Тютчев) и был почетным потомственным гражданином г. Москвы. После окончания гимназии при Реформатской церкви в Москве в 1916 г. Б. Г. поступил в Московский институт инженеров путей сообщения, откуда ушел добровольцем на войну. В феврале 1917 г. он стал юнкером Константиновского Артиллерийского Училища в Петрограде, был произведен в офицеры и принимал участие в войне на румынском фронте.

Трудности эмигрантской жизни не помешали Б. Г. блестяще окончить Сорбонну, несмотря на то, что он был библиотекарем (1925-1937) Института Славяноведения пока писал свои две диссертации. Б. Г. женился на Елене Ивановне, дочери генерала Максурова, занимавшейся бактериологией в Люблянском университете. Их единственная дочь, Татьяна, родившаяся в Париже, защитила докторскую диссертацию по истории русской литературы в канадском университете МэкГилл.

Профессор Унбегаун был членом Бельгийской Королевской Академии, членом Академии Наук в Майнце, членом Украинской Академии в Америке и членом правления Русской Академической Группы в США. Он был награжден командорским крестом бельгийского Ордена Короны и был кавалером Ордена Леопольда и кавалером Почетного Легиона. В 1972 году Б. Г. был избран президентом *Modern Humanities Research Association* в Лондоне. Его инаугурационная речь о развитии русского литературного языка по сравнению с другими западноевропейскими языками будет напечатана в октябрьском номере *Modern Language Review*.

Живой облик Бориса Генриховича вырисовывается из многочисленных писем и телеграмм с соболезнованиями, получен-

ных его вдовой Еленой Ивановной со всех концов света. Это облик — большого ученого и настоящего джентльмена, человека с благородной душой, готового каждому помочь, скромного, корректного, одаренного тонким юмором. Очень сердечные и теплые письма пришли из России, от известных славистов. Доминирующей нотой этих писем и телеграмм была горечь от преждевременной утраты и желание сохранить благодарную память о замечательном ученом и благородном человеке, посвятившем свою жизнь науке и внесшем в нее значительный вклад.

Память об ушедшем сохранят не только те, кто знал и любил Бориса Генриховича, но и все те, кому дорога русская культура, русская наука, русский язык. Она будет жить в многочисленных трудах покойного и в поколениях молодых ученых, которых ему удалось воспитать на двух континентах.

Квинс Колледж.

Валерия Филипп.

В. В. МИЯКОВСКИЙ

22 марта 1972 года в Нью Иорке в госпитале св. Луки скончался выдающийся украинский ученый Владимир Варламович Мияковский. В течение долгих лет покойный был душой Свободной Украинской Академии Наук в Нью Иорке. В. В. был ее главным основателем и 22 года был бессменным куратором музея-архива. В результате его неустанной долголетней работы при Академии создалась огромная библиотека и хранятся многочисленные архивы выдающихся украинских ученых, писателей и политических деятелей.

В. В. Мияковский родился в Ковле в 1888 году. В 1906 году, окончив киевскую гимназию, он поступил на юридический факультет Киевского университета, но вскоре перешел в Петербургский университет на историко-филологический факультет, который и окончил в 1913 г. с дипломом первой степени. С 1913 по 1917 гг. В. В. занимался преподаванием литературы в средних учебных заведениях и в то же время сотрудничал во многих исторических журналах («Русский Библиофил», «Голос Минувшего» и друг.). Его специальностью была русская литература XVIII века. В 1914 г. в «Журнале Мини-

стерства Народного Просвещения», № 2, В. В. опубликовал свою первую большую работу «‘Песнь историческая’ Радищева и ‘Considerations’ Монтескье». Вообще В. В. много занимался Радищевым, его дипломная работа тоже была посвящена ему: «Новое о Радищеве. Годы учения Радищева». Кроме публикаций научных работ, В. В. в эти годы писал для энциклопедического словаря бр. Гранат и редактировал воспоминания Шелгунова. В 1916 г. В. В. принимал участие в комиссии по описанию дел Архива Министерства Народного Просвещения под руководством С. Ф. Платонова.

После революции 1917 г. Владимир Варламович переехал в Киев. Здесь он работал в архивно-библиотечном отделе при Главном Управлении Искусств, позже стал директором Центрального Исторического Архива им. В. Антоновича и научным сотрудником Всеукраинской Академии Наук. В 20-х годах В. В. работал как член Комитета по Организации Всеноародной Библиотеки Украины, как действительный член Археографической Комиссии, Археологического Комитета при Академии Наук и член Института Т. Шевченко, в котором руководил Кабинетом биографии, рукописным отделом и был основателем и заведующим дома-музея Т. Г. Шевченко. Кроме того, в эти годы В. В. напечатал много исторических и литературных статей: «Декабристы на Украине» и о многих украинских писателях, особенно о творчестве Т. Шевченко.

В 1929 г. В. В. был арестован по делу Союза Освобождения Украины и сослан за Полярный круг, в Кандалакшу. Душевно В. В. был исключительно цельным, негнущимся и обаятельным человеком. Эти черты его характера отразились и в письмах, которые он писал из концлагеря своей жене Инне Леонтьевне (рожд. Голошвили), своему верному другу и всегдашнему помощнику в научной работе, хотя по своей специальности И. Л. была энтомологом. Так, 28. I. 30 В. В. писал из Кандалакши: «На одном доме в Софийском подворье я показывал Вам деревцо, березку, которая умудрилась вырасти на карнизе, у самой крыши. Какие она там нашла питательные соки, кто ее знает, но она укрепилась, растет и зеленеет. Так и я перестраиваю себя применительно к новой обстановке и живу даже на карнизе». От 31. X. 30 В. В. писал: «Ты знаешь, я работать люблю и умею. И где бы я ни был, я всегда сумею трудом своим оправдать свое существование... Работаю мно-

го...» И от 14. II. 31: «Учись терпению, как я научился ждать вестей от тебя месяцами. Радуйся маленьkim радостям, находи силы сносить большие страдания; как бесконечно давно нет от тебя писем, я чувствую себя затерянным в карельских лесах и снегах. Твои письма не могут найти меня. Я уверен, что ты писала по-прежнему часто, но я ничего не получал два месяца. Впереди светится ярко тот денек, в который я получу, наконец, от тебя хоть коротенькую открытку. Уверен, что они где-то лежат и не чувствуют, как они могли бы меня порадовать».

В 1934 г. окончился срок заключения, и Владимир Варламович вернулся в Киев. Но ни о какой научной работе нельзя было и думать. Это были очень трудные годы для всей его семьи. Вернувшегося бывшего з/к все чурались, общение с ним было опасно. Эти годы, до начала войны 1941 г., В. В. работал как статистик. В 1942 г. в голодающем и замерзающем Киеве В. В. старался возобновить работу некоторых секций в Академии и был директором архива, но в годы войны никакой настоящей работы в Академии ему осуществить не удалось.

В 1943 г. В. В. с семьей попал заграницу и здесь был приглашен проф. Д. Антоновичем в Прагу для работы в Украинском музее. Дальше начался период жизни «перемещенного лица» в лагерях ДиПи. Но и здесь В. В. читал лекции в университете в Мюнхене, собирая всевозможные материалы для литературного и исторического архива. Все эти материалы впоследствии были им вывезены из Германии в США и в Нью-Йорке послужили неким архивным «фундаментом» для создания архива при Свободной Украинской Академии Наук, которой он отдал 22 года своей жизни. В Нью-Йорке для Исследовательского Института при Колумбийском университете В. В. были написаны следующие работы: «Костомаров и Кирилло-Мефодиевское Братство», «Декабристы в советской историографии», «Радищев и Новиков в советской историографии», «Русские якобинцы и бланкисты в советской историографии». В библиотеке Академии собраны им ценнейшие материалы — первые лагерные издания газет, прокламации, воззвания, все, что будущему исследователю даст обширный материал для литературных и исторических работ. Этот музей-архив им. Д. Антоновича, созданный при Академии, является памятником

непрестанных трудов покойного Владимира Варламовича Мияковского, человека редких душевных и нравственных качеств.

Роман Гуль

Д. Н. ШУБ

Известие о кончине моего близкого друга, Давида Наталиновича Шуба пришло ко мне неожиданно, мне сказали по телефону, его родные. Передали, также, что умирал он в полном сознании и перед смертью сказал, что он бы хотел, чтоб на поминальном собрании перед его погребением, по-русски о нем сказал я. С чувством долга перед моим давним и дорогим другом, Давидом Наталиновичем, я и скажу о нем то, что у меня на душе и то, что я считаю нужным сказать о нем, как о русском публицисте и человеке.

Давид Наталинович был не только известным публицистом, писавшим на еврейском языке, он также был и русским публицистом, много писавшим по-русски с молодых лет. Он любил Россию, русскую интеллигенцию, русскую общественную мысль и русскую литературу.

Родился Д. Н. в местечке Поставы Виленской губернии, учился в Вильне и там смолоду примкнул к революционному движению, став социал-демократом (меньшевиком). В 1903 году он уехал заграницу, жил в Лондоне, Париже, Женеве. Встречался заграницей почти со всеми видными тогда русскими эмигрантами социал-демократами — Плехановым, Лениным, Потресовым, Засулич, Дейчем, Мартовым и другими. В 1905 году Д. Н. вернулся в Россию и участвовал в первой революции, оставаясь социал-демократом (меньшевиком). В эти годы он был несколько раз арестован, сидел в тюрьме и наконец был сослан в Сибирь, откуда в 1907 году бежал заграницу и в начале 1908 года, впервые, приехал в Америку.

Но будучи социал-демократом (меньшевиком) Д. Н. всегда был на самом правом фланге меньшевизма. Почему? Да потому, что по своей натуре для Д. Н. не было более высокой

Слово произнесенное на поминальном собрании перед погребением Д. Н. Шуба.

общественной ценности чем человеческая личность и ее свободы. Д. Н. был подлинный гуманист, в самом глубоком смысле этого слова. Именно поэтому покойный отталкивался с таким естественным отвращением от таких политических персонажей, как Ленин, Троцкий, Сталин, из которых двух первых он лично знал, а о Ленине написал едва ли не лучшую по объективности книгу, которая дала Давиду Натановичу международную известность. Дала — по справедливости. Жаль только, что эта книга Давида Натановича о Ленине, переведенная на 20 европейских и азиатских языков, не вышла на русском языке. Об этой книге Д. Н. профессор Михаил Карпович в «Новом Журнале» писал так: «Главное достоинство книги Д. Н. Шуба заключается в том, что она с непрекаемой убедительностью показывает роковую необходимость развития ленинской политической стратегии и тактики, всего его революционного замысла, — в ту систему тоталитарной террористической диктатуры, которая получила такое законченное выражение в руках его ученика и преемника — Сталина».

Этот примат свободы и человечности в общем мировоззрении Давида Натановича делал его политическим другом не только правых социалистов, таких как Зензинов, Бурцев, Кускова, Керенский, но и русских либералов, как Милюков, Карпович и др. Будучи непримиримым ко всякому насилию, ко всякой диктатуре над человеком, Д. Н. определял себя, как демократического социалиста западно-европейского типа. И не было ничего удивительного в том, что еще в годы первой мировой войны он отошел от марксизма и от официального меньшевизма. Д. Н. любил жизнь, любил людей и был чужд всякого доктринерства.

И когда левые социалисты упрекали его в отходе от марксистской ортодоксии, он на эти упреки так ответил в своем письме Льву Дейчу, пошедшему на сотрудничество с большевиками. Это письмо Д. Н. опубликовано в его воспоминаниях в «Новом Журнале». Он писал: — «Да, Вы правы, мы все сильно изменились за эти годы. Тяжелый урок войны и большевизма не прошел даром для большинства наших товарищей, оставшихся заграницей. Мы научились смотреть на действительность более трезвыми глазами и оценивать события не с точки зрения предвзятых формул и застывших догм, а исключительно с точки зрения исторического опыта... При всей

Вашей глубокой ненависти к «чекистских дел мастерам», которыми для Вас являются все эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины и Дзержинские, Вы все же продолжаете считать большевиков социалистами, хотя и плохими, не совсем чистыми на руку. Вот в этом — корень наших разногласий...»

Большевиков Д. Н. социалистами не считал. Он считал их «мошенниками» и преступниками. И в течение всех своих долгих лет боролся против них своим оружием — пером публициста — и в еврейской и в русской печати и в Америке и в Западной Европе. За последние пятьдесят лет Д. Н. был постоянным сотрудником почти всех русских зарубежных демократических изданий — «Заря», «Дни», «Новый Журнал», «За свободу», «Новое Русское Слово», «Русская Мысль», «Мосты» и другие. В «Новом Журнале» Давид Натанович сотрудничал больше чем 30 лет, с самого основания этого журнала.

Последней книгой Д. Н. на русском языке был сборник статей — «Политические деятели России с 1850-х до 1920-х г.г.» Эта книга по заслугам имела успех у русских читателей, ибо Д. Н., как мало кто — был большим знатоком истории освободительного и революционного движения в России. Его скрипты на эти темы в течение долгих лет передавала радиостанция «Свобода».

Как человек Д. Н. был исключительно добрым и отзывчивым. Конечно, у каждого из нас всегда есть какие-то «враги». Но у Д. Н. **ЛИЧНЫХ** врагов, я думаю, не было. Я знаю, что очень часто он оказывал помощь даже тем, кому может быть не симпатизировал. Но по его философии — всегда лучше было сделать хорошее чем плохое. Вот поэтому у покойного и было много верных друзей. И один из них, я, скажу: — да будет легка земля дорогому другу и прекрасному человеку Давиду Натановичу Шубу.

Роман Гуль

БИБЛИОГРАФИЯ

Dmitrij Čiževskij. Comparative History of Slavic Literatures. Translated by Richard Noel Porter and Martin P. Rice, edited with a foreword, by Serge A. Zenkovsky. Vanderbilt University Press, 1971. Pp. 225.

Какой смысл имеет занятие сравнительной историей славянских литератур и надо ли писать о ней книги? Зачем сопоставлять произведения словесного искусства, развивавшиеся при совершенно различных условиях и под не только различными, но часто друг другу противоположными культурными влияниями? Что общего, например, между русской так называемой литературой шестнадцатого века и замечательным расцветом польской литературы в том же столетии, произведшем таких поэтов как Ян Кохановский? Не станет ли сравнительная история славянских литератур только лишь параллельным перечислением различных явлений литератур, правда, написанных на языках развившихся из одного и того же праязыка, но, кроме этого факта, не имеющих между собой почти ничего общего и, за исключением немногих периодов, довольно мало влиявших друг на друга? Особенно незначительным оказывается именно это взаимное влияние если сравнить его с влиянием хотя бы византийской литературы на юговосточные и восточные литературы ранних периодов или с западным влиянием на все славянские литературы за последние века.

Все эти вопросы нельзя считать разрешенными; пока ясно только то, что попытки создания сравнительной истории славянских литератур делались до сих пор не по литературным, а по идеологическим и даже политическим соображениям. Романтические мечты об общеславянском культурном наследии, панславизм или единение славянских народов под гегемонией русской империи были двигателями при создании общеславянских историй литературу, как например, немецкая книга чеха П. И. Шафаржика «Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten» (1826), «История славянских литератур» поляка В. Спасовича, с присовокуплением отдельной «Истории русской литературы» А. Пыпина (1879-1881) и внушительный труд чеха Яна Махаля «Slovanské literatury» (1922-1929). Махаль гораздо менее заинтересован идеологией или политикой, чем его предшественники, но все же его главная тема это культура славянских народов и их социальная история; литература рассматривается лишь как отражение этих двух факторов.

Именно такой подход, не говоря уж об идеологии и политике, менее всего интересует проф. Чижевского. Его занимают исключительно чисто литературные аспекты словесности всех славянских народностей. Он старается показать их взаимные влияния, поскольку таковые существовали, и, главное, их связи с литературными течениями виеславянской Европы, опять-таки только как литературные течения, без всякой примеси каких бы то ни было идеологических ворований.

Его английская книга — перевод с немецкого: в 1968 году проф. Чижевский выпустил в Берлине два томика *«Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen»*, которые в свою очередь представляют более пространную версию его книги *«Outline of Comparative Slavic Literatures»*, вышедшей в Бостоне в 1952 году.

Чижевскому, конечно, ясны все упомянутые вопросы и проблемы, связанные с сравнительной историей славянских литератур. Он не старается их разрешить, и указывает главным образом на ее педагогический аспект. Изучение славистики в университетах сводится, по его мнению, слишком часто к изучению русского языка и русской литературы, и безусловно, с этой точки зрения, необходимость знакомства со всеми лингвистическими и литературными явлениями всего славянского мира очевидна.

Чижевский должен был проработать огромную массу материала. Писать обо всех славянских литературах на двухстах страницах текста и избежать простого перечисления имен и заглавий — не легко. Чижевский отлично разрешил свою трудную задачу. Конечно, перечисления есть, но умная организация книги их осмысляет в контексте, и почти всюду их оживляет выразительный эпитет или краткая, но точная характеристика. С этими эпитетами и характеристиками можно иногда не согласиться: как у всякого историка литературы, у Чижевского есть свои предпочтения и отталкивания. Он, например, очень любит барокко и вообще орнаментальный стиль, что привело к слишком широкой разработке именно этого течения и к переоценке таких писателей, как Андрей Белый. С другой стороны, он, правда, не без основания, очень не любит «гражданского» Белинского и всех его последователей, особенно А. Скабичевского и в связи с ним, как это ни странно, США, где Скабичевского, якобы, еще читают. Выпады его против славистики в университетах США вообще вряд ли справедливы и компетентны (эта черта сказывается сильнее в немецком оригинале). Но его «яркие» суждения, на которых он, впрочем, сам не настаивает, предлагая читателю самому ознакомиться с материалом, безусловно повышают выразительность и красочность книги, которая носит отчетливую печать незаурядной личности автора.

Чижевский исходит из положения, что историческое развитие

литературы, как и развитие всех других видов искусства, характеризуется чередованием стилей. Сравнивать произведения словесного искусства народов (в том числе, конечно, и славянских), надо именно в границах их стилистических устремлений. Основное, как бы популярное, различие между стилями, это или стремление к спокойной, гармоничной красоте, простоте построения, прозрачности структуры, старание ограничить стилистические приемы и сделать их, по возможности незаметными, заключить все произведение в крепкую раму, тенденция передать статические положения, — или это как раз противоположный подход: спокойная, гармоничная красота не считается идеалом искусства. Наоборот, борьба враждебных сил, напряжение, антитезы преобладают. Вместо стремления к ясности наблюдается стремление к затрудненности построения, умышленная туманность и таинственность, несоответствие отдельных частей произведения, намеки, указывающие на что-то непостижимое уму, но ясно воспринимаемое чувством. В связи с этим стремлением стиль становится орнаментальным и желание заключить произведение в четкие рамки отпадает; безграничность, «бесконечная перспектива», фрагментарность, динамичность становятся главными характерными признаками стиля этого искусства.

В истории европейских искусств первое направление яснее всего выражено в стиле ренессанса и классицизма, второе в стилях барокко и романтизма. Но те же, хотя бы и менее ясно выраженные признаки характеризуют и другие эпохи исторического развития европейских искусств. Чижевский относит искусство ранних средних веков (в славянских литературах приблизительно 10-14 вв.) и реализм 19 века к «ясному» стилю, искусство поздних средних веков и «неоромантизм», т.е. символизм и все течения так наз. модернизма к стилю динамичному, «затрудненному». Существуют и переходные стили, как-то манеризм, рококо, сентиментализм, бидермейер, импрессионизм, но, конечно, нельзя устанавливать слишком точные хронологические границы между всеми этими течениями: они часто перемежаются, иногда текут параллельно, приглушая друг друга, в общих же чертах они выступают достаточно ясно для того, чтобы использовать их как основу для сравнения литературных явлений. Это именно то, что делает проф. Чижевский в своей книге. После введения, в котором он излагает свой метод (указывая на его источники) и главы о начале славянской литературной деятельности (Кирилл и Мефодий), он следует намеченней выше схеме, начиная главой о раннем средневековье и кончая литературой неоромантизма или модернизма. Две обособленные главы (5 и 6) посвящены русской литературе московского периода (16 и 17 вв.) и литературе гусситского движения в Чехии, так как в обоих случаях — по политическим причинам того времени — трудно уместить их литературные явления

в принятую автором схему. Каждая глава (за исключением этих двух) начинается перечнем главных литературных деятелей эпохи, распределенных по национальностям, причем те национальности, вклад которых в данный период более важен, названы сперва, а остальные в исходящей последовательности их значения. Таким образом в главе, например, о барокко на первом месте стоят хорваты (далматинская литература Дубровника!) на последнем — русские. В главе о реализме первое место предоставлено русским, болгары занимают последнее.

Проф. Чижевский умело и убедительно выделяет главные стилистические черты каждого направления в теории и освещает их удачно подобранными примерами текстов из славянских литератур. Всюду в его книге разбросаны интереснейшие замечания как об отдельных стилях, так и о литературе вообще. Его глава о литературном барокко открывает новые пути к этому далеко еще не достаточно изученному в славянских литературах — и в особенности в русской — движению, но и его теория переключения жанров (например, превращение баллады в «балладный рассказ»), его различие «полных» и «неполных» литератур (в некоторых периодах иных литератур существуют лишь известные жанры и литературы эти могут рассматриваться только как дополнения к другим литературам — развитие этой теории см. стр. 114) и множество столь же неожиданных, как безусловно правильных, идей делаю из его труда как бы «компендиум» к изучению всякой литературы — не только литератур славянских.

В громадной панораме, раскрытой перед нами Чижевским, есть не вполне понятные пробелы и непоследовательности (не названы, например, из русской литературы протопоп Аввакум, Чаадаев, Батюшков, Сергей Аксаков, Герцен, — но названы неоднократно Нил Сорский и Федор Карпов, несмотря на то, что их причастность к чистой литературе безусловно уступает причастности хотя бы Герцена), но с этим легко примириться. И если даже необходимость сравнительной истории славянских литератур остается все же под сомнением, то, тем не менее, трудно себе представить более освещенное и в иных местах блестящее введение в «литературную славистику», чем эта книга Чижевского. Можно быть только благодарным проф. С. А. Зеньковскому, по инициативе которого она была издана, который написал к ней умное, информативное предисловие и дополнил очень полезную библиографию немецкого издания английскими и американскими трудами.

В. Сечкарев

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ЗЕРНОВЫХ*

«На переломе» — том, созданный — по истине — «соборным усилием» трех поколений московской семьи Зерновых и — с большим искусством — отредактированный Николаем Михайловичем Зерновым, ныне старейшим из «стали славных». Эта книга (скажем сразу) редкостное явление по своей внутренней ценности и, в сущности, многогранности своего содержания, хотя внешне это только «глубоко субъективный» (по признанию редактора) рассказ о жизни «одной семьи» за сто с небольшим лет.

«Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам...» — ощущение оправданности этого шекспировского утверждения и, более того, реальности и привлекательности *добра*, и одновременно отрицание начал злобы и насилия, как основы человеческой жизни, — вот, общее впечатление, оставляемое отчетной книгой, светлой по духу и замыслу, честной по материалу и пре-восходной по языку и чувству меры в повествовании.

Чрезвычайно велико *историческое* значение этой публикации. Во первых, поскольку в «Части первой» отражена жизнь деда Зерновых, протоиерея Стефана (1817-1886), эти страницы — существенный вклад в будущую историю русского православного духовенства, которому не слишком повезло в русской историографии (гораздо меньше, чем протопопу Аввакуму и старообрядцам, кстати сказать), а, между тем, русский священник играл положительную роль в становлении «шестой части земли», не менее ответственную, чем, к примеру, служилые люди Московской Руси или в императорский период капитаны Мироновы и поручики Гриневы (последние были воспеты В. О. Ключевским в его статье «Предки Евгения Онегина») или — «под занавес» — булгаковские братья Турбины «со товарищи». Протоиерей Стефан был выдающимся человеком; очень удачно его облик и деятельность даны рядом с характеристиками других членов первого поколения Зерновых: показан замечательный «кусок Москвы» прошлого века.

Исключительно ценна для историков и «Часть вторая» — о втором поколении семьи, ибо дает — без всякой нарочитости и много-значительных обобщений — увлекательные и точные подробности русского быта, передает общий дух жизни русской интеллигенции и хорошо знакомит с «общественным климатом» эпохи, по крайней мере, за три десятилетия, вплоть до 1917 года, который — по выражению знаменитого и тогда в Москве и позднее в эмиграции врача Михаила Степановича Зернова, — «явился гранью между прежней

* «На переломе». Три поколения одной московской семьи (1812-1921). Под редакцией Н. М. Зернова, ИМКА-Пресс. Париж, 1970, (с. 480).

свободой и новым насилием». Этот раздел книги кончается прекрасным текстом А. М. Ремизова «В сияни голубом», когда-то написанным — «памяти доктора М. С. Зернова» — на основе писательских впечатлений о зерновском санатории в Ессентуках в 1916 году.

«Части третья и четвертая» посвящены нашему веку и написаны авторами только третьего поколения Зерновых, которые все получили широкую известность в эмиграции, благодаря своей разнообразной общественной и церковной деятельности. Но в этом томе они сосредоточили внимание на своем детстве и юности в предреволюционной России и на своей юности и молодости в период 1917-1921 годов. Историческое значение их рассказов трудно переоценить. Они не были ни вождями, ни ответственными членами каких-либо общественных групп. Они представляли собой просто молодежь из русских образованных слоев. Их свидетельские показания, написанные со страстной искренностью, редкое явление *объективного рассказа* об этом периоде (начисто исчезнувшего в воспоминаниях их «сверстников», публикуемых в Советском Союзе и, повидимому, расчитанных «на Иванов, непомнящих родства» или на близоруких иностранных «специалистов» по периоду).

Особенно стоит подчеркнуть значительность страниц о гражданской войне на юге России: они вызывают читательское волнение изображением эпизодов русской смуты и восхищение авторской честностью, с которой повествуется (в частности, в талантливых главах, написанных самим редактором) о подлинном в те годы «ходжении по мукам». Все эти воспоминания — настоящий подарок и историкам и будущим читателям этого тома в России. Прошлое беспрерывно уходит само по себе в Лету и, к тому же, в духе Орвелловского «1984», непрерывно и сознательно «обрабатывается» политическими демагогами. Поэтому столь ценные в этой хронике «объективно показанные», даже отдельные черты русского быта (включая, например, интереснейшую и столь типичную вообще для русского общества той поры фотографию — «После обеда»), и поэтому столь драгоценны черты русской психологии, особенно блестящие и подчас мастерски описанные в ряде очерков Софьей Михайловной Зерновой.

Однако, было-бы несправедливо отнести эту книгу только к разряду правдивых и талантливо написанных мемуаров, пополняющих наши *исторические* представления, в разных планах, о России. В этом соборном труде восьми авторов есть и нечто иное, придающее необычайность этой публикации. Все авторы полностью и прямодушно религиозны. Они показывают с необычайной отчетливостью, почему, и как, и в какой степени они стали продолжателями православного дела своего знаменитого деда-протоиерея, замеченного в свое время одним из выдающихся деятелей русской церкви, митрополитом московским Филаретом, и высоко оцененного многими, от К. П.

Победоносцева до Владимира Соловьева, — последний надеялся, что протоиерей С. Зернов «поможет соединению церквей...»

Неудивительно, что эта задача стала, в сущности, основной в деятельности его внука, редактора «На переломе», Н. М. Зернова, одного из виднейших русских участников и руководителей экуменического движения. Надо подчеркнуть, что описания *становления* религиозного сознания у третьего поколения Зерновых сделаны с большим тактом и воспринимаются читателем, как естественный процесс роста личности, иногда более обостренный, как у М. М. Зерновой, или гармонично ровный, как у М. В. Лавровой-Зерновой, или более замедленный, как у Вл. М. Зернова, ставшего, как и его отец, врачом и ученым.

Редактор книги дважды подчеркивает (в предисловии и в заключении) *полифоничность* тома. Едва ли этот термин оказывается здесь точным, — и в чисто музыкальном его значении и в Бахтинской интерпретации (в отношении «Братьев Карамазовых»). Мы ощущаем в «Семейной хронике» Зерновых иное: поразительную созвучность авторов не только в пределах описания одних и тех же событий или вопросов, но и более того единство в мироощущении всех восьми «хронистов», — книга звучит *симфонией*, утверждающей *христианское* мировоззрение. И при этом читателю дано уяснить весь процесс духовного роста участников этого тома: от «бытового православия» (употребляя евразийскую терминологию) к сознательному «национальному церковному служению», а, как завершение, понимание всеценности христианства и служение идеи Бога в экуменическом движении.

Ник. Андреев

Serge Kryzylski. The Works of Ivan Bunin. Mouton. The Hague. 1971. (283 р.)

В этой книге раскрывается не только творчество Бунина, но отчасти и его жизнь. Другой такой обширной и обстоятельной монографии о нем еще не было. Есть немало ценного в книгах В. Афанасьева и А. Бабореко, но, может быть и вынужденно, этим советским ученым пришлось о многом умолчать и даже кое что исказить, в особенности, при обсуждении всего того, что Бунин написал в эмиграции. В этом смысле не вполне безупречен и такой искренний ценитель и поклонник Бунина, как Константин Паустовский. Вообще же, книг о Бунине написано немного. Это книга жены — В. Н. Муромцевой-Буниной и воспоминания Б. К. Зайцева: на них Крыжицкий часто ссылается, но жаль, что он не упоминает о замечательном *Грасском дневнике* Г. Н. Кузнецовой. Может быть, из-за недостатка места он не смог включить все библиографические данные из своей

карточки, и, естественно, не мог включить статьи о Бунине, появившиеся после 1968 г., когда С. Крыжицкий уже закончил книгу.

Мы знаем: темы любви и смерти неотделимы у Бунина. Был он одержим и страстями, и страхами, и Крыжицкий вскрывает их взаимоотношение и даже взаимопроникновение в *Митиной любви* или в *Жизни Арсеньева*. Разбор этих да и многих других повестей, рассказов ему очень удался, как и анализ «визуального» мастерства Бунина, его изумительной речевой живописи.

Характеристики всего бунинского творчества Крыжицкий не дает. Вероятно, не хотелось ему «сводить» Бунина к каким-то общим и неизбежно-спорным выводам. Но очень существенны многие его наблюдения, замечания о тематике и стилистике Бунина. Всё же, некоторые его аргументы мне не кажутся вполне убедительными. Так, Крыжицкий утверждает, что Бунин всегда стремился к объективности, но недостаточно объективно отнесся к русскому дворянству. Но объективность мы ценим у литератороведов, а не у писателей и даже не у критиков. К тому же Бунин дворян не идеализировал, но, действительно, своего пристрастия к ним не скрывал. Эта субъективность не мешала, а скорее способствовала развитию его таланта. Есть поэзия в его усадебных антоновских яблоках да и в том дворянском оскудении, которое его и огорчало и восхищало. И есть высокое искусство в этой поэзии яркого и иногда дикого увядания в *Суходоле* или в *Жизни Арсеньева*. А об объективности изложения, по-моему, можно было бы забыть.

Лучше бы Крыжицкий не упоминал о т.н. русской душе, в самое существование которой Бунин не верил. Вообще же, он в души глубоко не заглядывал и мало говорил о внутренней жизни своих героев, что, впрочем, и Крыжицкий отмечает: и всё-таки они живут, дышат у Бунина, — не эпически, а лирически, в какие-то самые счастливые или самые печальные мгновения жизни. Сила и даже мощь Бунина в его моментальных снимках. Именно поэтому ему так удавались кратчайшие рассказы (миниатюры), которым Крыжицкий уделяет немало внимания и удачно их анализирует.

В книге Крыжицкого находим ценный, хоть, естественно, неполный свод существенных отзывов о Бунине. Среди них выделяются критические замечания Адамовича, Бицилли, Вейдле, Степуна, Ходасевича и некоторых других. Значительны и суждения академика Виноградова, а также нерусских критиков, как напр., Ренато Поджоли.

Крыжицкий дает слово и хвалителям и хулиителям Бунина-стихотворца (но, к сожалению, не упоминает о хулящих дельных статьях Алексея Эйснера и В. А. Дукельского). Я здесь в этот спор не вступаю, но отмечу: такие поэты как Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Пастернак почти не замечали бунинского стихотворства, и это их

незамечание, есть значительный «литературный факт» (как сказали бы формалисты). Правда, Игорь Северянин посвятил Бунину-стиховому неплохой хвалебный сонет (включенный в книгу Крыжицкого). Отмечу, что Крыжицкий убедительно доказал, что вопреки распространенному мнению, в стихах Бунина немало звуковых повторов.

Монография Крыжицкого в целом — книга нужная, полезная и незаменимая для критиков и исследователей творчества Бунина. Это, несомненно, ценный вклад в буниниану.

Юрий Иваск

Józef Mackiewicz. "W Cieniu Krzyża". Wydawnictwo KONTRA. Londyn, 1972.

Известному польскому эмигрантскому писателю Иосифу Мацкевичу было наверное нелегко решиться написать книгу «В тени креста». Польша всегда была тесно связана с католицизмом и в своей национальной политике всегда поддерживала дружественные отношения с Ватиканом. Мацкевич же в отчетной книге поставил себе задачей показать, как политика Ватикана с некоторых пор поддерживает политику московского и мирового коммунизма.

«Я написал эту книгу в убеждении, что никто из польских авторов кроме меня не захочет прервать молчанья в делах, которые должны быть всем известны», говорит в своем предисловии Мацкевич.

Русский читатель, как и польский, должен быть благодарен Мацкевичу за это «нарушение молчания». Мацкевич говорит о твердой антикоммунистической позиции папы Пия XII и потом переходит к политике папы Иоанна XXIII, означенавшейся резким поворотом «влево», когда в 1959 г. им было впервые провозглашено: «*aggiornamento*». С этих пор политика Ватикана «модернируется», приурочивается к «сегодняшнему дню» и идет в унисон с лживым московским лозунгом, «мир, дружба и братство народов». Ватикан фактически с этих пор закрывает глаза на атеистическую, античеловечную, антихристианскую, тоталитарную сущность коммунизма. Мацкевич приводит многочисленные документы, подтверждающие это.

Для русского читателя книга Мацкевича представляет большой интерес, так как автор попутно пишет и об отношении советского правительства к православной церкви в СССР и вне его. Перечислив бесконечных мучеников за православную веру Мацкевич разоблачает оппортунистическую деятельность патриарха Алексия, много говорит о небезызвестном, ловком «чекисте в рясе» митрополите Никодиме, о трагическом положении верующих православных в СССР и убедительно рассказывает о роли, которую сыграла Московская Патриархия и КГБ (в лице Никодима) в расчленении русской православной церкви за границей.

Не случайно Мацкевич озаглавил свою книгу «В тени креста». Так назывался советский антирелигиозный фильм, который шел в советских кинотеатрах в начале 60-х годов. Эта дешевая агитка была приурочена к II Ватиканскому Собору 1962 г., на котором, по предварительному секретному сговору в Метце, было принято решение, что «всякий антикоммунизм должен быть снят с повестки дня».

Книга «В тени креста» написана талантливо, живо, остро. В ней много горечи и много бичующей иронии, причем вся книга основана на неопровергимых документах. Сноски в конце каждой главы помогают читателю найти первоисточники. Лейтмотив книги хорошо выражен эпиграфом, взятым у Мариана Хемара:

«Выходите из катакомб, уважаемые епископы!
Нерон стал уступчивее. Кровь на арене высыхает.
И только Хилон Хилонид, как дурак,
Подыхает на кресте».

Для современных и будущих историков церкви «В тени креста» — исключительный исторический документ. Кроме главных европейских языков эта книга должна быть переведена и на русский. В заключительных строках книги Мацкевич пишет: — «Преемник и продолжатель дела Иоанна XXIII, папа Павел VI, значительно его углубил. Способствуя частичному разложению католической церкви, он вписал в ее историю новые главы, которые придется уже озаглавить — «В тени красной звезды».

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

Борис Пылин. Первые четырнадцать лет. Калифорния, 1972 (213 стр.).

В кратком предисловии к этой книге Б. Пылин пишет: «мемуары привилегия не только государственных мужей и знаменитостей». Действительно, его воспоминания по-своему интересны и необычны. Автор, в прошлом кадет 2-го Московского кадетского корпуса, начал свою самостоятельную жизнь добровольцем белой армии.

Детство Б. Пылина прошло в старинном, небольшом Торжке, отмеченном в летописи под 1015 годом. Свой городок Пылин любит и охотно о нем рассказывает. В свое время через Торжок пролегал петербургский тракт, и в тамошней гостинице ямщика Пожарского останавливались на ночлег Радищев, Державин, Гоголь, Лермонтов, Лажечников. Здесь же бывала и пушкинская Анна Керн, недалеко от Торжка похороненная.

В Торжке семья Б. Пылина «пустила глубокие корни». Но революция 1917 года разметала в разные стороны родных Б. Пылина.

Начались скитания. В сентябрьский день 1919 года в Ливны,

где в этот момент жил Пылин, пришли Марковцы. У многих, в том числе и у Пылина, вспыхнули надежды на близкое освобождение Москвы от большевиков. Но вскоре боевое счастье изменило белым, и Пылин был подхвачен волной отступления. На станции Студеный Колодец он пришел в штаб Алексеевского полка, которым командовал первоходник П. Г. Бузун. С этого дня в течение года Пылин состоял в рядах этого полка и разделил с ним боевую страду, проявив длинный и трудный путь от Орла до Новороссийска и Крыма.

В главе «На разведку в Ростов» автор описывает свою смелую вылазку в тыл красных. Эти страницы нельзя читать без волнения: мальчик пробирается через линию фронта у Батайска, попадает в руки заподозревших неладное красных, проводит несколько дней под арестом в Ростове и после освобождения из-под ареста собирает полезные для белых сведения. Благополучное возвращение с ценностями сведениями в Батайск, и в награду Георгиевский крест и погоны старшего унтер-офицера.

С Алексеевским полком Б. Пылин отступает по степям Кубани, переправляется в Крым, участвует в десантных операциях из Крыма в Северную Таврию и на Кубань, стоивших Алексеевцам больших потерь. Перед читателем проходят — командир полка, полковник Бузун, офицеры, солдаты, их боевые подвиги, страдания, гибель многих на полях сражений.

Картины русского лихолетья автором схвачены верно, и о них он пишет честно и нелицеприятно. Отсюда и его неутихающая боль о погибших соратниках, и горечь от напрасного расстрела белыми учителя Ливенской гимназии, и пришедшее со временем осознание «непоправимых ошибок», приведших к краху белого дела.

Б. Пылин пишет хорошим русским языком. Воспоминания читаются легко. Посвящены они памяти Алексеевцев, павших в борьбе с коммунизмом. Его книга — это отрывок еще не написанной истории Алексеевского, одного из «цветных» полков, Добровольческой армии.

Б. Прянишников

3. Н. Гиппиус. Живые лица. I-II. Предисл. Темиры Пахмусс. 186 и 170 стр. *Литературный дневник* 1899-1907, 453 стр. Издание Вильгельма Финка в Мюнхене. 1972.

Зинаида Гиппиус, прежде всего, выдающийся поэт. Ее поэзия интеллигентская, но не абстрактная: мысли в стихах оживлены неповторимыми интонациями ломкого, срывающегося голоса, звучащего в т.н. дольниках, которые З. Г. канонизировала, а встречались они и прежде, напр. у Тютчева или Фета, но воспринимались чита-

телями как «незаконные» отклонения от пяти привычных метров. Романы, рассказы, драмы едва ли удавались З. Г., но удавались письма, дневники и многие статьи. А лучшая ее проза, несомненно, *Живые лица* (изд. в 1925 г.). Помещенные в этом сборнике очерки равноценны лучшим образцам нашей мемуарной литературы, будь то *Былое и думы* Герцена, отрывочные записи К. Леонтьева или все четыре тома воспоминаний Андрея Белого. Это живая книга о живых, хотя уже умерших и (что подсказывает самым жанром мемуаров) субъективная, иногда даже капризно-субъективная книга. Своей «ячности» З. Г. не скрывает: «в моих 'сказках действительности', пишет она, повествуется о человеке, «каким он прошел перед моими глазами, — или даже мелькнул, — каким он мне показался». А «тайна личности», утверждает З. Г. остается от нас «скрытой на всегда».

Самый проникновенный очерк посвящен Розанову. В гениальном Василии Васильевиче, со всеми его противоречиями, с его перемежающимися тезисами против Христа и за Христа, З. Г. угадала *задумчивого странника*, завороженного последними тайнами Бога, человека, мира. Самый добрый очерк З. Г., хотя ее и трудно назвать «доброй», посвящен *благоуханным сединам* литературных старииков, которых она встречала в юности, в 90-х г.г., Плещееву, Полонскому, Майкову, Вейнбергу, Григоровичу, а также Толстому, с которым Мережковские встретились позднее. Многих особенно заинтересует очерк о дружбе-вражде с Блоком, «моим лунным другом» и, в связи с ним, З. Г. рассказывает и об Андрее Белом. Добром помянут Сологуб, но отзывы о Брюсове и Северянине — язвительные, пристрастные.

Неожиданна глава об Анне Вырубовой, с которой она познакомилась уже после революции. Ее портрет самый *законченный*, выразительный, и не потому ли так удался, что Вырубова была для нее человеком из другого мира, из окружения императрицы и Распутина? О чужом ведь иногда легче писать, чем о своем, близком... Многих, вероятно, возмутил заявление З. Г.: «писанья Чехова казались мне какими-то жидкими»... и она соглашается со своим другом С. А. Андреевским, автором незаслуженно забытой *Книги о смерти*: «Чехов нормальный писатель и прекрасный нормальный писатель своего момента». Пусть З. Г., как и Мережковский, а также Розанов, Ремизов, были к Чехову несправедливы, но ничего возмутительного в их нападках нет. Творческий человек всегда неизбежно ограничен в оценках. Гёте не понял Гёльдерлина, Пушкин Тютчева, а Толстой терпеть не мог всех «декадентов», да и Чехов их недолюбливал. З. Г. раздражал чеховский «гений неподвижности». Ее, как и других символистов, многое от Чехова отталкивало: его статика, его непорывистость, отсутствие смелого вызова и пророческого дара, одушевлявшего не только обожаемого ими Достоевского, но и чуждого им Толстого.

Их, пусть и спорная, критика куда глубже, значительнее, чем поверхностное «общественное осуждение» Чехова народническим «вершителем дум» Михайловским. Многочисленным современным чехолюбам и чеховедам следовало бы лучше ознакомиться с античеховской критикой эпохи символизма. Мне же лично труднее «переварить» пренебрежительно-покровительственный отзыв З. Г. о юном Осипе Мандельштаме, которого не понимали и Брюсов, и Блок. Но и это непонимание оправдано в творческом плане. Напомню, что и Мандельштам отталкивался от символистов, о чем мы знаем по его статьям и недавним воспоминаниям его вдовы Надежды Яковлевны.

Литературный дневник менее значительная книга. Куда существеннее настоящие дневники З. Г. А в эту книгу вошли ее статьи, помещенные в разных журналах. Стихи, включая и «гражданские песни» Некрасова, она отождествляет с молитвами и здесь предвосхищает мысли аббата-академика Бремона. Некоторые рассуждения о богословско-философских исканиях 900-х г.г. очень уж сбивчивые. Но особо выделяю очерк *Влюблённость*, где «христианская влюблённость», раскрывающая личность, противополагается той ветхозаветной безлично-брачной любви, которую проповедовал Розанов. Поистине, встреча с ним была одним из самых потрясающих событий в жизни Мережковских: он мог без них обойтись, по едва ли они могли обойтись без очень плодотворной полемики с ним.

Запоминается аналогия З. Г. между этими двумя похожими-непохожими «новыми богословами», о которых опять заспорили в России: «Если у Булгакова — отсутствие трагедии, чрезмерное благополучие, то у Бердяева такая трагедия, что за него страшно — выйдет ли он жив из нее». Слишком много места удалено третьестепенным писателям: Боборыкину или Сергееву-Ценскому. В одной из статей о Чехове З. Г. называет его «гением небытия», и здесь совпадает с Шестовым. Достается от нее, и за дело, Горькому, Андрееву. Отзыв о Зайцеве — сочувственный. Хорош очерк об Александре Добролюбове, поэте-декаденте, ставшем умудренным странником. В конце книги очень удавшиеся *Парижские картины* 1907 г. Описание сходки анархистов и монмартрского кафе, где собирались «лунные люди» (в розановском смысле) и глазевшие на них богатые досужие буржуа.

Юрий Иваск

California Slavic Studies, Volume VI. University of California Press. Berkeley. 1971. Guest Editors: Robert P. Hughes, Simon Karlinsky, Vladimir Markov.

Этот специальный выпуск калифорнийского журнала славяноведов посвящен одному из его основателей, известному литературу-

веду, ученому, поэту и редактору-издателю произведений Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и др. — Г. П. Струве. В нем приняли участие ученые разных поколений, в том числе и такие, как Г. Ермолаев, И. Титюнин и А. Шейн, научными диссертациями которых руководил Г. П. Выпуск разделен на следующие части: литература XIX века, литература XX века (поэзия и проза) и общие исследования.

Х. Маклин взял темой своей статьи «тон» «Евгения Онегина», который, по его мнению, отличается смесью насмешливости и лиризма. Такой тон позволил автору отразить самое жизнь и свое отношение к ней. Этот тон подходил не только для «романа в стихах», но отразил и характер самого Пушкина. Он иронизирует и над собой и над читателем; это и является выражением «ума холодных наблюдений», тогда как лирические отступления — отражения горячего сердца и его «горестных замет».

Тема статьи Л. Педротти «Архитектура любви в гоголевском Риме». Взяв как эпиграф строчку из статьи Гоголя «Об архитектуре нашего времени» — «я люблю купол», автор считает, что Гоголь сублимировал любовь к женщине любовью к архитектуре, особенно к... форме купола. Автор с одобрением цитирует Сенковского, писавшего о «мастомании» — обожании женской груди — у Гоголя, и кончает свою статью замечанием, что конец «Рима» заканчивает и решает тему повести — прекрасный вид на Рим заставляет князя забыть красоту Аннунациаты. Он забывает только, что отрывок из будущего романа, напечатанный в 1842 г. в «Москвитянине», — только начало его и недостаточен для суждения о теме Гоголя и о чувствах его героя.

Покойный О. Маслеников написал «О типе смешного отца семейства у Достоевского»; здесь есть ценные наблюдения над этим часто встречающимся типом в произведениях великого писателя. Некоторых героев автор рассматривает как трагические фигуры, но не слишком ли далеко он заходит, говоря о Федоре Павловиче Карамазове, как об одном из самых трагических героев Достоевского?

В разделе поэзии напечатана статья Романа Якобсона «Бараньи строчки в поэме Маяковского 150 миллионов». Эти строчки неизменно вызывали восторг слушателей, когда поэт читал свою поэму, которую он написал летом 1919 г. в Пушкине. В мае Маяковский участвовал в собрании Московского лингвистического кружка, на котором Якобсон прочитал свое вступление к первому тому стихотворений Хлебникова; в нем он сообщил, что в Верейском уезде он слышал рассказ о том, как «барина в бане отбарабанили» и что этот рассказ произвел большое впечатление на Маяковского сочетанием звуков бар-бан. Этот фольклорный элемент и повлиял, по мнению автора статьи, на произведение Маяковского.

К. Тарановский рассматривает стихотворение Мандельштама

«Да, я лежу в земле» и считает, что оно написано на ту же тему, как и «Памятник» Пушкина, и напечатанное теперь является как бы замогильным завещанием Мандельштама. Стихотворение было написано для читателей будущего поколения: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, / Но то, что я скажу, заучит каждый школьник...»

Р. Юз пишет о «духе музыки» в поэзии А. Блока. Он останавливается на «Возмездии». Вагнер вдохновлял Блока в этой поэме (Зигфрид, кующий меч Нотунг, Европа на краю гибели, но может песня-музыка спасет мир...) и в ряде его ранних стихотворений, вплоть до его драмы «Роза и крест». В 1914 г. Блок познакомился с певицей Л. Дельмас (Андреевой) и написал цикл стихов «Кармен» под влиянием оперы Бизе. Переход от Вагнера к Бизе проделал и Ницше. Отражали ли оперы Вагнера и Бизе метафизический дух музыки, к пониманию которого стремился всю жизнь Блок?

С. Карлинский написал интересное исследование о симфонической структуре поэмы А. Белого «Первое свидание». Его автор статьи считает самым музыкально образованным русским поэтом, прекрасно знающим все инструменты оркестра и их звуки, он назвал 4 своих ранних прозаических произведения «симфониями», применяя принципы музыкальной формы к литературным произведениям (первый в мировой литературе, по мнению автора статьи). Как ни многозначна, ни талантлива, и ни неожиданна эта поэма, все же трудно считать ее, как делает С. Карлинский, «одной из двух или трех самых глубоких, сложных и поразительных во всей истории русской поэзии».

А. Шейн сравнил тексты первого издания романа А. М. Ремизова «Пруд» (1902) и второго издания (1911), и показал, как символизм в подходе писателя заменен был неореализмом.

Анализируя зощенковский «сказ», И. Р. Титюник пришел к парадоксальному заключению, что чтение этого сказа вслух и его устная передача невозможны и не передают главного, т.е. пародии на сказ, который, согласно Бахтину, является «разнонаправленным двуголосым словом». Огромная популярность именно зощенковских чтений вслух противоречит такому утверждению, но этот вопрос, как правильно заключает автор, нуждается еще в «теоретическом изучении».

Г. Ермолаев изучает природу в «Тихом Доне» Шолохова и приходит к заключению, что изображение природы ослабило (особенно в первом издании) политическую предвзятость этого произведения.

Катерина Фейер написала о Солженицыне и о литературном наследии Толстого. Будучи специалисткой по творчеству Л. Толстого, она видит многое совпадений и перекличек между двумя писателями.

Очень интересна попытка Дж. Мерсеро дать нормативное определение русского реализма; его главными элементами он считает

невмешательство автора, скрытые от читателя приемы, однородность голоса рассказчика, индивидуализация речи действующих лиц, множество деталей, объяснение отношений между событиями возможностью, а не вероятностью, мотивация всех событий и материала сюжета и, самое главное, психологизм, которому подчинена сама тема. Нужно отметить, что ряд американских литературоведов занимается теперь вопросом о русском реализме.

В. Маркова занимает вопрос об экспрессионизме в России; он пишет об Ипполите Соколове, Земенкове, Сидорове и о вырождении этого движения в 1920 г. в направления «ничевоков» и другие. Вторая фаза экспрессионизма выразилась в «центрифугизме» (С. Спасский, Б. Лапин, Е. Габрилович), предшественнике «обереутов», близких к футуристам. К 1924 г. русский экспрессионизм изжил себя.

Л. Томас рассматривает в своей статье роль молодых польских писателей в сталинизации польской литературы.

Польско-американский литературовед Чеслав Милош затрагивает чрезвычайно актуальный вопрос о современной свободной русской литературе (Пастернак, Солженицын) и о западной литературе и критике. Он приходит к заключению, что «каждый нормальный человек, читающий произведения этих русских писателей в Америке, должен испытывать чувство стыда... из-за того, что западные писатели злоупотребляют свободой творчества и создают «дегуманизированную» литературу, хотя бы под предлогом протеста против «обесчеловеченного» мира». Эти русские писатели создают иерархию подлинных ценностей, и они готовы дорого заплатить за это, тогда как западные творят ради разрушения этих ценностей, а это угрожает миру безумием. Западные поэты далеки от простых людей и им они непонятны, они отделились от простых смертных в угоду моде. Они и заумные критики «с жиру бесятся» (по-русски в оригинале). Пастернак и Солженицын сохраняют честность и достоинство и выражают отчаяние масс ущемленных людей, находя для этого слова сострадания и любви.

Этот выпуск калифорнийского журнала является значительным вкладом в русско-американское литературоведение и знаком уважения к проф. Г. П. Струве.

Н. В. Первушин

Г. М. Солдатов «АРСЕНИЙ МАЦЕЕВИЧ, Митрополит Ростовский 1696-1772». Ст. Пауль, Миннесота, 1971.

В наши дни мы являемся свидетелями не только небывалого порабощения православной Церкви в Советском Союзе, но также исключительной уступчивости высшей церковной власти по отношению к коммунистической власти. Мы, живущие на свободе, имеем право

и обязанность иметь наши суждения о том, что совершается в жизни нашей Церкви. Ведь мы все — голос этой Церкви. В порядке обсуждения, а не осуждения, мы вправе занимать ту или иную позицию по отношению к высказываниям патриарха, к его умолчаниям, к его действиям и воздержаниям от таковых. Объяснение поведения патриарха его личной смиренностью не всегда хорошее оправдание. Если «ноблесс оближ», то патриаршество — тем паче! Есть некие границы лояльности и уступчивости, которые лицу, поставленному Церковью на столь высокое и ответственное служение, переходить нельзя. Иисус Христос, образ любви и прощения, изгнал силой торгующих из храма и гневно обличал вождей израильского народа.

Если такие люди, как священники Эшлиман и Якунин, как христианские мыслители Талантов и Краснов-Левитин, как христианские писатели Синявский и Солженицын, как гражданская борьба Григоренко и Буковский, (упоминаю лишь некоторых) имеют мужество говорить слово правды, то хотелось бы его услышать и от архипастырей. Умолчание правды или высказывание полу-правды — хуже неправды. Полу-правда дезинформирует, вводит в соблазн, замазывает «хиатус» Христовой диалектики: что Божье — Богу, что кесарево — кесарю. Церковь Христова созидалась на земле «мартриями», т.е. мучениками и исповедниками, т.е. теми, кто *свидетельствовал*, вопреки сохранительскому благоразумию, даже ценой жизни, что — Христово, а что — кесарево.

И если патриарх действительно не может говорить правду, то мы должны это делать за него, ибо мы все члены Единой Церкви Христовой. Кстати, говоря о Солженицыне: его великопостное письмо есть голос Церкви. И он звучит, как набат. Тем, кто по присущему им прекраснодушию желал бы приглушить резкость солженицынских слов, лучше было бы этого не делать. Обидно за Солженицина: *чего стоило* ему прокричать на весь мир слово правды! Так зачем же разбавлять напиток его горькой чаши розовой водичкой интеллектуального саддукейства? Зачем вуалировать его трагический крик отчаяния здесь, в эмиграции, когда об этом постараются «там» власть имущие? О, если бы многомиллионным эхом можно было бы усилить этот крик, чтобы свершилось вновь чудо Иерихонское!

В полемике на тему злободневных явлений в нашей Церкви обсуждаются факты сервилизма духовенства и преследования его светской властью в дореволюционный период. По совести говоря, всякое бывало! Однако: *comparaison n'est pas raison!* Если что было плохо когда-то, это не оправдывает того, что плохо теперь. Как пример исповедника и мученика за православную веру, не поддавшегося насилию государственной власти, указывают на Арсения (Макеевича), митрополита Ростовского. Восстановлению правильной ис-

торической перспективы и описанию действительного облика этого энергичного и мужественного митрополита и посвящена монография Г. М. Солдатова.

Арсений Мацеевич (в миру Александр Иванович) родился в 1697 г. в г. Новограде Волынском, в семье униатского священника. Мацеевици происходили из польской шляхты и м.б. это отчасти объясняет особенности характера будущего митрополита Ростовского: независимость взглядов, неспокойность нрава и надменность по отношению к инакомыслящим. Начальное образование он получил в католических школах и лишь впоследствии, молодым человеком, он перешел в православие и окончил Киевскую Духовную академию. Академию он окончил в возрасте двадцати девяти лет, в сане иеромонаха. Затем наступило весьма разнообразное церковное служение молодого Арсения, разнообразное и в смысле послушаний и в смысле географических мест служения. Кроме прямых священнических обязанностей ему давали миссионерско-проповеднические назначения, экзаменаторские задания (обучение и проверка знания ставленников) и увещевательные (по отношению к старообрядцам и еретикам). Образованный и волевой Арсений вскоре проявил не только свои диалектические способности, но и инквизиторское рвение: в качестве московского провинциалинквизитора (были в свое время и такие на Руси!), он стал, прямо или косвенно, причиной смерти престарелого ярославского игумена Трифона, замученного у Арсения на пытке. По его же рекомендации были сожжены перешедший в иудейство капитан-лейтенант Возницын и еврей Борох Лейбов, совершивший обрезание.

Да, нравы были суровые. Еще до основания Петром I инквизиции, которая, к счастью, не получила большого развития в русском государстве, «пытали и жгли архиереев и других церковно-служителей, старообрядцы тысячами бежали на запад и восток, на север и юг» — подальше от преследователей. (стр. 27). «В царствование имп. Анны Иоановны православных епископов ссылали и лишали сана за защиту православия перед лютеранами и кальвинистами, обвиняя их в противлении власти и подозревая заговор против правительства среди духовенства» (стр. 29). Несколько позже, как пишет исследователь этой эпохи М. С. Попов (его книги вышли в России в 1905 г. и 1912 г.) часто «наказания духовенству происходили в светских учреждениях и сопровождались беспощадной жестокостью: 'как злодеев' били шелепами, плетями, кнутами и применяли всевозможные виды истязаний до сажания на кол» (стр. 29).

Во время царствования Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны положение православной Церкви улучшилось и авторитет духовенства повысился. Арсений Мацеевич, будучи образованным духовным лицом, был приближен ко двору и стал играть довольно боль-

шую роль. В частности он добился возвращения из ссылок многочисленных иерархов, между ними и истерзанного пытками архиепископа Феофилакта Лопатинского, известного деятеля истории русской Церкви.

Когда опустела кафедра сибирского митрополита, по желанию имп. Анны Леопольдовны туда был назначен Арсений Мацеевич, хиротония над которым была совершена 15 марта 1741 г. Уже при этом сказалась независимость его характера: к обычному тексту епископской присяги «обещаю... последовать мне во всем и повиноваться всегда Синоду, его правильной власти...» он добавил слова: «от Христа и апостолов происходящей через хиротонию». Впоследствии он единственный из епископов откажется принести присягу государыне Елизавете в том виде, как она была составлена при Анне Иоановне: «исповедаю с клятвою Крайнего Судио быти самую всероссийскую монархиню», мотивируя свой отказ тем, что для духовных лиц не может быть другого Верховного Судьи, кроме Иисуса Христа.

После назначения в Тобольск, м. Арсений сразу же стал в оппозицию к органам светской власти, вмешивающимся в церковные дела. Он запретил своему духовенству обращаться, без ведома и разрешения своего архиерея, в светские учреждения и вообще повел борьбу за независимость духовного сословия, архиерейского суда и церковного управления. О своих столкновениях с губернатором он докладывал в столицу и находил поддержку в Синоде. На него многие стали смотреть, как на защитника правды и многие архиереи, следя его примеру, стали подавать жалобы в Синод на бесчинства светской власти. В результате ли возникших натянутых отношений между Синодом и Сенатом, или по той причине, что первоприсутствующий в Синоде архиерей Амвросий Новгородский благоволил к м. Арсению и желал его иметь при себе в Синоде, последний получил указ покинуть свою кафедру и явиться в Петербург на предстоящую коронацию Елизаветы. Однако м. Арсений уже успел нажить себе врагов и Сенат постановил послать ему выговор за употреблявшиеся им в докладах обидные выражения по адресу Коллегии Экономии.

Митр. Арсению не пришлось возвращаться в Сибирь, так как его назначили на Ростовскую кафедру. Еще до переезда в Ростов он подал императрице Елизавете доклад о необходимости восстановления патриархии, так как отмена ее светской властью была незаконной, с точки зрения божественного права. При этом он угрожал анафемой тому, кто мыслит иначе (сравнив Синод с протестантским учреждением или с иудейским Синедрионом). Он выскакивался за то, чтобы в Синоде светского обер-прокурора заменить духовным лицом. Одновременно он резко критиковал решение ма-

териальных проблем Церкви, нападая на государственную Коллегию Экономии.

В это время существовала реальная возможность восстановить патриаршество при солидарном выступлении всего духовенства. Однако личные неприязни, свары, местничество и зависть между архиереями были причиной тому, что благопрятный момент был упущен.

Смелость м. Арсения доходила до того, что он, заменяя временно первоприсутствующего в Синоде архиепископа, сделал несколько письменных «внушений» Сенату за неисполнение указов о лицах духовного сана.

Заняв Ростовскую кафедру, м. Арсений продолжал борьбу с Сенатом по поводу разных административно-экономических неполадок. Большой авторитет, каким м. Арсений пользовался у императрицы, помогал ему выходить победителем из этой борьбы, по крайней мере — до времени.

Упомянем, о некоторых исключительно отрицательных, явлениях того времени. Духовенство было почти безграмотно, да и таких священников не хватало на многочисленные приходы. Гражданские власти поселяли в монастырях солдат, умалишенных, преступников, бродяг, нищих — и монастыри должны были кормить их. Туда же направлялись беглые старообрядцы: они были обязаны работать днем, а на ночь заковывались в цепи. Старообрядцы обязаны были платить двойной подушный оклад а также налоги за ношение бороды. Беглых вылавливали военные экспедиции, селения их сжигались, а над святынями их совершались надругательства. Официальная Церковь преследовала их, как еретиков, а гражданские власти — как уклоняющихся от работы или платежа налогов. Для того, чтобы проверять официально вернувшихся в лоно Церкви староверов, государство ввело принудительную годичную исповедь с причастием. Для этого составлялись «исповедные» списки, следить за которыми приходилось священникам. Они были обязаны доносить властям об уклоняющихся. Главными вдохновителями этой системы мероприятий были м. Арсений и архиеп. Амвросий, личные советники императрицы по духовным делам. Жестокие преследования за религиозные убеждения довели старообрядцев до отчаяния: начались массовые самосожжания.

Кроме административной работы м. Арсений трудился и в области обличительного богословия, составляя полемические сочинения против разного толка еретиков и протестантов. Но и здесь сказывалась его неумеренная натура: он не выбирал выражения, всячески ругая инакомыслящих, и для вящей убедительности своей аргументации искусно подтасовывал факты и тексты. Непослушание официальной Церкви м. Арсений считал не только делом религиозным, но и преступлением против государства. Но взявшийся за меч, от

меча и гибнет! Тот же метод был применен впоследствии к нему самому.

Во время царствования Петра III притеснения духовенства со стороны гражданских властей усилились. Из веденья монастырей были изъяты многие имения и это снова больно задело м. Арсения, который, по положению Ростовского митрополита, был одним из крупнейших землевладельцев (напр. на основании новоизданного государева указа реквизировался конский завод м. Арсения, в котором насчитывалось около 600 лошадей!).

При восшествии на престол Екатерины II первоприсутствовавшим в Синоде стал архиеп. Димитрий Сеченов. Ему, за участие в перевороте, императрица подарила в личное владение тысячу крепостных с соответствующими угодьями. Сеченов занял то положение при императрице, которое раньше занимал м. Арсений при имп. Елизавете. Будучи благородным человеком, он пытался искать компромисс между государственными притязаниями и привилегиями духовенства. Он не был оппортунистом, так как раньше, в царствование Петра III, находившегося под влиянием протестантских придворных, он воспротивился государеву указу об изъятии всех икон из храмов (за исключением икон Иисуса Христа и Богоматери). По ряду причин отношения между м. Арсением и архиеп. Димитрием, ранее дружественные, теперь испортились. Когда императрица, с ведома и по совету архиеп. Димитрия, издала указ об «учреждении Комиссии о духовных имениях» (1762), м. Арсений не придумал ничего лучшего, как при ближайшем совершении Чина Православия добавить к чинопоследованию анафематствование тех, кто стоит против церквей Божих и их *прав на имения*. В добавок к этому он послал в Синод донесение, в котором обсуждал церковно-хозяйственные мероприятия императрицы, не стесняясь в выражениях и сравнениях. Это переполнило чашу терпения.

По приказу императрицы Синод распорядился арестовать м. Арсения и доставить его в Москву, на суд. Ясно было, что на этот раз враги митрополита решили воспользоваться исключительным случаем, чтобы избавиться от неспокойного и дерзкого оппонента. В «обвинительную строку» вставили все то, что накопилось за долгие годы. Дело в Синоде вел сам архиеп. Димитрий. Единомышленники м. Арсения из архиереев, раньше одобравшие его и подстрекавшие к дальнейшей борьбе, теперь замолкли и приталились. Синод, в составе пяти архиереев, одного архимандрита и оберпрокурора, вынес суровый приговор: лишить м. Арсения архиерейства и монашества и сослать в дальний монастырь под стражу. Императрица, утверждавшая приговор, оставила за ним монашество. Ссылка не оказалась слишком строгой и м. Арсений пользовался некими привилегиями. Так прошло четыре года. Но верный себе м. Арсений не успокоился

и в ссылке. Не затевая какого-либо большого дела, он все-таки говорил много лишнего. Донос пошел в столицу. В результате доноса м. Арсения расстригли и заточили в каземат Ревельской крепости под именем Андрея Враля, крестьянина. Но это было еще не все. В 1771 г. его судили снова, и посадили на еще более строгий режим: его камеру заложили кирпичами, оставив только небольшое отверстие для подаяния. Помещение перестали отапливать. Узник умер через год, в 1772 г.

Трагические условия, в которых провел остаток своей жизни м. Арсений, окружили его личность ореолом мученичества. Это способствовало тому, что на Всероссийском Соборе Русской Церкви в 1917-1918 гг. м. Арсений был восстановлен в его святительском сане в качестве пострадавшего за православную веру.

Автор монографии, в заключение, пишет: «За таким искусственным сиянием, окружающим Арсения, исчезает действительный образ его. Истории Арсений известен не только как борец за православие и церковные имения, но и как беспощадный гонитель старообрядцев, как возмутитель общественного порядка, как бывший инквизитор и как беспринципный, но ловкий подтасовщик фактов в борьбе с противниками».

Интересная книга Г. М. Солдатова дает много фактического материала из истории русской православной Церкви в период с момента отмены патриаршества Петром I в 1721 г. по год смерти Арсения Мацеевича, митрополита Ростовского (1772). В приложении к книге даны: предисловие Е. Магеровского, текст письма и донесения м. Арсения, его портрет и обширный библиографический указатель.

Игумен Геннадий

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ. I-V. Издание Скорпиона. Славянские пропилеи. под ред. Д. И. Чижевского. В. Финк, Мюнхен. 1972.

Эпоха символизма — еще недавнее прошлое. Но книги символовистов давно уже стали библиографической редкостью. В СССР так и не издали полного собрания сочинений Блока, а также и Брюсова. В серии Большая библиотека поэта вышли только избранные стихи Анненского, Бальмонта. На Западе были перепечатаны многие книги Гиппиус, Белого. В Брюсселе недавно опубликован 1-ый том стихов и статей Вячеслава Иванова. Но нет Сологуба и многих других. Писания больших символистов, не говоря уже о малых, нужно разыскивать в старых журналах, а иногда и в газетах. Поэтому, нас радует этот увесистый том-кирпич: переизданные *Северные Цветы* — не Дельвига, а Брюсова и его друзей. Атмосферу и всю подоплеку их издательства Скорпион — пусть субъективно-пристрастно, но и

живо, талантливо воссоздал-описал Андрей Белый в своих Воспоминаниях, недавно перепечатанных. (т.т. II и III).

Брюсов стремился установить в России тот культурный уровень, который после Пушкина и Гоголя так понизился в эпоху интеллигентских властителей дум (от Белинского до Михайловского) и великих одиночествующих пророков — Достоевского, Толстого, но и Аполлона Григорьева, Константина Леонтьева или Николая Федорова. Брюсов несомненно многое сделал, и не он один. Символисты открывали для России перспективы мировой культуры.

Кое-что в С. Ц. устарело и заинтересует только специалистов литературоведов. По общему впечатлению, в брюсовском журнале *Весы* больше ценных материалов. Всего вышло пять альманахов С. Ц. (1901-05 г.г. и в 1911 г.). В сборниках помещены многие прекрасные и хорошо известные стихи Сологуба, Гиппиус, Блока. Немало и слабых стихов, и не только малоизвестных поэтов, но и московских метров символизма, самого Брюсова и Бальмонта да и других «звезд». Так, поражает обилие «общих мест» в брюсовской «Италии» и в бальмонтовском «Веласкесе». Хорошо представлены малые поэты: Юргис Балтрушайтис, рано умершие талантливые Иван Коневской и Виктор Гофман, полулегендарный Александр Добролюбов, племянник Вл. Соловьева Сергей Соловьев и др. Рассказы часто слабые. Но выделим настоящий «шедевр» Сологуба «В плenу» (об играх подростков), забавную историческую миниатюру незаслуженно забытого Бориса Садовского «Под Павловым щитом» и прелестную одноактную комедию Кузмина «Голландка Лиза» (о Петре в Голландии). Включены трагедии Брюсова «Земля» и Вячеслава Иванова «Тантал». Интересны статья Бальмонта «Чувство личности в поэзии» (с примерами из английской и испанской литературы) и, в особенности, очерк М. Волошина «Аполлон и мышь» (новые убедительные аргументы в тогдашних спорах об Аполлоне и Дионисе). Все эти и другие удачи как-то меркнут перед потрясающей «Тревожной ночью» Розанова (вкл. в его «Темный лик»): это мрачное видение последней на земле православной литургии. Есть в этом очерке ужас, боль... Это не только слова, хотя бы остроумные и культурные слова! Значительны и другие заметки Розанова в С. Ц.

Литературной партийности в альманахе нет. Приглашены были гости и из мира «по ту сторону символизма»: Чехов, давший хороший рассказ «Ночью», и Бунин, представленный плохим рассказом «Поздней ночью». В сборниках немало ценных литературных материалов: письма Тютчева, Фета, Вл. Соловьева и др. Очень интересны отрывки из мемуаров адвоката кн. А. И. Урусова: их следовало бы перепечатать, если только они сохранились. Отмечу заметку об источниках нигилизма (1882 г.). Подпись «Деревенский житель» (псевдоним Фета). В либеральной прессе эту заметку не поместили бы... Но

всех материалов в этом коротком отзыве перечислить, конечно, нельзя.

Ю. Иваск

Миртала Кардиналовская. Стихи. Мадрид 1972.

В последнее время много пишут и говорят о связях между различными видами искусства. Выдающийся лингвист проф. Р. О. Якобсон касается связи между поэзией и скульптурой в кратком вступлении к небольшой книжке стихов Миртала Кардиналовской — талантливого скульптора Миртала Бентовой. Он пишет, что несмотря на то, что поэзия — антипод скульптуры «многообразная связь незыблемости изваяния с тематикой движения издавна приковывает внимание русских художников слова». В отчетной книге воспроизведена только одна скульптура Бентовой: «К свету».

Что привлекает внимание литературоведа к книжке Кардиналовской это обилие персонификаций с одной стороны и наличие интересных «реализаций» метафоры — с другой. Персонификация явно преобладает над другими тропами и фигурами в стихах. Как-будто автору их не только хотелось облечь всё — включая абстракции — в «тело слова» (выражение польского поэта Юлиана Тувима), но и вдохнуть в это тело жизнь. Характерно также, что поэтесса «одевает» «голую мысль» словом, «обнимает» ее «рифмой» (стр. 10). Под ее творческим прикосновением всё оживает: мысль, совесть, бессонница, день и ночь, земля и небо, звезда и пучина, ручей и ветер, солнце и волна, даже асфальт и жалюзи... Поэтесса втягивает их в диалог или по крайней мере драматизирует свои изображения при помощи обращений: — «Скажи, моя земля, / кто я?/ Кольшутся цветы: / ты в нас... в нас ты...» Поэтесса живет в гармоническом, а не в обособленном мире, в мире, где всё связано и осмыслено, где ей часто видны и понятны незримые для других следы красоты и радости, которыми она готова поделиться («Если хотите со мной пойти...»).

«Реализации» метафор не так многочисленны как персонификации, но не менее существенны для характеристики стиля автора. Образы у М. Кардиналовской динамичны и пластичны, но динамизм и пластичность ее стихов сочетаются с музыкальностью, с гармоническим и своеобразным звуковым строем стихов. Поэтесса предпочитает традиционные размеры дольникам, варьируя их ритмический рисунок. Ей удаются 3-хстопные ямбы и даже такие редкие размеры как одностопный хорей или анапест с вариациями. «Эхо», написанное одностопным хореем создает и звукоподражательный эффект. После символистов (в частности Бальмонта) тут особенно трудно чем-нибудь поразить, но ритмы у М. Кардиналовской свои, а не

взятые напрокат, у нее свой, женский, но достаточно выразительный голос. Хотя какой-то отзвук знаменитых бальмонтовских «Камышей» есть, мне кажется, в стихотворении «Тихим шопотом шурша / ветер дышит в камышах», а «Необычайное приключение» Маяковского, должно быть, отразилось в обращении М. Кардиналовской к солнцу: «Солнце, спустись поближе / войди и будь мой гость!»

Но в целом у поэтессы свои художественные подходы и решения, свой свежий взгляд художника, немного напоминающий взгляд того мальчика (как известно, Матисс мечтал о взгляде пятилетнего ребенка!), который объяснял ей картинку в книжке:

смеются забора зубы
и маков красные губы.
шагают в белых рубашках
круглолицые ромашки,
а кругом, как шерсть у льва,
высоченная трава,
и к дому ведет дорожка
(она неровная немножко).

Интересно было бы установить в каком медиуме легче творить художнице: в глине, мраморе или слове? Как бы то ни было и в одном, и в другом материале она не только выражает себя, но передает зрителю и читателю свой взгляд, свое подлинное одушевление и живое участие в жизни. И за это ее хочется поблагодарить.

Зоя Юрьева

Alexandra Lyngstad and Sverre Lyngstad. Ivan Goncharov. Twayne Publishers, Inc. New York, 1971. Pp. 184.

В ряду «классиков русского реализма» Гончарову не повезло. Имя его упоминается с именами Тургенева, Толстого и Достоевского, как одного из великих мастеров так называемого «реализма», но полного собрания его сочинений не существует. Нечего и говорить о его письмах: они разбросаны по разным периодическим изданиям, печатались с сокращениями, (в зависимости от вкуса или «направления» редакторов). Многие его письма, повидимому, еще лежат неиспользованными в архивах. Конечно, известно, что сам Гончаров «запретил» печатанье своих писем и поэтому многие из них были уничтожены его корреспондентами, но многие все-же уцелели, и казалось бы давно пора собрать воедино эти блестящие шедевры ума и стиля и захватывающие документы о страданиях так легко уязвимой человеческой души.

Не лучше чем с письмами обстоит дело и с литературой о Гончарове. Е. Ляцкий так и не закончил своего подробного, но, правду

сказать, довольно сумбурного труда (Роман и жизнь. Развитие творческой личности И. А. Гончарова. Жизнь и быт. 1812-1857. Прага, 1925). Книга А. Цейтлина (И. А. Гончаров. Москва, 1950) содержит не мало нового и интересного материала, но его точка зрения по-советски предвзята и слишком много места уделяется мнениям «великих критиков-демократов» и их второстепенных приспешников. Остается на русском языке хороший разбор его романов в книге Н. Пруцкова (Мастерство Гончарова-романиста. Москва-Ленинград, 1962) и книга О. Чемены (Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. Москва, 1966). Но, как видно из заглавий, задачи обоих исследований ограничены. Существует масса журнальных статей о Гончарове, как легко убедиться просматривая библиографию А. Алексеева (Библиография И. А. Гончарова. Гончаров в печати. Печать о Гончарове. 1832-1964. Ленинград, 1968), но, за немногими исключениями, это повторения всё тех-же общеизвестных истин или шаблонов.

Заграницей о Гончарове написано гораздо меньше чем о каком либо другом из его великих современников, но зато две работы о нем никогда не потеряют своего значения. Это книга А. Мазона (André Mazon, *Un maître du roman russe: Ivan Goncharov*. Paris, 1914) и эссе Вальтера Рэма (Walther Rehm, *Gontscharow und die Langeweile*, в его книге *Gontscharow und Jacobsen oder Langeweile und Schwermut*, Göttingen, 1968).

Эти работы открыли совершенно новые перспективы для интерпретации гончаровских романов. Что касается английского языка, то, как это ни поразительно, «Обрыв» полностью вообще еще не был переведен: существует лишь совершенно дикая «адаптация» 1915-го года, которая в счет не идет. О самом писателе не было, за исключением немногочисленных статей, написано ничего кроме тоненькой книжки Янко Лаврина (Janko Lavrin, *Goncharov*, New Haven, 1954).

Тем более надо приветствовать тот факт, что наконец вышла вторая английская книга о Гончарове. Правда, это опять не биография, а лишь критические этюды о ранних произведениях Гончарова и его трёх романах; нет речи ни о его замечательных очерках, ни о «Фрегате Паллада», но так как этюды эти в общем содержательны и так как нет сомнения, что авторы хорошо знают произведения Гончарова и осведомлены в литературе о нем, то с их книгой нужно считаться, соглашаешься ли с их выводами и оценками или нет.

Биография представлена только погодной канвой фактов на трёх страницах и общим обзором в первой главе; здесь авторы особенно подчеркивают противоречие между внешним спокойствием и «благообразием» Гончарова и его внутренним «неврозом»; раз-

бросанные биографические замечания встречаются и в последующих главах.

Вторая глава посвящена разбору первых литературных опытов писателя «Лихая болесть», «Счастливая ошибка» и «Иван Савич Поджабрин». Разбор этот нельзя не признать очень удачным. Эти умные и живые, но малоизвестные очерки или рассказы Гончарова (их жанр трудно уточнить) заслуживают уделенного им здесь внимания. Не вполне понятно, почему авторы так скептически относятся к авторству рассказа Гончарова «Нимфодора Ивановна». Без всяких оснований они соглашаются с мнением не названных «многих специалистов по Гончарову», о котором им сообщено ИРЛИ, признающих авторство Гончарова «весьма сомнительным». Тем не менее доводы С. Демиховской (Русская литература, 1960, № 1, стр. 139-144) в пользу авторства остаются очень убедительными, а сам рассказ, напечатанный в приложении к «Известиям» (1968, № 1-3), не допускает почти никаких сомнений. Во всяком случае следовало, хотя бы кратко, передать его занятное содержание, повидимому навеянное Е. Сю, которым Гончаров в это время увлекался, и охарактеризовать его очень гончаровский стиль.

Глава об «Обыкновенной истории» распадается на введение и девять отделов; введение дает вкратце содержание романа; отделы рассматривают его на фоне современных литературных течений: отмирающего романтизма и поднимающегося позитивизма, говорится об ироническом подходе Гончарова к своим персонажам и к их верованьям, о несостоительности романтизма и рационализма, о роли женщины, как примиряющего начала в идеологических распрях мужчин, о приемах для характеристики действующих лиц, о продуманном композиционном плане романа, об употреблении повторяющихся мотивов и о литературных влияниях, которым подвергался Гончаров.

Таким образом почти все возможные аспекты исчерпаны и, если даже не всегда соглашаешься с деталями интерпретации, — общий подход удовлетворителен. Только тенденция авторов поправлять Гончарова и предписывать ему, что бы он должен был сделать, без достаточного на то основания, нередко раздражает читателя.

Следующая глава занимается «Обломовым». Опять введение с кратким пересказом содержания и восемь отделов: Обломов и Захар, почему то названные «A Picaresque Duo», «Сон Обломова», соотношение развития действия и структуры романа, Обломов и обломовщина, Штолыц и «штолыцовщина», комико-эпический подход Гончарова, образы романа, в которых авторы иногда наблюдают «архетипы», и «вдохновление» Гончарова, т.е. влияние конкретных фактов его биографии на роман. Причин для несогласия с авторами в этой главе не мало. Пора, кажется, отказаться от догмы, по которой «Обломов» «исследование разложения искалеченной жизни».

Странно, что авторам осталась неизвестной статья Н. Нарокова «Оправдание Обломова» («Новый журнал», 1960, № 59, стр. 95-108), где они могли бы найти гораздо более вдумчивое истолкование смысла романа и характера его героя.

С начала до конца я также не могу согласиться с интерпретацией «штольцизма» и в связи с этим с интерпретацией поведения Ольги после замужества. Поразительно, насколько, с легкой руки Добролюбова, раз засевшая идея держится в литературной критике, несмотря на то что текст романа противоречит ей на каждом шагу. Проблемы метафизики и этики снижаются на довольно таки дешевый психологический (здесь даже фрейдианский) или социальный уровень, вопреки всей очевидности. В моей статье «Andrey Stolc in Goncharov's *Obломов*, an attempted reinterpretation», (To Honor Roman Jakobson, The Hague — Paris, 1967, III, pp. 1799-1805) я пытался дать интерпретацию, которая, мне кажется, основана на высказываниях самого Гончарова. Но эта статья так-же, повидимому, осталась неизвестной авторам.

Называть философию Штольца «позитивной», по-моему, совершенно немыслимо. Восьмая глава четвертой части, — философский разговор Ольги со Штольцем, — приводит к самым негативным результатам: разрешение последних вопросов жизни невозможно; надо жить и работать, потому что другого выхода нет; надо одурманивать себя работой, стараться не думать, иначе не спасешься от скучи, от сознания бессмысленности существования. Что же в этой философии «позитивного»? К тому же утверждение авторов, что Ольга не любит Штольца, что вместо страсти она испытывает «судороги», причем еще страдает «эротической неудовлетворенностью» — всё это домыслы, ничего общего с замыслом романа не имеющие.

Странно, также, что авторы, повидимому, все еще верят в теорию П. Сакулина, согласно которой на образ Ольги влияла влюбленность Гончарова в Елизавету Толстую (см. «Голос минувшего», 1913, 11, стр. 45-65). Казалось бы ее опровержение О. Чеменой в вышеназванной книге можно считать окончательным.

Глава об «Обрыве» начинается пересказом содержания — слишком кратким, поверхностным и по тону снисходительным. За ним следуют пять отдельов: генезис романа, его главные темы, соотношение между темами и характерами персонажей, образы и символы и, наконец, оценка романа. К сожалению, эту главу надо признать совершенно неудачной. Авторы не смогли освободиться от влияния мнения «либеральной критики», в свое время травившей Гончарова. Это обстоятельство особенно грустно, так как чувствуется, что они могли бы верно понять и оценить достижения Гончарова, но, почему-то, считают своим долгом, говорить противоположное очевидности и ставить негативные акценты там, где с точки зрения их же соб-

ственного литературного подхода, должны бы стоять позитивные. Опять требуется от Гончарова «последовательность» в характерах лиц, которых он явно хочет представить непоследовательными; интересный и для своего времени новый прием Гончарова смотреть на героиню глазами героя, а не глазами автора, ставится ему в упрёк, так как это разрешается лишь в 20-м, а не в 19-м веке: интерпретация характера Веры авторами поэтому неубедительна с начала до конца; говорится об апофеозе Райского, которого нигде нет и которого Гончаров и не хотел; главная тема романа — скука жизни и возможность её преодоления, хотя бы временно, при помощи искусства, еле затрагивается, несмотря на замечательную книгу Рэма (см. выше), которую авторы упоминают, но с которой не считаются. Почти все упрёки Гончарову и почти все суждения авторов в этой главе голословны: почему, например, Марфенька «теряет свой шарм», жалуясь бабушке на объяснение в любви Викентьева? Утверждение, что язык Гончарова звучит иногда как ода Ломоносова в прозе, доказывает только, что авторы не знакомы с одами Ломоносова, а называть Гончарова «посредственным мыслителем» и «довольно узким моралистом», как раз на почве этого романа представляется мне совершенно неверным. Удивительно, что хорошо написанные главы о раннем Гончарове упираются в нагромождение несуразностей при интерпретации его зрелого периода.

Последняя глава «Искусство Гончарова», как и можно было ожидать при столь непонятной двойственности, расплывчата и неубедительна. Отдельные удачные замечания стоят рядом с очень спорными заявлениями. Почему, например, юмор и поэзия не могут служить нравственному совершенствованию человека? Так ли это бесспорно? А если могут, как думал Гончаров? Слишком часто, особенно в связи с поздним Гончаровым, появляются литературные параллели без всякой видимой надобности. При чем, например, Бодлэр в интерпретации характера Обломова? И слишком часто возникают непонятные противоречия: поэтический символизм «Обломова» считается положительным фактором, а тот же поэтический символизм «Обрыва» — отрицательным.

Остаётся только пожалеть, что стремление к «оригинальности» с одной стороны и неспособность освободиться от шаблонов с другой, завела авторов в дебри как раз там, где творчество Гончарова требовало бы особенно чуткой и близкой к его тексту интерпретации.

В. Сечкарев

В. Я. Брюсов. Огненный Ангел. Перепечатка с исправл. 2-го издания 1909 года, Москва. Изд-во Вильгельма Финка, Мюнхен. 1971.

Более полувека прошло с конца Серебряного Века — и, вот, забываются связанные с этим литературным расцветом имена. Правда, за эти полвека были мятеж, мор, глад и нашествие иноплеменников. Многое, изданное полвека назад, стало библиографической редкостью и у нас, на Западе, да и там, на Востоке — по причинам известным.

И посему надо приветствовать начинание издательства Вильгельма Финка, Мюнхен, по переизданию русских авторов начала 20 века в серии «Славянских Пропилей», выпускаемой Д. И. Чижевским и его сотрудниками. «Огненный Ангел» Валерия Брюсова — воспроизведен фотографическим путем со второго исправленного автором издания 1909 года. Редкость оригинала отмечена издательством в примечании о произведении репродукции не с оригинала, а с единственной имеющейся в распоряжении издательства репродукции же.

Это издание снабжено введением Бригитты Фликингер на немецком языке. Валерий Брюсов дополнил второе издание «Огненного Ангела» ссылками и примечаниями, (также воспроизведенными), что делает книгу особенно интересной в смысле её историчности. Бригитта Фликингер отдает должное эрудиции автора — и исторической, и географически-топографической в отношении воспроизведения и передачи ландшафта и подробностей в описании зданий и городов Германии времён Реформации.

Действие романа происходит во время Реформации в Германии, точнее, с августа 1534-го по осень 1535-го года. Брюсов придал роману вид старинной хроники, называя себя в кратком предисловии лишь её издателем. Сообразно с этим и заглавие на титульном листе стилизовано по-старинному в виде треугольника вершиной вниз; начинается оно крупным шрифтом, постепенно уменьшающимся книзу: «Огненный Ангел или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в виде светлого духа одной девушке и соблазнявшем её на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетией и некроманией, о суде над одной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Тирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппой из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем».

Этим очевидцем является некий рыцарь Рупрехт, по существу не рыцарь, а ландскнехт из бургеворов, побывавший в войнах и в Италии, и в «Новой Испании» у Кортеса, но получивший довольно широкое гуманистическое образование в своей беспутной студенческой молодости. Он встречает в Германии, на пути из Америки в родные места, некую девицу Ренату, одержимую, толкающую Рупрех-

та, в общем доброго католика, на путь магии. Если Рената одержима видением огненного ангела, то Рупрехт становится одержимым Ренатой и бросает для неё всё. Но для Ренаты и Рупрехт, и её раннее увлечение — граф Генрих — только эпизоды: ей нужно греховное соединение с ангелом Мадиелем. Рената бежит в монастырь, но там её присутствие дает начало повальной одержимости монахинь, и Рената погибает в застенке инквизиции, а Рупрехт оставляет нам свою хронику.

«Огненный Ангел» одновременно и исторический роман, передающий умственный климат эпохи Реформации, и роман оккультный, фантастический, дающий картину одержимости потусторонним. Брюсов мастерски передает историческую сторону, обходя события издалека — о них только слышно в романе. Самых деятелей Реформации мы не встречаем — но мы видим, как умы современников становятся готовы к перемене: схоластика уступает место критическому подходу гуманизма.

В оккультной, фантастической стороне этот роман перекликается с такими произведениями, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Упырь» А. Толстого и, конечно, «Голем» и «Ангел Западного Окна» Густава Мейринга. Владимир Соловьев в своем отзыве об «Упыре» охарактеризовал фантастичность литературного произведения как художественный приём предоставления читателю двух объяснений события: реального и фантастического, причём читатель ставится автором в положение, в котором психологически отдается предпочтение объяснению фантастическому. Роман «Мастер и Маргарита» вполне фантастичен — в нем фантастичность просто утверждается, как главная реальность. В романах Мейринга стирается грань между реальным и фантастическим. Брюсов на всём протяжении романа хочет уверить читателя, что вся описанная магия заклинаний, явлений и одержимости — это только психическое расстройство его героев или остатки средневековых суеверий. Читатель не может не соглашаться с автором, но... но остается какой-то «неделимый остаток». Здесь интересны слова автора трактата о магии Агриппы Неттесгеймского, отвечающего Рупрехту на вопрос о действительности «оперативной магии»: Агриппа называет магию «наукой, рассматривающей и изучающей связь всех вещей», «требующей сильной воли, ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля...» Эти определения взяты Брюсовым из подлинных трактатов Агриппы.

Бригитта Фликингер отмечает в своем введении интерес к оккультизму и занятия им Брюсова в период создания «Огненного Ангела». В переписке Андрея Белого и Блока, изданной Академией Наук СССР, есть письма, отражающие «страх» Белого перед «магическими влияниями» на него Брюсова. Во всяком случае, Брюсов

проделал большую работу над источниками и проявил чрезвычайную зрудацию.

Валерий Брюсов широко известен как поэт. Может быть, его былое значение, как поэта и не выдерживает теперь испытания временем. Но проза его «Огненного Ангела» имеет еще одну сторону, кроме исторической и психологической: она художественна и не должна быть забыта.

Борис Нарциссов

М. КАРАТЕЕВ. *По следам конквистадоров. История группы русских колонистов в тропических лесах Парагвая. Буэнос Айрес, 1972 (248 стр.).*

Хорошо было Робинзону Крузо: виз у него никто не спрашивал, эмигрантом его никто не считал, а его хижина и пещера были верхом комфорта — по сравнению с жилищами, в которых оказалась по приезде на место группа русских офицеров-эмигрантов, переселившихся с семьями из Люксембурга в Парагвай в начале тридцатых годов. Вот их первое новоселье — первая ночь на чакре «Собачья Радость» под первым кровом: навесом из пальмовых листвьев над плетнем с двух сторон — что обозначало «дом». Чакра — разделанный участок земли с жилищем.

«Наверху... озабоченно сновали крысы. Иногда... они вступали в драку... В скором времени вся чакра была разбужена диким воем... — Что тут происходит?, — крикнул я, вытаскивая наган. — Тетю Женю лопает пума, — высказали предположение из потёмок. Однако, произошла вещь более простая: на задремавшую тетю Женю обрушился целый клубок подравшихся крыс».

Отчетная книга М. Каратеева представляет собой восстановленные и сокращенные очерки поселения этой группы, появлявшиеся в русской прессе того времени. Это — эпопея бесправных эмигрантов, попавших из огня да в полымя, отчасти благодаря своей неприспособленности к каторжному физическому труду в тропических условиях, отчасти из-за неумелости и упрямства её «командования». Вместо вполне рентабельного в тех условиях скотоводства группа занялась земледелием и очень скоро, прожив последние деньги, разбрелась по соседним городам. Было много тяжелого, много нового и непривычного, но... «русский человек всё вынесет...»

Книга написана живым и увлекательным языком и представляет собой ценный «человеческий документ» в истории русского рассеяния. Два стихотворения, приложенные в конце книги, делают М. Каратеева первым русским поэтом, писавшим о Парагвае.

Борис Нарциссов

В. П. ЗАГОРОВСКИЙ. БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА. Изд-во Воронежского университета. Воронеж 1969.

Первый набег крымских татар на Русь произошел во время войны с Польшей в 1507 году при хане Менгли-Гирее. Татарам удалось захватить большой полон, но царские воеводы перехватили их, нанесли поражение и отобрали награбленное.

Этим годом начинается борьба с Диким Полем, с югом. И с тех пор из года в год на Оку, на «украину от крымские украины» «береженья для» выдвигалась дворянская конница численностью до 65 тысяч и стояла там с весны до глубокой осени. Постепенно была разработана сложная сеть сторожевой и станичной службы для своевременного предупреждения о приближении врага. К югу от Оки на уровне Тулы выросли оборонительные линии или, как их называли, черты из поваленных деревьев и земляных валов с крепостями на них. Позже на самом Диком Поле построили несколько городов-крепостей. Но ничто не помогало.

Почти каждый год на южные украины приходили крымские ханы или царевичи, иногда с турецкими янычарами. Не всегда набеги были успешны. Но Руси приходилось платить страшную дань за соседство с Диким Полем. В 1521 году хан Магомет-Гирей дошел до Москвы и увел, по народной молве, до 800.000 полонянников. Эта цифра, несомненно, значительно преувеличена, но сколько людей погибло, кроме уведенных полонянников, сведений нет. Набег хана Девлет-Гирея в 1571 году стоил Руси 800.000 убитыми и 150 тысяч уведенными в неволю. Москва была сожжена, сохранился только Кремль.

В 1591 году хан Казы-Гирей подступил к Москве, «а с ним по смете людей с полтораста тысяч и болши». После дневного боя русские ночью напали на лагерь хана у села Коломенского, разбили татар и они бежали. Царские воеводы преследовали их. В Крым вернулась едва треть войска. В память об избавлении от грозной опасности ежегодно в Москве совершался торжественный крестный ход из Успенского собора в Донской монастырь.

Но в следующем году крымчаки опять произвели опустошительный набег на украины рязанскую, каширскую и тульскую. Русские, не ожидавшие, что татары смогут так быстро оправиться, были захвачены врасплох.

«В продолжение XVI века, — пишет В. Ключевский, — из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали

люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах.

Но татарские набеги продолжались и всю первую половину XVII века. Воспользовавшись русско-польской войной, татары в 1633 году опять подходили совсем близко к Москве и увезли огромный полон. Были опустошительные набеги и позже. Захваченные ими полоняники и убитые при набегах исчисляются в сотнях тысяч. А когда в 1654 году началась война с Польшей из-за присоединения Украины и русские войска ушли далеко на запад и увязли там, татарские набеги вдруг прекратились, хотя дворянская конница «на берег от поля» выходить перестала. Она тоже ушла на запад.

Почему прекратились набеги, русская история ответа не дает. Так же как не дает ответа и на вопрос, почему Москва так долго медлила, «волочила» с принятием в подданство Малороссии и гетмана Хмельницкого? И почему согласилась именно в 1653 году, в самое, казалось бы, и для себя, и для гетмана неблагоприятное время. Приволочка, не находящая объяснения у наших историков и вызывающая у них досадливое удивление.

Русские историки мало внимания обратили на борьбу с Диким Полем, с югом. О взятии Казани и плене Астрахани, о дальнейшем продвижении на восток к берегам Тихого океана мы осведомлены хорошо. Еще лучше — о войнах на западе и северо-западе с Польшей, Литвой и Швецией. Но о том, как наши предки прошли более чем тысячеверстный путь из-под стен Москвы до Бахчисарая, нам мало что известно. А прохождение этого пути заняло почти три столетия и каждый шаг его усеян русскими костями, орошен русской кровью. Мы не отдаем себе отчета в том, какой смертельной опасностью висело над Русью Крымское ханство и сколько русских жизней и сил затрачено на победу над ним. На этом фронте было много горьких поражений и ни одной громкой победы.

В 1969 году в изд-ве Воронежского университета вышла книга Владимира Павловича Загоровского «Белгородская черта». В ней автор рассказывает о том относительно коротком периоде, когда было осуществлено предприятие, вызвавшее на южных границах резкий и благодетельный перелом, в результате которого уничтожение Крымского ханства стало вопросом только времени.

Первый опыт этой борьбы был проделан на самой восточной татарской дороге — Ногайской. В 1635 году возле нее на реке Лесной Воронеж был построен город Козлов. Одновременно шла разведка местности. В 1636 году между реками Польный Воронеж и Челновая насыпали земляной вал почти 29 километров длиной. Высота вала достигала 2,5 метров. Рядом с валом, «с татарской стороны», шел глубокий ров, а за ним линия надолб — заграждений

из соединенных между собой бревен высотой до трех метров. В конце вала «срубили» два города — Бельский и Челновой, а на самом валу построили четыре земляных городка и несколько десятков башен.

Опыт себя оправдал. Набеги татар разбивались о вновь построенные укрепления. Был составлен план дальнейших работ. И на юге встала сплошная укрепленная линия, бравшая начало у реки Челновой, недалеко от Тамбова, и концом упиравшаяся в польскую границу при пересечении ее рекой Ворсклой, около Ахтырки. Позже ее называли Белгородской чертой. Белгородская черта была построена из земли и дерева. Длина ее составляла 800 километров. На ней стояли 25 городов-крепостей и около 200 земляных городков и стоялых острожков. Во всех городах были гарнизоны из детей боярских, казаков, служилых людей по прибору, «поселенных драгун», а позже и черкас — украинцев из Польши. Строительство черты, тогда еще не получившей названия закончилось в 1653 году.

«Попытки татар, — пишет В. Загоровский, — проникнуть в глубь России непосредственно через Белгородскую черту неизменно кончались провалом, несмотря на отвлечение с черты в связи с русско-польской войной значительной части боевых сил».

К 1658 году закончилось организационное оформление черты. Вся власть на ней сосредоточилась в руках Белгородского воеводы, командовавшего новосформированным Белгородским полком, насчитывавшим в разное время от 15 до 20 тысяч. Тогда же был создан Белгородский разряд — военный округ, а черта получила название Белгородской.

Значение Белгородской черты огромно. Она развязала правительству руки на юге и позволила всю мощь страны обратить на запад. Под ее защитой осваиваются новые богатые и плодородные земли и идет прилив новых людей. В западной ее части этот прилив перехлестывает через черту. Заселяется новая область к югу — Слободская Украина. От татарских набегов ее в 1679-80 годах обносят новой чертой с городом Изюмом на острие, направленном против Крымского ханства. Движение на юг продолжается. Возникает Новая Сербия, город Славянск со Славяносербским уездом. Русские спускаются к реке Луганчик, и почти вся та область, которую теперь называют Донбассом, становится русской территорией. Недалек тот день, когда Причерноморье — ничья земля, коридор, по которому дикие орды шли из Азии на штурм Европы, — станет Новороссией.

Белгородская черта подорвала благосостояние Крымского ханства. Она оградила и защитила внутренние области России. У Русского государства, которое до того больше походило на осажденную крепость, теперь появился тыл, где могло начаться налаживание мирной жизни без постоянной боязни набегов, разорения и смерти.

«Выполнение строительных работ такого масштаба в XVII в., в условиях постоянной борьбы с татарами, при непрекращавшихся попытках татарских вторжений, — пишет В. Загоровский, — несомненно, было подвигом русского народа».

Книга В. Загоровского невелика. Всего 304 страницы. Но значение ее трудно переоценить. Автор поднял огромный материал. Работая над первоисточниками, он обнаружил еще не введенные в научный оборот документы, освещдающие непривычным светом нашу историю XVII века. Эти документы, конечно, нуждаются в дальнейшей разработке и критической оценке.

Будем надеяться, что у В. Загоровского найдутся ученики, которые подробно и всесторонне изучат и опишут ту величественную и трагическую эпопею, которая длилась почти три века и имела огромное влияние на жизнь нашего народа и государства.

Ю. Сречинский

Т. С. Элиот. К определению понятия культуры. Заметки. Перев. с англ. Е. Жиглевич. Вступительная статья и примечания Михаила Корякова. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1968 (167).

Об этой книге Т. С. Элиота интересный отзыв дала Н. Я. Мандельштам в своей книге — «Вторая книга» (Изд. ИМКА-пресс, Париж. 1972). С любезного разрешения изд-ва приводим этот отзыв полностью. РЕД.

О культуре, как об объединении, думают сейчас многие, потому что и на западе, и у нас одни и те же тревоги и беспокойства. Я с надеждой и любопытством открыла книжечку Т. С. Элиота «К определению понятия культуры», но тут же поняла, что никакой попытки дать определение он не делает. Больше того — он даже не пробует вникнуть в суть проблемы. Позиция Элиота охранительная — ему хотелось бы сохранить некоторые особенности европейского общества, которые, как ему кажется, способствовали расцвету культуры: классовую структуру, региональное деление и тому подобное... Элиот, более чем осторожно, подходит ко многим вопросам и порой орудует непроверенными сведениями, лишь бы избежать нежелательной полемики. Одно из основных положений Элиота — связь культуры и религии. Он предчувствует возражения студенческой аудитории (статья состоит из ряда лекций, прочитанных Элиотом в Оксфорде), что в России, отказавшейся от религии, культура тем не менее процветает. И студенты, и Элиот приняли на веру нашу пропаганду, так что сомнений относительно веселого расцвета культуры в непонятном восточном мире у них нет. Этой неувязкой объясняется,

вероятно, одно из центральных допущений Элиота. Он предполагает, что Англия может завершить свое отступничество и тогда «преобразует себя» на основе какой-нибудь «низко стоящей или материалистической религии». В этом случае Элиот допускает, что в Англии возникнет культура даже более блестательная, чем современная, потому что «любая религия, пока она существует, строит остов культуры и оберегает человеческие массы от скуки и отчаяния...»

Элиот — христианин, католик, кажется, но он не решился применить последовательно христианских критериев и попробовал сделать зигзаг в сторону так называемой «объективности». В результате он попал в яму, вырытую для тех, кто строит суждения не на основе своей центральной идеи. Прежде всего — совершенно непонятно, что такое «материалистическая религия». Думаю, это результат болтовни о том, что у нас тоже есть религия, только материалистическая. (Можно ли, например, считать какие-либо формы язычества «материалистической религией»?). Второй вопрос — с каких пор у религии есть чисто общественная цель — оберегать людей от скуки и отчаяния? Скука и отчаяние вообще несовместимы в одном предложении. От скуки «массы спасаются» иногда совершенно гнусными вещами. Мы видели, что зрелица, шествия, погромы, убийства, доносы нередко заполняют жизнь обезумевших масс, пока они не очнутся в своем разоренном доме, потеряв вкус к самоуничтожению. Что же касается до отчаяния, то должен ли христианин заниматься самоутешением, если он очутился среди людей, сознательно отказавшихся от добра и всеми силами поощряющих самые чудовищные инстинкты в себе и в своих соотечественниках... Другое дело, что отчаяние христианина качественно отличается от отчаяния атеиста, поскольку он верит в конечную победу добра. Вера, надежда, любовь спасают от черного отчаяния, а не «любая религия», как говорит Элиот. Есть религии, требующие человеческих жертв. Неужели такая религия спасла бы Элиота от отчаяния? И тут мне приходит на ум тяжкое подозрение, что Элиот выделяет себя из массы людей, из человеческих толп. Кто же он? Неужели он причисляет себя к элите? Я знаю, что такое самоощущение несовместимо с христианством.

Остается еще вопрос: откуда Элиот взял, что культура Англии неожиданно распустилась бы пышным цветом в честь таинственной, придуманной Элиотом религии. Свои заметки о культуре Элиот писал после второй мировой войны, когда всем стало ясно, к чему привел отказ двух могущественных стран от христианства. Неужели Элиот так отгораживался от жизни, что не заметил этого...

О Германии Элиот не обмолвился ни одним словом, хотя обе страны, с которыми он связан, Соединенные штаты и Англия, отдали много сил и принесли не мало жертв в борьбе с фашизмом. Умолчав-

ние Элиота невольно настораживает. Что же касается России, то с ней Элиот разделяется чересчур легко. Он считает Россию грубой восточной страной, находившейся к моменту революции на таком низком уровне (о русской литературе он, вероятно, даже не слышал), что ей могло пойти на пользу то, что для запада было бы крайне вредно. Россия, например, «устрилила» высшие классы и только расцвела от этого (откуда он знает? или почему позволяет говорить себе о том, чего не знает?), но сие было возможно только благодаря исключительно низкому развитию. Настоящим европейским странам «устранение» с рук бы не сошло. Неизвестно, что понимает Элиот под словом «устранение» — эмиграцию или террор, но ему следовало бы узнать о принципе насилия, который был положен в основу нашей государственности, прежде чем говорить о России. Страшно думать, что и он, христианин и поэт, допускает пользу преобразований, совершаемых путем насилия и жестокости, путем попрания человеческих прав и всех святынь. Мне ясно, что Элиот, очутившись в студенческой аудитории, с симпатией относившейся к России после победы над фашистской Германией, побоялся своих слушателей и поднес им примирительную теорию о том, что в варварской России можно делать, что угодно, чего в культурной Англии допустить нельзя. Я боюсь, что такая постановка вопроса не говорит в пользу Англии, где большой поэт вынужден так приспосабливаться к студентам старинного университета. Неужели, если бы Элиот удосужился подумать о том, что такое террор, он и тогда бы не решился применить к событиям критерий совести и религии? Я не помню из-за чего жертвует жизнью в одной из драм Элиота почтенный епископ, но после прочитанной мной статьи о культуре я эту драму не возьму в руки. Ведь Элиот разрешил «устранять» всех епископов нашей страны, поскольку чувствует отвращение к дикости.

Для моего уха дико звучит и довод Элиота против уничтожения врагов: врага следует сохранить, потому что обществу полезно трение и столкновение различных сил и мыслей. Разница между позицией Элиота и нашей только в одном: то, что он считает полезным, мы считаем вредным. Критерий Элиота столь же бесчеловечен, как наш, потому что ни польза, ни вред не могут служить основанием для уничтожения или сохранения человеческих жизней. У нас тоже миловали людей, которых считали полезными.

Между прочим Элиот считает, что мы способны различать прогресс от регресса. Практика показывает, что никто еще этого различить не мог, да и сами понятия прогресс и регресс весьма сомнительны. В атомный век ими уже никого не соблазнишь. Прогресс — движение вперед, а регресс — назад. История вовсе не похожа на дорогу, по которой можно двигаться в двух направлениях. Разрушая культуру, мы вовсе не отступаем ни в век просвещения, ни в средне-

вековье. Даже в первобытное общество людям не дано отступить. Исторический путь необратим, как время, и спастись в регресс нам не дано.

У Элиота нередко перевернуты даже наивные причинно-следственные связи. Он говорит, что в обществе необходима нормальная, а не чрезмерная степень «единения», потому что «излишек единства» объясняется варварством и может привести к тирании. Опыт показывает, что «единство», о котором говорит Элиот, явно намекая на Россию, порождается тиранией и приводит к варварству. Избегая говорить о побежденной Германии, Элиот подводит сам себя. Ведь «излишек единства» в этой стране оказался мнимым и связь его с тиранией (причинная) и с варварством (следственная) обнажилась после падения фашизма с полной наглядностью. Презрение к одной стране и непонятное умолчание о другой сыграли с Элиотом плохую шутку. Можно ли говорить о современном обществе, игнорируя трагический опыт двадцатого века?

Элиот неоднократно напоминает о том, что культура явление органическое и создана искусственно быть не может, поэтому мне хочется отнести за счет переводчика (книга, к сожалению, попалась мне в русском переводе): «нужно выращивать современной культуры из старых корней...» Слово «органическое» означает «возникшее непроизвольно в ходе исторического процесса». В связи с этим невольно смущаешься рекомендацией «выращивать» из корней — да еще в сочетании с модальным глаголом «нужно». Читатель, знакомый с Леонтьевым и Данилевским, знает, что они любили уподоблять национальные культуры деревьям с различными корнями, стволами и листвой. Кто же соблазнился сравнением из растительного царства — переводчик или автор? Возможно, что переводчик здесь не при чем, а Элиот, изучавший науку, называющуюся «социальной биологией», расширил ее пределы и уподобил общество растениям, которые дают побеги от старых корней и выращиваются в садах и огородах.

От заметок Элиота все же пахнуло Леонтьевым с его жаждой красочного разнообразия в унылом мире, потерявшем яркость. Разве не уютнее там, где есть господа, парки, красивая жизнь, хорошие повара, скачки, а также пишущая машинка, к которой тянутся руки поэта... Леонтьев, житель варварской страны, конечно, перебрал, чего осторожный Элиот не сделал, но сущность остается та же. В наш век все стало настолько серьезно, что каждое безоценочное суждение режет, как ножом по стеклу. Культуропоклонство никого не спасло и не спасет. Если не найти твердые критерии, нельзя ничего судить.

История не повторяется. Суждения по аналогии всегда приводят к ложным выводам, а особенно в тех случаях, когда для аналогиче-

ского суждения привлекают искаженные факты. Между тем драма истории, если бы мы применили к ее рассмотрению высшие критерии, могла бы нам многое открыть. Здесь уместно вспомнить слова Бердяева, как он, будучи марксистом, задумался о судьбе еврейства и понял, что никакой марксизм и никакая материалистическая теория к истории этого народа приложена быть не может. Тем более были бы обречены на неудачу эстетические и охранительные теории типа Элиота или Леонтьева. Точно так гибель Европы была бы чем-то принципиально иным, чем падение Вавилона, и сыграла бы совсем другую роль в истории (сохранилась ли бы сама концепция истории после такого события?) человечества, чем расцвет или гибель древних культур. Надо помнить, что это явления совершенно разных планов и речь идет не о дерби или хороших ресторанах, где разучились готовить и обслуживать посетителя, а о несравненно более мрачных вещах.

В начале двадцатых годов шумела книжка Шпенглера о закате Европы, построенная по аналогии и напоминавшая Данилевского. Мы прочли с Мандельштамом «Закат Европы», и он не согласился с выводами Шпенглера, считая, что они не приложимы к христианскому миру. Он был гораздо пессимистичнее Шпенглера, грозившего всего на всего тем, что культура перейдет в цивилизацию и всем станет скучно. События показали, что ничего похожего на цивилизацию и на скучу не будет. Я обожаю цивилизацию и водопровод, но прожила жизнь без нее.

Надежда Мандельштам

Андрей П. Платонов. Чевенгур. Предисловие М. Геллера. Изд. ИМКА Пресс. Париж. 1972 (375 стр.)

Роман «Чевенгур» самое крупное произведение Андрея Платоновича Платонова. В своей первоначальной версии этот роман был написан им еще в годы молодости. В 1929 г. А. Платонов дал «Чевенгур» Горькому. Горький роман в целом не одобрил, но все же первая его часть, в виде повести «Происхождение Мастера», была напечатана. Рукопись же всего романа впоследствии попала в государственный архив, где и находится до сих пор.

Над неопубликованной частью романа «Чевенгур», условно названной им повестью «Путешествие с открытым сердцем» (см. журнал «Кубань», № 4, 1971 г., стр. 84), А. Платонов до последних дней жизни много и тщательно работал. Критик Л. Шубин пишет, что «Чевенгур» рос «как дерево — слоями». Видимо, было несколько вариантов романа и один из неполных списков его, повесть «Путешествие с открытым сердцем», попал на запад и был напечатан под общим названием — «Чевенгур».

Неполное издание, это конечно, прискорбный факт. Платонов большой русский писатель, но мало известный как иностранцам, так и русским зарубежом. По прочтении *так* изданного произведения Платонова, едва ли пробудится интерес к этому прекрасному, но трудному писателю.

Хотя повесть «Происхождение Мастера» (уже теперь напечатанная во многих изданиях в Сов. Союзе), конечно, имеет цензурные изменения, а теперь на западе изданный «Чевенгур» не имеет начальных страниц, все же, по прочтении обоих этих произведений, можно получить общее представление о романе в целом.

«Чевенгур» примечателен тем, что с появлением, хоть и в рукописи, этого романа восстанавливается интересное течение в русской литературе — антиисторизм. Еще в двадцатых годах Андрей Платонов писал о целостности всего сущего, о связности прошлого с настоящим и будущим. Платонов пытался исторические события соединить со всем бытием в целом. Он стал применять в своем творчестве те приемы, которыми пользовалась литература когда искусство, богословие и философия были еще неразделимы. Вот почему, по-моему, так труден для чтения Андрей Платонов.

Надо учитывать и то, что Платонов должен был сознательно писать прикровенно, так как писал он во время сталинщины. Для того чтобы понимать его произведения, надо быть знакомым с основами христианства и с «Философией Общего Дела» Н. Ф. Федорова, в частности. При чтении «Чевенгура» полезно иметь под рукой и Толковый словарь Даля и сборник, поясняющий значение православных имен.

Введение Платоновым, как действующих лиц, самого Христа, ангела, Богородицы, злой силы — указывает на метафизический замысел романа. Когда-нибудь исследователи напишут о нем подробные критические анализы, как и о романе «Мастер и Маргарита» Булгакова. Мы же ограничимся раскрытием значения хотя бы нескольких имен, выражений и положений.

Первая часть «Чевенгура» — повесть «Происхождение Мастера», посвящена главным образом, введению читателя в понимание относительности понятий пространства, времени и осознанию единства человека с человечеством, с природой и всем миром. Время происходящего — начало большевизма. Жизненная философия большевицкой власти на многих страницах повести мудро, не злобно, но очень веско опровергается старым *мастером* (по Даю «мастер» — учитель грамоты по церковным книгам) Захаром (перевод с греческого — память Господня). Происхождение (по Даю — быть следствием чего) молодого мастера, строителя большевизма, Платонов выводит из наследственности, тяжелого детства и, конечно, из природных качеств человека. Александр (защитник людей) Два-

нов (по Далю: «слито перед другими словами число два выражает двойственность»). Сводный брат Александра — Прокопий (опережающий), по природным качествам сильно склонен ко злу. Его сокращенное имя — Прошка близко по звучанию с Прокша (мест. наречие — нечистый дух). Читатель может заметить, что во всем романе через Прошку проходит сатанинское влияние на жизнь окружающих.

Вторая часть «Чевенгура» — «Путешествие с открытым сердцем», являет собою шествие по жизненному пути тех людей, которые положились лишь на свой разум, на свои убеждения и в силу этого позволяющих себе абсолютную свободу действий.

Главный герой повести — Степан (перевод — Венец) Копенкин (по Далю: «копенка — бедная копна плохого урожая»). Как имя, так и фамилия указывают на собирательное значение этой личности. Копенкин — русская беднота, а конь его — та Пролетарская Сила, которой пользовались большевики для проведения своего дела в жизнь. Есть в романе, кажущиеся даже абсурдными, описания. Например, как перетаскивают с места на место дома и сады. Это иносказание. Дома и сады — это культурные достояния прошлого.

Отметим и особый литературный прием в «Чевенгуре». Платонов, незаметно для читателя, вводит его во внутренний мир героев и, через их восприятие, описывает действительность. Получаются парадоксы. Происходит ужасные убийства, но читатель, смотря на происходящее глазами убийц, остается спокоен и не содрогается. И наоборот — в других местах романа, читатель особенно остро, вместе с близкими, переживает смерть и мучения людей...

Андрей Платонов по своей профессии был инженер мелиоратор, ему был дорог символ «живой воды» в христианстве и он с удивительным умением, во многих своих произведениях, подает понятие воды, как очистительное и загрязнительное начало в жизни людей.

Озеро, в котором утонул отец Саши и в которое в конце романа входит Александр Дванов, чтобы утопиться, носило название Муттёво. Муть — по Далю — может означать и «смутность в мыслях». Если понять озеро, как символ заблуждений, то мрачной не смертью кончается «Чевенгур». Пролетарская Сила (имя коня) — «разогнала ртом ту нечистую воду...» и спаслась, а погрузившегося в муть Сашу — собираются вернуть к жизни его близкие.

Алексей Киселев

Радиш. Українська Вільна Академія Наук. Нью Йорк. 1966. 175 стр.
с цветными и черно-белыми иллюстрациями.

Мирослав Радыш родился в 1910 г. в Карпатах, в том своеобразно-красочном мире, так незабываемо воспетом Коцюбинским в

«Тенях забытых предков». Эти впечатления детства, видимо, никогда не стирались в памяти художника, выросшего у золотистых вод Прута и быстрого Черемоша, снова и снова возникая на его полотнах, расцвечивая его палитру сказочными красками, пока жизнь Радыша так безвременно не оборвалась на берегах Гудзона.

Получив свое художественное образование в Вильно, молодой Радыш стал декоратором львовского оперного театра, принимая также участие в художественных выставках. Война прервала эту работу, а дальнейшая дорога была обычной для многих «перемещенных лиц»: годы в Германии, а затем — встающие из океанских волн небоскребы Нью Йорка.

В новых условиях художник работал с небычайной энергией — за шесть лет в США им написано свыше 300 картин. К тому же он открыл свою студию со все возрастающим числом учеников. Он был в полном расцвете сил и ничто не предвещало близкого трагического конца: в 1956 г. сорока шести лет от роду, Мирослав Радыш скончался от сердечного припадка.

В декабре 1972 г. состоялась уже пятая посмертная выставка картин Радыша в укр. литературно-художественном клубе, где было выставлено 126 картин (масло и акварели), но самым лучшим памятником талантливому художнику, все же остается оформленная и составленная с большим вкусом книга «Радыш», великолепно изданная Украинской Академией Наук в Нью Йорке в 1966 г. к десятилетию со дня его смерти. Книга вышла на редкость удачной. Ни одного лишнего слова, никакого «слезного жанра» некролога: о художнике рассказывают разные авторы и репродукции его картин (23 цветных и 23 черно-белых).

Монография «Радыш» содержит полный материал для представления о жизненном и творческом пути художника, так рано оборвавшемся именно тогда, когда, по отзывам критиков, Радыш уже полностью выработал свой собственный оригинальный стиль, достигнув технического совершенства и замечательной красочности своих полотен.

Английская часть книги открывается кратким перечнем наиболее важных дат в жизни художника, за которым следуют сжатые оценки творчества М. Радыша, вышедшие из-под пера известных украинских художников Л. Гуцалюка и Я. Гнездовского (последнему принадлежит и прекрасное оформление книги — обложка). Здесь же в переводе приведен ряд выдержек из статей и отзывов о работах Радыша и особенностях его творческой манеры.

Украинская часть начинается с проникнутых юмором воспоминаний единственного брата художника о детстве и студенческих годах Мирослава, тогда как раздел «Годы творчества» написан искренне с мужественно скрываемой скорбью женой художника.

Анализу творчества Радыша и как мастера станковой живописи, и как театрального декоратора, посвящен ряд статей видных деятелей украинской культуры. Так, В. Кивелюк дал анализ преимущественно ранних работ Радыша, Ю. Соловий сосредоточил внимание на более позднем периоде творчества художника, Игорь Костецкий посвятил особый очерк нашумевшей, «неканонической» «Мадонне» Радыша, Г. Лужницкий и И. Гирняк дали очерки о нем, как о театральном декораторе.

Прекрасно разработан справочный материал, помещенный после иллюстраций: тут и хронологический список «Художественное наследие», с указанием местонахождения работ, и перечень художественных выставок, в которых принимал участие Радыш или же посвященных только его творчеству, тут и указатели декораций и костюмов, выполненных Радышем для Украинского театра оперы, балета и драмы во Львове, для постановок Ансамбля украинских актеров под руководством В. Блавацкого в Аугсбурге и, наконец, для Украинского театра в Нью Йорке (под руководством И. Гирняка и О. Добровольской).

Завершает книгу довольно обширная библиография и постстраничные указатели цветных и черно-белых иллюстраций. Таким образом, эта монография отвечает всем требованиям серьезных изданий, выходящих на Западе, и вполне передает прелест и силу кисти Радыша.

Перелистываешь страницы и диву даешься — как удалось выходцу из тихого карпатского села *так* увидеть и «Бруклинский мост» и «Старый порт», и «Фабричные трубы ночью» и «Двор в Бронксе»? Недаром Давид Бурлюк, говоря о художественном наследии Радыша, подчеркнул широкое разнообразие свежих и новых подходов к каждой теме, доказывающих существование у Радыша своего собственного стиля.

О работах Мирослава Радыша Л. Гуцалюк пишет: — «Радыш был одним из наших наиболее динамических художников-экспрессионистов. Прекрасный колорист, благодаря беспрерывным творческим исканиям, он достигал все больших успехов».

Остается только поблагодарить Оксану Радыш и всю группу друзей художника, так достойно увековечивших память о нем изданием этой прекрасной книги.

Татьяна Фесенко

Д. С. Мережковский. *Избранные статьи. Символизм. Гоголь. Лермонтов. С предисл. проф. Р. Е. Матло. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (XIX и 280 стр.)*

Уте Шпенглер. *Мережковский как литературный критик. Люцерн и Франкфурт. 1972 (174 стр.). Серия «Slavica Helvetica» том II.*

Мережковскому как литературному критику и историку литературы посвящено на Западе две книги. Этого его работы вполне заслуживают. В перепечатанных работах Мережковского отметим прежде всего его книгу о «Причинах упадка русской литературы», которая при своем появлении в свет (1893) была воспринята читателями как оповещение о предстоящем появлении нового литературного течения, символизма. Книга Мережковского поражает нас не словами об «упадке русской литературы», но гораздо больше своим «мирным» тоном и похвалами почти всем поэтам того времени, даже поэтам весьма второстепенным. Сам Мережковский в своих стихотворных произведениях (уже в конце 80-х г.г.) вряд ли был новатором. Только «Русские символисты» Брюсова и первые сборники Бальмонта были ответом на ожидания читателей скромной книги Мережковского. Ей в значительной части посвящена ценная вступительная статья Чикагского профессора Р. Матло. Самым значительным критическим произведением Мережковского следует признать его двухтомную книгу о Толстом и Достоевском. Именно из этой книги исходят суждения Томаса Манна о русских романистах. В новый сборник статей Мережковского вошли только две его работы *меньшего* объема: книга о Гоголе (в одном из изданий носящая гораздо более яркое заглавие «Гоголь и чорт») и совсем небольшая по объему яркая статья о Лермонтове. Обе работы дают ясное представление о методе Мережковского: подборе особенно выпуклых и парадоксальных цитат, дающих основу для такого же парадоксального, но часто очень убедительного комментария к ним. Как бы ни судить о критических заслугах Мережковского его импрессионистические характеристики содержат во многом более убедительные толкования, чем обширные работы историков литературы, по большей части связанных традициями старой критики и часто даже традициями школьного преподавания.

Современный читатель вряд ли может считать Хлестакова или Чичикова воплощениями чорта, но своеобразная «демония» этих героев показана Мережковским с несомненной близостью к намерениям самого Гоголя.

Мало удачна, к сожалению, диссертация г-жи Уте Шпенглер о критической деятельности Мережковского. Эта работа прежде всего не объясняет причин успеха книг и статей Мережковского у русских и европейских читателей. Подзаголовок диссертации обе-

щает дать характеристику «религиозного обоснования искусства» у Мережковского. Этого обещания диссертация, однако не исполняет, так как автор не дает очерка религиозных настроений среди русской интеллигенции в конце 19-го века. Такой очерк дан например в книге о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (1935). Книга эта осталась автору диссертации неизвестной. В ней дана между прочим и краткая, но удачная характеристика религиозных воззрений Мережковского. Диссертация начинается очень неудачным изображением оценки работ Мережковского в русской критике; эти страницы неудачны уже потому, что автор характеризует русских критиков совершенно бесцветными определениями: четыре им названных «либерала» в действительности частью социалисты и при том отнюдь не умеренные (известен Скабичевский резко осудивший даже Чехова), дальнейший список «критиков младшей школы» (?) объединяет идеологически чрезвычайно различных авторов, в том числе марксистов (П. Коган и Базаров). Понятно, что радикальные социалисты в России, почти всегда атеисты, не могли дать положительного отзыва о представителе религиозной точки зрения, поэтому их отзывы о Мережковском не могут быть объективны.

Эти критики рассматривали Мережковского как разрушителя социально-политических традиций русской критики — этого было достаточно для игнорирования всей оригинальности и ценности работ Мережковского. Его метод — работа на основе удачно подобранных цитат остался незамеченным; совершенно недооценен — в критических работах особенно важный — блестящий стиль Мережковского и острота и «пряность» его формулировок, может быть и парадоксальных, но несомненно открывающих в критикуемых произведениях существенные и иными критиками незамеченные детали — а иногда и основные мысли этих произведений

Могла бы быть интересна глава об отношении взглядов Мережковского и *европейской* «философии жизни». К сожалению, вряд ли Мережковский был с этой философией близко знаком! Его философия жизни связана с философией русских романтиков, прежде всего славянофилов (славянофилом он, однако, вовсе не был).

Глава о «теории литературы» Мережковского слишком коротка, чтобы дать ответ на все возникающие здесь вопросы. Вряд ли можно сопоставлять цитаты противников взглядов Мережковского, принадлежащие авторам, стоящим на совершенно различных точках зрения, и кроме того цитаты относящиеся к различным годам (напр. перед 1910 г., 1912-14 и 1935!). Такие цитаты имеют дело с совершенно различными «Мережковскими». Взгляды его после революции 1917 года эволюционировали с прямо таки катастрофальной быстротой.

Очень вредят книге неточные и совершенно неверные переводы

русских цитат. «Трудящийся» значит по-русски попросту «рабочий» и вовсе не человек, «мучающийся» над чем-нибудь! «Балаган» конечно не «ярмарка»! «Упование»-надежду авторша смешала по созвучию с «упоением»-опьянением и из «гимна надежде» в ее тексте появился «гимн опьянению» у Мережковского! Не мало и цитат не соответствующих русскому оригиналу: например — «в лазуре» или «против воля», встречаем и несуществующие слова, вроде «чувствительность» или «благополучие» или имя поэта (?) «Куяжнин»... Будем надеяться, что дальнейшие выпуски швейцарской славистической серии будут удачнее. Впрочем, список готовящихся публикаций обещает нам прежде всего книгу г. Ингольда, уже создавшего себе имя своими ошибочными переводами русских текстов!

Гейдельберг

Дм. Чижевский

Работы о чешско-русских культурных отношениях. Сборник статей. Прага. 1965 (206 стр.).

Сборник статей четырех чешских авторов прошел в русской печати незамеченным. Между тем он содержит интереснейший материал о чешско-русских музыкальных отношениях. Прежде всего встречаем здесь ценный материал о деятельности чешских музыкантов, членов русских оркестров, солистов, дирижеров и преподавателей консерваторий и музыкальных школ. Среди них встречаем таких значительных деятелей, как (позже дирижер в Праге и Стокгольме) В. Таллих, в свое время профессор Тифлисской консерватории; пианист и проф. в Киеве Лешетицкий (которого часто считают поляком); проф. Киевского университета и Нежинского Института В. Петр, виолончелист, композитор и автор ценных работ об античной музыке. Петр попал в русскую энциклопедию Брокгауза только как музыкант, о его научных работах энциклопедия умалчивала! Число чешских музыкантов в России (до революции 1917 г.) было более 330! Одним из самых ранних работников на почве русской музыки был еще в конце 18-начале 19 века собиратель и издатель русских народных песен Ян Прач (в России с 1770 года).

Не менее интересен и список русских опер и чешских опер на русские сюжеты, которые ставились в чешских театрах до 1944 г. (оперы чешских авторов напр. Леоша Яначка: «Катя Кабанова» — это, конечно, «Гроза» Островского и Яначка «Из мертвого дома»; затем опера О. Иеремиаша «Братья Карамазовы»). Список таких постановок содержит около 150 названий; интересны в списке и оперы немецких авторов на русские сюжеты (еще в начале 19 века оперы Лорцинга, Вайгеля, совершенно забытого композитора Бирея и т.д.).

Особенно интересна статья М. Постлера о Эдуарде Направнике. Направник (1836-1915) поступил после основательной музыкальной подготовки на службу в частный оркестр кн. Юсупова уже в 1861 году, но через несколько лет перешел на службу в Императорский оперный театр в Петербурге. Позже, неутомимый работник, Направник дирижировал также концертами, напр. концертами Петербургского музыкального общества. Но деятельность Направника была почти до самой его смерти связана прежде всего с оперным театром. В течение 50 лет Направник проработал с оркестром и солистами более 70-ти опер, в том числе 40 русских, по большей части уже забытых. Он дирижировал также несколькими операми подготовленными другими руководителями. Его работа не обошлась без внешних препятствий: так, известный директор Имп. театров Гедеонов пытался даже уволить Направника со службы, но у влиятельных русских музыкантов он встречал поддержку; за него заступался Мусоргский (несмотря на то, что Направник не принял его «Хованщину» к постановке!). Направника упрекали также в том, что он отказался работать над «Орестеей» Таинеева, которая, очевидно претила его вкусу и передал ее другому дирижеру, его упрекали в том, что он долго не ставил на сцене «Евгения Онегина» Чайковского, но в этом случае за него заступился сам композитор, сообщивший, что он вовсе не предлагал своих «лирических сцен» (так он назвал «Евгения Онегина») театру. Позже Направник поставил и «Евгения Онегина». Были, несомненно и более основательные упреки. Но заменить такого работника как Направник вряд ли было возможно.

Как композитору Направнику принадлежало 77 опусов, по большей части произведений камерной музыки; но им была написана и симфония и пять опер. Правда очень немногие его произведения увидели свет в печати и поэтому по большей части забыты. Первая опера Направника была написана на русский сюжет (борьба против самозванца) «Нижегородцы»: она была поставлена в Праге в 1867 году (текст был написан Калашниковым). После большого перерыва появился «Гарольд» (1884, на сюжет драмы немецкого поэта Вильденбруха), затем «Дон Жуан», собственно музыка к трагедии Алексея Константиновича Толстого (1891). Следующей оперой был «Дубровский» (1894) на сюжет романа Пушкина, эта опера попала и на пражскую сцену и долго появлялась в русском театре. Наконец в 1902 г. Направник поставил оперу «Франческа да Римини» на текст английского поэта Филлипса. Как сказано, только «Дубровский» имел длительный успех.

Направник был популярен в России! Его имя встречается и в русской литературе, а роль его в истории русской оперной музыки вряд ли можно преувеличить. Ему русская опера обязана своим беспрерывным существованием в течение полустолетия!

Другие статьи в Сборнике касаются забытого чешского портрета М. Глинки (оперы которого были поставлены в Праге после основания чешского театра в 1860-х годах). Глинка побывал в Праге уже в 1833 году. О его портрете пишет Я. Прохазка. Сборник содержит еще две небольших заметки. В общем и целом — ценная публикация!

Гейдельберг

Дм. Чижевский

К ИСТОРИИ РУССКОЙ БИБЛИОГРАФИИ ЗА РУБЕЖОМ

Среди научных кругов русской эмиграции последнее время пристальным вниманием пользуется двухтомная *Библиография русской зарубежной литературы, 1918-1968 гг.* (Бостон, Изд-во Г. К. Холл и Ко., 1971) Людмилы Фостер. Этот труд вышел в том же издательстве, что снискало себе известность у славистов своим 26-томным «Словарным каталогом славянских книг и периодических изданий» (1959), принадлежащих Нью-Йоркской публичной библиотеке. Этот «Каталог», воспроизведенный более полумиллиона каталожных карточек и явился одним из основных источников «Библиографии русской зарубежной литературы».

Задача критического обзора этой «Библиографии» осложнена тем, что, в данное время, одному только пишущему эти строки уже известны восемь рецензий. Хотя и с разной степенью профессиональности и при средоточии внимания на различных моментах работы, рецензенты, в целом, уже определили ее характер, особенности, положительные черты и недочеты, неизбежные при ее исключительном объеме. Однако, надо полагать, следует дополнить уже имеющиеся отклики попыткой дать обобщенную характеристику этой «Библиографии» и определить ее историческое место среди других библиографий русского зарубежья.

Профессор Дж. Симmons (Оксфорд) высказался о работе Л. Фостер, как об одном из значительных библиографических явлений 1971 года. Он справедливо отметил, что эта обширная библиография, охватывающая не только книги, но и статьи в периодических изданиях (исключая газеты), является, по сути, исследованием в области библиографической *terra incognita*.

Для уяснения отличительного характера этой «Библиографии» следует произвести экскурс в ранний период пореволюционной библиографии русской эмиграции. Надо заметить, что уже в начале 1920-х годов можно было наблюдать в зарубежье оживленную издательскую деятельность, отраженную в каталогах сравнительно многочисленных книгоиздательских и книготорговых эмигрантских фирм.

Уже в первоначальную пору существования «послеоктябрьской» русской литературы за рубежом, в Берлине появляется периодическое

библиографическое издание *Новая русская книга*, выходившая с января 1921 г.* до середины 1923 г. Этот журнал, сперва ежемесячный, позже двухмесячный (с трехмесячным прекращением в окт.-дек. 1921 года) выходил в издательстве И. П. Ладыжникова, под редакцией А. С. Ященко. Он был прекрасным связующим звеном между многочисленными тогда русскими издательствами в Риге, Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Стокгольме, Праге, Вене, Софии, Константинополе, Кишиневе и др.

В его первом номере, за январь 1921 г., в краткой заметке «От редакции» говорилось, что «годы с 1918 по 1920 были периодом анархии в области регистрации печатных изданий в России». И журнал, действительно, старался заполнить библиографическую брешь, образовавшуюся в первые годы революции. Так, в *Русской книге* были даны списки изданий, выходивших на территории быв. Российской Империи, но вне Советской России, а именно: на Юге, на Дону и Кавказе.

Журнал состоял из ряда постоянных отделов: 1) Общие статьи; 2) Критика и рецензии; 3) Хроника; 4) Писатели; 5) Пресса (списки); 6) Книжная летопись (включавшая и издания на иностранных языках, касавшиеся России).

Как бы преемником «Новой русской книги», но только в хронологическом аспекте, явилось издание «Трудов» Комитета русской книги в Праге. Первый и единственный их том вышел в 1924 г. и носил название *Русская зарубежная книга*. Первая часть этого тома имела теоретически-обзорные статьи, касавшиеся тех или иных отраслей литературы, а также включала ценную статью В. А. Розенберга «Русская зарубежная периодическая печать», подытоживавшую первое пореволюционное пятилетие эмигрантской периодики, в то время как вторая часть была посвящена только книгам: «Библиографический указатель 1918-1924», насчитывавший свыше полторы тысячи названий, расположенных попредметно.

Временник Общества друзей русской книги (Париж, I-IV: 1925-1938) был как-бы следующим этапом в библиографической деятельности русской эмиграции. В нем были затронуты самые разнообразные темы русской библиографии, в том числе проблемы рукописной пушкинианы, экслибристики и т. д. Конечно, в основном, статьи были посвящены зарубежной библиографии, как ретроспективной (напр., Б. Унбегаун, «Русская периодическая печать в Париже до 1918 года, III, 1932), так и текущей. В первом томе (1925) была помещена статья Як. Полонского «Библиография зарубежной библио-

* Первоначально под названием «Русская Книга», в изд. «Москва», Берлин. 1921.

графии», в которой вышеуказанный труд *Русская зарубежная книга* подвергся суповой критике.

Итак, следует признать, что, если исключить коммерческие каталоги, первичные библиографические издания русско-эмигрантского зарубежья имели, в большинстве случаев, общий для них обзорный характер, иногда только частично представляя собой библиографические списки. Первой же самостоятельной библиографической работой крупного масштаба явилось двухтомное издание Русского научного института в Белграде, *Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом, 1920-1940* (Белград, 1931-1941).

Само название несколько дезориентирует читателя, так как, по сути, это не материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом, а — трудов русских ученых за рубежом, изданных либо отдельными книгами, либо появившихся в форме статей в периодической печати. Здесь было учтено около 15 тысяч названий на русском и иностранных языках, обнимающих самые разнообразные отрасли наук — как точных, так и гуманитарных.

Несмотря на многочисленные недостатки — ошибки, неполноту сведений (как, напр., запись: «ряд статей в «Возрождении»), отсутствие биографических дат (правда, при упоминании занимаемой должности), частое отсутствие указаний на пагинацию и почти полное игнорирование левого крыла эмиграции — это был воистину огромный труд по учету литературы русских эмигрантов-ученых, разбросанных по всему миру.

Со второй мировой войной надолго прекратилась какая-либо библиографическая деятельность русской эмиграции, что, конечно, совпадало с упадком самой литературной деятельности русских заграницей. Все же постепенно оправившиеся от военного лихолетья, к тому же пополнившие свои ряды новоприбывшими из Советского Союза, русские эмигранты не только вернулись к более интенсивному печатанию статей и книг на родном языке, но и занялись текущей библиографией, а с ней и ретроспективным учетом того, что было издано в предыдущие десятилетия за пределами родины.

Так, в 1953 году, Институтом по изучению СССР (Мюнхен) был выпущен «Указатель периодических изданий эмиграции из России и СССР за 1919-1952 гг.» (*Исследования и материалы*, серия mimeографическая № 6), в котором давалась периодика на различных языках народов СССР, хотя, конечно, основная масса названий падала на русскую прессу.

Через двадцать лет эта же тема нашла дальнейшее развитие в работе М. Шатова *Полвека русской периодики, 1917-1968*. Уже вышло 3 тома этого большого труда, под редакцией Н. А. Хейля (Нью-Йорк, Русская книжная палата заграницей, 1969-1972; см. рецензию на

3-й том Ю. Сречинского: *Новый журнал*, 107, июнь 1972). Ожидается выпуск и четвертого тома, с охватом периода 1957-1968 гг.

Однажды, профессор Г. Флоровский высказал мысль, что «зарубежная литература — только часть, только отрывок литературы общерусской, поэтому так трудно рассматривать ее обособленно». (*Русская зарубежная книга*, ч. 1, стр. 18). Это высказывание перекликается с редакционным кредо первого библиографического органа эмиграции: «для нас нет, в области книги, разделения на Советскую Россию и на Эмиграцию». (*Русская книга*, 1921, № 1). Хотя, очевидно, подобное мнение можно считать объективно-научным, но Институт русской литературы Академии наук СССР, выпустивший десять лет назад (1963) обширную библиографию *История русской литературы конца XIX-начала XX века*, ограничился учетом только *дореволюционной* художественной литературы и критики на нее. К. Д. Муратова, в своем вступительном слове «От редактора», как-будто смело указывает на необходимость двустороннего учета русской литературы, так как «без выявления позиции литературных лагерей как революционно настроенных, так и реакционных невозможно воссоздать сложный процесс развития литературы». Она подкрепляет этот тезис словами М. Горького, который в 1927 г., в письме своему секретарю И. Груздеву, писал, что желал бы в сборник о нем включить и статьи Анненского, Мережковского, Философова и «да же... злые выходки Гиппиус... грубости Арцыбашева и Куприна».

Но на поверку оказывается, что творчество всех вышеуказанных авторов, ставших после революции эмигрантами (кроме Анненского, умершего еще в 1909 году), прослеживается только до начала 1920-х годов, в то время как учет критики на них и ранее неопубликованных писем доведен вплотную до времени составления этой библиографии, т. е. до начала 1960-х гг.

Уже в течение четверти века, после окончания второй мировой войны, в научном мире происходит процесс стандартизации форм библиографического учета, в чем немаловажную роль играет Юнеско — организация, не только издающая библиографические бюллетени, справочники и т. п., но и финансирующая ряд исследовательских периодических, главным образом университетских, изданий, включающих специализированные библиографии, как, напр., *Cahiers du monde russe et soviétique* (Париж).

Следует признать, что практика библио-учета в среде русской эмиграции стоит как-бы в стороне от столбовой дороги современной библиографической деятельности на Западе. Некоторые из немногочисленных русских зарубежных библиографий лишены научного построения, да и грешат неточностями, что иногда, конечно, связано с труднодоступностью собираемого материала.

И все же подобные библиографии, созданные одиночками-энту-

зиастами, могут служить полезным пособием для изучающих русскую культуру, в частности ее эмигрантский сектор. Для примера назовем такие книги, как частично аннотированные *Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом* (Париж, «Военная быль», 1968) Алексея Геринга или примыкающая к ней по теме, но более ограниченная в хронологическом охвате книга Михаила Шатова *Библиография освободительного движения народов России в годы второй мировой войны, 1941-1945 гг.* (Нью-Йорк, Всеславянское изд-во, 1961).

Итак, библиографический опыт, как международный вообще, так и русско-эмigrantский, свидетельствует о возможности различного подхода к учету литературы той или иной национальности.

В эпоху повышения интереса к русской культуре, с одной стороны, и пребывания в эмиграции значительной части русской духовной элиты, с другой, библиография приобретает особо важное значение. Именно теперь, в середине шестого десятилетия существования пореволюционной русской эмиграции, становится особенно ценным и своевременным учет того, что было ею создано заграницей за весь этот период хотя бы в области русского художественного слова и критики.

Подобная задача была нелегка, но она прекрасно выполнена Людмилой Фостер, под эгидой Гарвардского университета. В ее труде, кроме различных его достоинств, можно выделить следующие два. Первое — это совершенно небывалый дотоле в русской эмиграции объем библиографии — несмотря на ее ограничение художественной литературой и критикой, она насчитывает около полуторатысяч страниц, с охватом около 17000 библиографических записей и 1800 авторов. Второе — это продуманная система организации и расположения учитываемого материала. Номерное кодирование жанров максимально ориентирует читателя, вынужденного мириться с отсутствием аннотаций, а аббревиатурное кодирование местонахождения названий содействует разысканию их.

В первом томе этой библиографии (гл. II, Метод описания, стр. XLII) находим замечание составителя, что «главное задание этой Библиографии представить исчерпывающую запись литературных произведений, практическим образом и в удобной форме, а не коллекционерные сведения для библиофилов или коммерческие сведения для букинистов». Задание это посильно выполнено.

Учитывая возможный выход из печати, в 1974 году, Дополнения к Библиографии, предусматривающего, очевидно, и заполнение некоторых пропусков и исправление неизбежных ошибок (чаще всего просто неточностей) следует надеяться, что будет расширен учет библиографических обзоров и рецензий путем более тщательного постатейного анализа периодических изданий.

Здесь небезинтересно будет отметить, что как-бы «побочным продуктом» Библиографии Л. Фостер явилась актуальная и ценная ее статья «Статистический обзор русской зарубежной литературы» в сборнике *Русская литература в эмиграции* (Питтсбург, изд. Отдела славянских языков и литературы Питтсбургского университета, 1972), где автор в заключительном абзаце говорит, «что русская зарубежная литература начала привлекать к себе внимание иностранных литератороведов. За последнее время в Европе и Америке появились не только статьи и монографии, но также ученые диссертации, в которых серьезно и глубоко изучается творчество русских писателей за рубежом и их вклад в русскую культуру XX века». (стр. 44).

Но, думаю, что всем причастным к библиографической деятельности следует торопиться с выполнением их планов и стараться максимально использовать те или иные возможности, благоприятствующие скорейшему изданию библиографических списков, отражающих любую область эмигрантской литературы. Нужно помнить несколько патетическое, но справедливое утверждение Алексея Геринга, высказанное им в его книге о русской военной печати за рубежом (стр. 5): «Мы уходим в вечность. После нас остается пустое место и некому его заполнить».

Возвращаясь же к работе Л. Фостер, ставшей «не обходимой» вехой библиографии русского зарубежья, упомянем и слова Аркадия Бормана, назвавшего свою статью об этой работе «Памятником русской эмигрантской литературы» (*Нов. Русс. Сл.*, 2 мая 1971).

Будем надеяться, что в ближайшем будущем русская эмиграция, несмотря на неизбежные трудности, не только увидит в печати *Дополнения* к работе Л. Фостер, но также обогатится и другими библиографиями подобных составителей-энтузиастов.

Андрей Фесенко

ЗАМЕТКА

В Ленинграде издана большая (26 x 21 см.) *«Русская литература XVIII века»*. Изд. «Просвещение», 1970 г. (хотя в набор книга сдана в 1968 г.!). Составил доктор филологических наук, профессор Г. П. Макогоненко. Ему принадлежит введение — 43 страницы петита в два столбца. Всех же страниц 832. Это хрестоматия, дающая извлечения или целые произведения двадцати семи писателей — от Ф. Прокоповича до Н. Карамзина. Словом, от «Слова на погребение Петра I» и анонимной «Гистории о российском матросе Василии Кориотском» до «Бедной Лизы» и «Марфы Посадницы». Приложены словари редких слов и мифологии, а равно имена выдающихся деятелей эпохи.

Уже мы видели, сколь громок титул составителя. Так ранее себя не рекламировали! Всякая антология полезна, но... Есть «но» и у этой толстенной книжицы. Во-первых, в ней нет ни одного произведения с указанием на авторство Екатерины Второй. Преданы полностью забвению труды и наших поэтесс XVIII века, а они важнее, чем, напр., В. П. Петров. Исчезли и Е. Княжнина, и М. Зубова, и Е. Сандунова, и П. Ковалева. В словарях неразбериха, пропуски и неточности. *Нешечко** — любимец, сокровище, — увы, переведен в словаре как *секрет* (!!). Есть Адам, есть и Марс, а редкого слова, употребленного в хрестоматии в оде М. Ломоносова — *рифейский* (Рифей-Уральские горы), конечно же, нет. В оде «Бог» Державина сознательно опущено его важное примечание, а слова «Несытым некоторым летаю» не имеют никакого объяснения ни в словариках, ни в примечании. Обозначало птицу (пеликана, неясТЬ или род филина). Но и то слава Богу, что ода «Бог» включена в эту пухлую хрестоматию.

Р. П.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В «ЯКОРЕ»

Чтение сто седьмой книги «Нового Журнала» я начал со стихов (и порадовался прекрасному подбору), а затем накинулся на очень ценный очерк Г. П. Струве «Как составлялась антология Якорь».

Лично мне выпала честь ответить «с другого конца» на письмо М. Л. Кантора, о котором идет речь на странице 231-ой. Это письмо было получено Чураевкой тогда же в августе или сентябре 1934 года, и о нем у меня был разговор с Николаем Щеголевым.

— Вы на это письмо и ответьте, — заключил Щеголев. — В качестве председателя литературной студии.

Однако, письмо у меня не осталось. Повидимому, оно было мне только показано и взято назад Алексеем Ачаиром, у которого хранился архив Чураевки — впрочем, не весь, ибо часть его я видел в руках исключенного секретаря кружка, поэта Георгия Гранина, в то время, когда уже не могло быть речи о возвращении этой части архива Алексею Ачаиру.

В дальнейшей переписке между Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором упоминается антология «Излучины», изданная группой уже тогда бывших чураевцев 22 апреля 1935 года. По требованиям японской цензуры, на обложке каждой изданной в пределах Маньчжурской империи книги должно было значиться три имени: издателя, редактора и типографа.

«Учредительное собрание» будущей антологии «Излучины» со-

* Это слово найдем и у Достоевского.

стоялось в доме моей матери, журналистки Евгении Александровны Сентяниной — в доме № 84 по Церковной улице в пригороде Харбина Мацзягоу. Издателем был избран М. Н. Володченко (Михаил Волин), а редактором — я. У меня сохранился экземпляр № 3 этой антологии (я был третьим по алфавиту) с автографами всех участников, кроме Виктора Ветлугина и привлеченного к посмертному участию Сергея Сергина.

В статье Г. П. Струве, естественно, нет упоминания о письмах, полученных тогда в ответ на обращение составителей. Возможно, что в архиве М. Л. Кантора уцелели и письма мои (не менее двух), Несмелова, Ачаира и Щеголева. Если бы «Якорь» составлялся на два-три года раньше, я непременно назвал бы имя Марианны Колосовой, но в 1935 году она уже была в Шанхае, сношения с которым были затруднены китайской почтой, не допускавшей в Китай писем с марками, на которых было обозначено — «Мань-чжоу-ди-го». Правда, японцы догадались выпустить особые марки «для Китая», на которых название марионеточной империи отсутствовало, а значилось только «почта», но, тем не менее, корреспонденция шла не прямо из Маньчжурии, а через Японию. Да и адреса Колосовой у нас тогда не было.

Повидимому, я был не только передаточной инстанцией, а, вероятно, собрал от возможных дальневосточных участников «Якоря» отобранные ими самими стихи и переслал их составителям, ибо составители «Якоря» выразили мне в предисловии благодарность за какое-то «содействие в подготовке и издании настоящей книги», причем я назван «В. А.» — в то время моим псевдонимом было «Валерий Александрович Перелешин».

Вошедшие в состав «Якоря» два стихотворения Ачаира и три стихотворения Несмелова принадлежат к числу их лучших произведений. Стихотворение Щеголева, тоже хорошее, было раньше напечатано в чураевской газете. Мое «Под шляпы — от света», написанное 1-го ноября 1934 года, было впервые напечатано в «Излучинах». По поводу этого стихотворения Г. П. Струве допустил единственную в относящемся ко мне комментарии неточность: «Под шляпы — от света» вошло в мой первый сборник «В пути» (стр. 22, Харбин, 1937).

Валерий Перелешин

ИСПРАВЛЕНИЕ

В оглавлении этой книги надо читать Г. Кочевицкий, а не Д. Кочевицкий, как ошибочно напечатано.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

Одним из откликов на мою статью — «*Мнимая тема. О спекуляциях Э. Кинана*», напечатанную Вами в *Новом Журнале*, книга 109, оказалась следующая красноречивая справка, полученная из России:

—...В *Летописце* князя Ивана Федоровича Хворостинина после изложения событий 1547 года имеется ссылка: «А пространнее о сем пишет о пожарах и о смятении боярском в государеве царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси грамоте, что писал в Литву ко князю Ондрею Курбъскому против его отписки...» *Летописец* этот начался XVII века. См. Уваровское собрание № 116 (Описание рукописи Уварова № 1386, лист 320 об. — 321...).

Ценнейшая справка, за которую должны быть благодарны все, кому дорога историческая истина. Справка подтверждает *беспрецедентность* «математических построений» Кинана, поскольку, как видно, переписка Курбского с Грозным была *известна* книжникам той эпохи.

Преданный Вам Ник. Андреев

Кембридж, 30 марта 1973 года

ИСПРАВЛЕНИЯ

А. Шифрин, автор отрывка из книги «Четвертое измерение», напечатанного в 110-й кн. «Н. Ж.», просит нас сообщить, что все права на эту его книгу принадлежат изд-ву «Посев».

На стр. 102 в кн. 110-й «Н. Ж.» во 2-й строфе первого стихотворения Дм. Кленовского, к сожалению, при верстке были перепутаны строки. Страна должна читаться так: — «Ведь там не просишь, где ничем / Никто помочь тебе не в силах! / Ты перед камнем будешь нем / И ты не станешь — о, зачем! — / Просить о жизни у могилы!»

В рассказе З. Шаховской «Старость Пушкина» на стр. 30-й, 5-я строка снизу должна читаться: «знакомы с Дюма-сыном»... И на стр. 31-й 19-я строка сверху должна читаться «пришло наконец Сентиментальное Воспитание Флобера».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Русская литература в эмиграции. Сборник статей под ред. Н. Польторацкого. Изд. Отдела Слав. Литер. Питсбургского У-та. Питсбург. 1972 (409 стр.).*
- А. Солженицын. Нобелевская лекция по литературе. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (30 стр.).*
- Андрей Платонов. Чевенгур. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (375 стр.).*
- Роман Гуль. Одвуконь. Сатирические рассказы о советской и эмигрантской литературе. Изд. «Мост». Нью-Йорк. 1973 (324 стр.).*
- Полк. В. В. Поздняков. Рождение РОА. Сиракузы. США. 1972 (255 стр.).*
- А. Величковский. Богатый. Роман. Париж. 1972 (210 стр.).*
- Владимир Юрсов. Паралакс. Роман. Изд. «Новое Русское Слово». Нью-Йорк. 1972 (479 стр.).*
- В. Валентинов. Малознакомый Ленин. Вступление Бориса Суварина. Изд. «Книготорговля Пяти Континентов». Париж. 1972 (195 стр.).*
- В. Н. Жернаков. Вл. Вас. Поносов. Биографический очерк и библиография. Изд. Мельбурнского У-та. 1972 (16 стр.).*
- Н. Ф. Чужак. Литература факта. Перепечатка московск. издания 1929 г. с вступит. статьей Ганса Гюнтера. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (269 стр.).*
- Л. Леонов. Ранние рассказы. Перепечатка с изд. 1923 и 1924 г.г. Вступ. статья и примечания Фридриха Шольца. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (238 стр.).*
- Д. С. Мережковский. Избранные статьи. Перепечатка с московск. издания 1911-12 г.г. Вступит. статья Ральфа Матло. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (334 стр.).*
- Иван Шувалов. Хлеб и молоко. Изд. «Сета». Париж. 1973 (158 стр.).*
- З. Н. Гиппиус. Новые люди. Победители. Перепечатка с петербург. издания 1907 и 1898 г.г. Вступ. статья Темиры Пахмусс. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1973 (432 стр.).*
- З. Н. Гиппиус. Чертова кукла. Роман-царевич. Перепечатка с московск. изд. 1911/13 г.г. Вступ. статья Темиры Пахмусс. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (223 и 228 стр.).*
- Валерий Перелешин. Заповедник. Седьмая книга стихотворений. 1972 (78 стр.).*

- В. В. Хлебников. Собрание сочинений. т. III. Перепечатка с ленинградск. издания 1928-33 г.г. Вступ. статья В. Маркова. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (539 стр.)*
- Игорь Чиннов. Композиция. Пятая книга стихов. Изд. «Рифма». Париж. 1972 (123 стр.)*
- Р. Плетнев. А. И. Солженицын. 2-е дополненное издание. ИМКА-пресс. Париж. 1973 (171 стр.)*
- Ф. Сологуб. Творимая легенда. Перепечатка с петербург. издания 1914 г. С вступ. статьей Иоганнеса Хольтхузена. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (301-220 стр.)*
- Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Изд. им. Чехова. Нью Иорк. 1973 (236 стр.)*
- Петр Якир. Детство в тюрьме. Мемуары. Изд. Макмиллан. Лондон. 1971 (151 стр.)*
- В. Вейдле. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. ИМКА-пресс. Париж. 1973 (67 стр.)*
- С. А. Венгеров. Русская литература XX века. Перепечатка с москов. изд. 1914-16 г.г. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (стр. 409-365-64).*
- А. Галич. Поколение обреченных. Стихи и песни. Вступ. статья А. Дрор. Изд. «Посев». Франкфурт, Зап. Германия. 1972 (304 стр.).*
- Эдуард Кузнецов. Дневники. ИМКА-пресс. Париж. 1973 (374 стр.)*
- Август четырнадцатого читают на родине. Сборник статей и отзывов. ИМКА-пресс. Париж. 1973. (139 стр.)*
- Николай Татищев. Письмо в Россию. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (225 стр.)*
- Р. Тер-Погосян. Живой ручей. Стихи. И. Мадрид. 1972 (46 стр.)*
- Вл. Крымов. Фенька. Роман. ИМКА-пресс. Париж. 1973. (303 стр.)*
- Александр Донат. Неопалимая Купина. Еврейские сюжеты в русской поэзии. Антология. Изд. Нью-Йоркского Университета, 1973. (480 стр.)*
- К. Аренский. Письма в Холливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона. Изд. автора. Монтерей, Калиф. 1968, (263 стр.)*
- С. Л. Бертенсон. В Холливуде с В. И. Немировичем-Данченко. Составил К. Аренский. Монтерей. Калиф. 1966, (166 стр.)*
- Мысли сумасшедшего. Избранные письма и выступления Петра Григорьевича Григоренко. Серия «Библиотека Самиздата». Изд. Фонда им. Герцена. Амстердам. 1973 (333 стр.)*
- Вл. Самарин. Далекая звезда. Путевые очерки. Нью Иорк. 1972 (93 стр.)*
- Рой Медведев. Книга о социалистической демократии. Изд. Фонда имени Герцена. Амстердам. 1972 (400 стр.)*
- Политический дневник, 1964-1970. Изд. Фонда имени Герцена. Амстердам. 1972 (838 стр.).*

- Б. Зайцев. *Избранное*. Изд. «Путь Жизни». 1973 (252 стр.).
- B. O. Unbegau. *Russian Surnames*. Clarendon Press. Oxford. 1972 (p. 529).
- Aleksandr J. Solzhenitsyn. *The Noble Lecture on Literature*. Translated by Thomas P. Whitney. Harper and Row, Publishers. N. Y., 1972 (p. 38).
- V. Grosman. *Sve teče...* Pereveo M. Čolić. Urednik Dr. T. Čolak. Obelisk. Beograd. 1972 (201).
- Half a Century of Russian Serials, 1917-1968*. Compiled by M. Schatoff. Edited by N. Hale. Part. IV. 1957-1968 (A—Z). Russian Book Chamber Abroad. N. Y. 1972.
- Sophie Lafitte. *Tolstoi et ses contemporains*. Hachette Littérature. Paris. 1972 (313 p.).
- J. N. Westwood. *Endurance and Endeavour. Russian History 1812-1971*. Oxford University Press. 1973 (p. 472)
- Gur Ofer. *The Service Sector in Soviet Economic Growth. A Comparative Study*. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1973. (201 стр.)
- Studio z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1972 (325 p.)
- Joachim T. Baer. *Vladimir Ivanovič Dal' as a Belletrist*. Mouton. Hague-Paris. 1972 (204 p.)
- Valentin Boss. *Newton & Russia. The Early Influence 1698-1796*. Harvard University Press. Cambridge Mass. 1972 (309 p.)
- Barbara Toporska. *Athene Noctura*. Kontra. England. S. d. (80 p.)
- Olga Matich. *The Religious Poetry of Z. Gippius*. Wilhelm Fink Verlag. München. 1973 (p. 127)
- Bibliographie des Oeuvres de Michel Ossorguine*. Etablie par N. Barmache, D. Fiene, T. Ossorguine. Institut d'Études Slaves. Paris. 1973 (p. 211)
- V. V. Ponosov. Biographical outline and bibliography by V. N. Jernakov. University of Melbourne. 1972 (p. 14)
- Serge Kryztski. *The Works of Ivan Bunin*. Mouton. The Hague-Paris. 1971 (p. 283)
- Kino. A History of the Russian and Soviet Film*, by Jay Leyda. Collier Books. New York. 1973 (p. 501).
- Zoya Yourieff. *Joseph Wittlin*. Twayne Publ., New York. 1973 (p. 279).
- Rolfe H. W. Theen. *Lenin. Genesis and Development of a Revolutionary*. J. B. Lippincott Co. New York. 1973 (p. 194).
- Lycy E. Vogel. A. Blok. *The Journey to Italy*. Cornell University Press. Ithaca. 1973 (p. 279).

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Роман Гуль

ОДВУКОНЬ

СОВЕТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание: — От автора. — Читая «Август 14-го» А. Солженицына. — Цветаева и ее проза. — Победа Пастернака. — Георгий Иванов. — О творчестве А. Белого. — Об Илье Эренбурге. — Поэзия нарциссизма (Вл. Ходасевич). — А. Солженицын и соцреализм. — Книга Светланы. — Светлана и неандерталы. — О прозе Л. Ржевского. — Двадцать пять лет «Нового Журнала». — Сотая книга. — «Дунька» и Коряков. — Юлий Марголин. — Об инсинации и русофобии. — Идея свободы — в русском народе. — Писатель и цензура в СССР.

Заметки о книгах: Ахматовой, Булгакова, Адамовича, Дудинцева, Вейдле, Окуджавы, Мочульского, А. Терц, Одоевцевой, Клюева, свящ. Ельчанинова. Кузнецовой, Чиннова, Цветаевой, Седых, Буниной, Краснова, гр. Зубова, Нарокова, кн. Щербатова, Космана, Бертенсона, Берберовой.

В книге 320 стр. Цена книги — 6 долл.

Книгопродающим обычная скидка.

Заказы направлять: по адресу «Нового Журнала»
и во все русские книжные магазины.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ

■

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

■

В 1973 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1973 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
